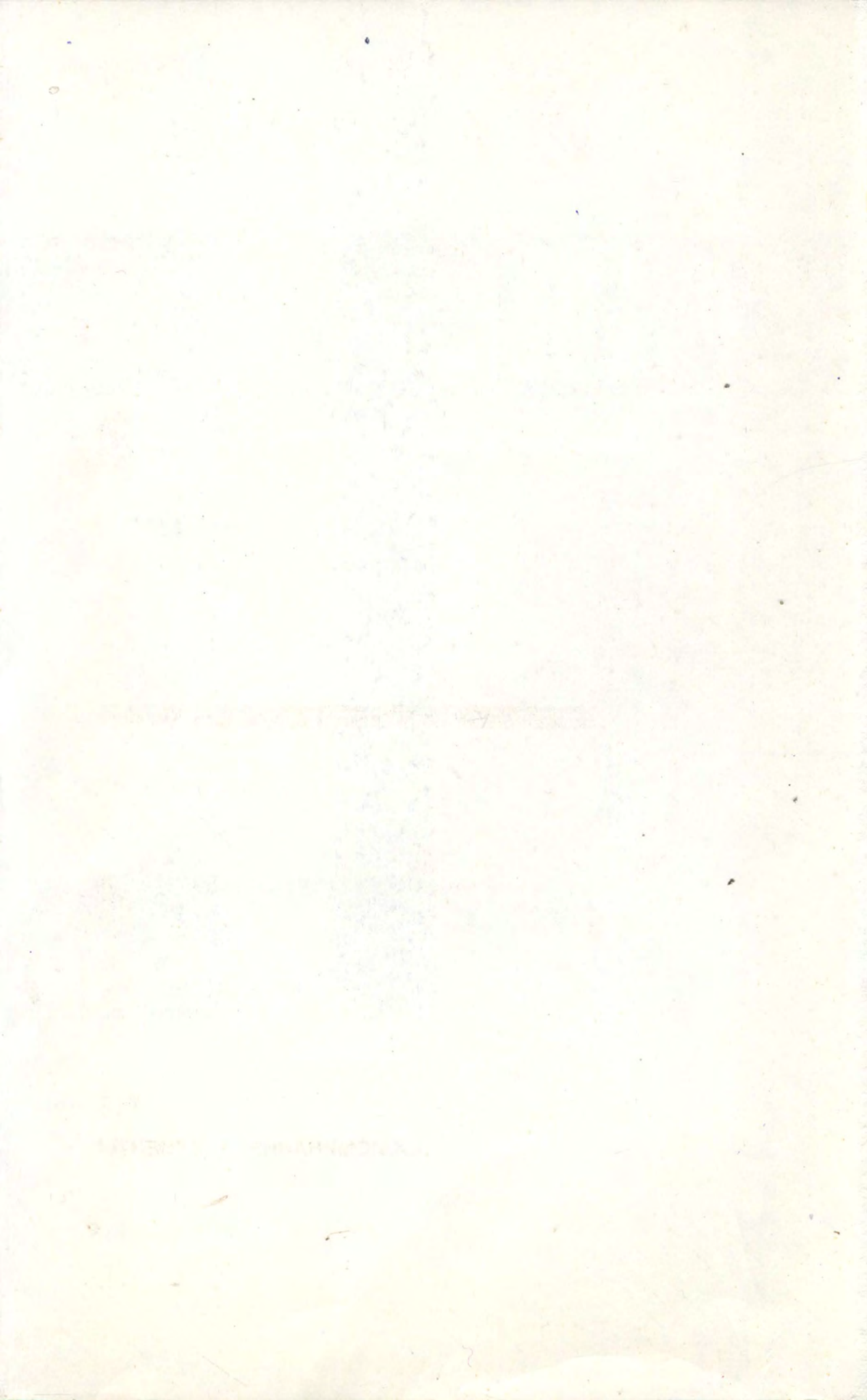


ISSN 0132-0637

3
Октябрь

3
Октябрь

3 1999



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

3

1999

МАРТ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей ВАРЛАМОВ. Купол. Роман	3
Владимир САЛИМОН. Веселые плясуны. Стихи	55
Игорь КЛЕХ. Смерть лесничего. Повесть	59
Ольга КУЧКИНА. Жизнь проливается, как вода... Стихи	94
Анатолий МАКАРОВ. Какими вы не будете. Рассказ	97
Владимир ПУЧКОВ. Четыре стихотворения	116
<i>Нечаянные страницы</i>	
Александр ЯКОВЛЕВ. А мы едем за туманом...	118

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Анатолий МОШКОВСКИЙ. Георгий, сын Цветаевой	130
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Леонид БАТКИН. Тягостные заметки	135
--	-----

Александр СУКОНИК.	
Театр одного актера. Выбранные места из переписки . . .	142
Год как век	
Рубрику ведет Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ	157

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Панорама

Сергей ФЕДЯКИН. Быть самим собой. (Олег Павлов. Степная книга. Повествование в рассказах); Н. Лукас. Единственная новость (Игорь Померанцев. NEWS. Стихи. Проза); Владимир КИВЕРЕЦКИЙ. Письмо в редакцию ; Петр КИРИЛЛОВ. Водяные знаки красоты (Владимир Гандельсман. Долгота дня); Павел ГУРЕВИЧ. Свобода или произвол? (Владимир Кантор. «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации)	161
---	------------

«Это светлое имя — Пушкин»

По страницам Онегинской энциклопедии Вступление и составление Н. И. МИХАЙЛОВОЙ	169
---	------------

Русское поле

Рубрику ведет Вячеслав КУРИЦЫН	184
--	------------

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ. Перемелется — мука будет?	188
--	------------

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ	191
--------------------------------------	------------

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Инна БРЯНСКАЯ	<i>публицистика</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России
и ряда стран СНГ 4346 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 28.01.99. Подписано к печати 22.02.99. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 9680 экз. Заказ № 213. Цена 17 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Купол

РОМАН

I

Есть в Москве среди многолюдных железнодорожных вокзалов один маленький и ухоженный. Он стоит в стороне от Садового кольца и на столичный вокзал не походит, словно перенесли его из провинциального городка. Ближе к вечеру пыльный недлинный состав тронется, замашут редкие провожающие и поплывет назад северная, ржавая и грязная окраина города с тоненькой телебашней. За кольцевой дорогой замелькают углые дачные домики, квадратики земли с чахлыми деревцами, партийные усадьбы с древними соснами и елями, покажется и исчезнет за деревьями ровный канал с рыбаками. А чуть дальше отъедешь, потянется однопутная лесистая дорога, по которой поезда ходят только в ближние города: Углич, Кашин, Рыбинск, Весьегонск. Самый дальний же поезд — питерский. Долгим кружным путем, пробираясь мимо озер и болот, через глухие тверские и новгородские леса почти сутки идет он от столицы до столицы.

Бедны поезда на Савеловской дороге. Деревеньки кругом убогие, и пассажиры все забитые, печальные. Разве что мужичок куражливый зайдет, выпьет, да и тот скоро успокоится и уставится бездумно в окно. Поездам торопиться некуда — у каждого столба стоят, потом неспешно, как пожилые лошади, трогаются. Проедут Волгу, Калязин с торчащей из воды колокольней, уездный городок Кашин, остановятся на узловой станции Сонково и точно задумаются, куда дальше ехать. То ли обратно за Волгу в Рыбинск, то ли налево в Бологое, то ли дальше в Устюжну, Череповец и Вологду, а то ли еще неведомо куда, будто не железная дорога, а ветвистая тропинка здесь проходит. Еще глуше делается местность, упадет ночь, а с нею подступит к сердцу тревога.

Неведомая страна раскинулась за окном. На первый взгляд в ней все такое же, как и повсюду в пыльной провинциальной Руси-России. Тут говорят на том же языке, но, если приглядеться, здесь другое. Чудь, Меря, лесная древность, идущая от мягких мхов и сырых валунов, что принес с севера ледник. Печальный и странный край.

В тех местах, недалеко от двух столиц расположенных, но таких глухих, словно ни про Москву, ни про Ленинград там и не слыхивали, в стороне от железной дороги, окруженный лесами, озерами, ручьями и болотами, на самом краю земли стоял городок Чагодай. Деревянные да редкие каменные дома, зеленые улицы, торговые ряды в центре, несколько церквей, картонажная фабрика, ресторан, монастырь, школа, городской парк и кладбище. А из нового — карликовый памятник Ленину, казенное здание райкома партии, районный суд и военкомат на площади. Река Чагодайка делила город на две части — высокую, торговую, и низкую, где жили ремесленники и фабричные люди. По реке в прежние времена ходили корабли, была она богата рыбой и раками, случались на ней такие паводки, что город затапливало и люди пла-

вали по улицам на лодках, но селились все равно у самой воды. Однако, когда вырубили по берегам Чагодайки леса, речка обмелела, обезрыбела и стала пригодна только для туристов-байдарочников, что в майских походах в больших количествах скатывались мимо Чагодая и кувыркались на потеху мальчишкам на чагодайских порогах. Летом же, когда вода падала, пороги становились смиренными, и через журчащую по камням речушку можно было перейти вброд, что и делали немногочисленные коровы из немногочисленных же окружавших городок деревень.

С годами, как и эти деревушки, Чагодай не рос, а хирел. Люди уезжали в соседние промышленные города, многих оттянул после войны разрушенный Ленинград. Хотели в Чагодае построить большой завод, да передумали, хотели атомную электростанцию — перенесли в Удомлю. Стояла только возле самого городка захудалая часть ПВО, в которой служить было удовольствие и солдатам, и офицерам. Благостные, размягченные сонным течением лесной жизни командиры были невзыскательны и даже милостивы к своим подчиненным. В увольнение солдаты уходили в город, танцевали и целовались с чудесными чагодайскими девушками, мирно пили кислое пиво и курили с малохольными парнями, на всякий случай заранее выяснив, с какой девицей танцевать можно, а какая занята.

Помимо ласковых барышень, славился чагодайский край грибами и дичью, ягодой разной — от морошки до клюквы, а еще комарами, дождями, травами, а еще туманами. Народ столичный про Чагодай и не слыхивал. Только знали о нем художники и приезжали писать пейзажи и наползавший с озер туман, когда окутывало все вокруг молочным маревом, и шутя называли затерянный городишко Лондоном — но разве с английским смогом можно было это чудо сравнить?

Он красив был, как детская мечта о белом облаке, на котором прокатиться можно, обволакивал негой и ласкал, и в Чагодае его любили, ждали и гордились своей маленькой тайной. В этот туман высыпал на улицы весь город, бродили люди, наталкивались друг на друга и радовались, влюбленные шептали нежные слова, и дети ели туман, как мороженое.

Но это все так, лирика...

Скучно текла жизнь в Чагодае, и смиренна и тиха была чагодайская история. Ничего особенного в ней не происходило, не подарил Чагодай граду и миру ни великих героев, ни писателей, ни художников, ни полководцев, ни большевиков, ни архиереев. Населяли городок посадские люди, ремесленники, лавочники, подрядчики, маляры, купцы, заводчики — одно слово, обыватели. Заезжал только в середине прошлого века с инспекцией по делу раскольничьей секты бегунов — и что очень по-русски — находившийся сам под надзором Третьего отделения чиновник министерства внутренних дел Иван Сергеевич Аксаков. И уж на что был славянофил, ничего путного о Чагодае не сказал — только обмолвился в несохранившемся письме брату Константину о серости, взяточничестве и бедности.

Кроме этого, Чагодаю похвалиться было нечем, и, видно, оттого во времена, когда все российские вези переименовывали, странное название так и осталось в бумагах и на устах. Как несло русскую историю по извилистой и пыльной дороге, как трясло на ухабах, так и Чагодай колотился в своей телеге позади локомотивов, грузовых и легковых автомобилей. История не то чтобы мимо, а боком проходила. Никогда не знал Чагодай иноземного ига — ни татары, ни ляхи, ни нашествие Наполеоново с двенадцатью языками, ни германский разбой впрямую лесной местности не коснулись. Стоял в центре города памятник павшим — много их ушло, и никто почти не вернулся, как, наверное, много сгнуло в прежних войнах, в армиях да ополчениях. Но что бы ни происходило со стра-

ной, какие только виражи ни выделявала она — всегда жил Чагодай одним: служил той власти, что на дворе стояла.

Спорили за городок князья владимирские, тверские и московские, новгородская республика Чагодай своей вотчиной считала, Иван Грозный опричников насылал, и смиренно принимали чагодайцы волю всякого, исправно платили всем дань. Не было отродясь в нем бунтовщиков, и, быть может, поэтому в смутные времена сюда ссылали на исправление мелких революционеров. Но как ни пробовали смутьяны поднять чагодайских пролетариев на демонстрацию или стачку, ничего у них не получалось. В письмах жаловались друг другу партийцы — трясина, сонное царство, и порой суеверный страх их охватывал: а вдруг вся империя — такое же клюквенное болото, и то, что в Питере и в Москве удавалось, в России провалится? Некоторые попытки покоем не выдерживали и, если бежать не удавалось, вешались, стрелялись, а иные и вовсе с ума сошли: забрасывали революцию и женились на улыбчивых чагодайских женщинах, без усталости рожавших круглолицых детей.

Но за Чагодай партия зря боялась. Когда пришло время, приняли в городе новую власть так же безропотно и покорно, как принимали власть императорскую. Так и Россия, отгрохотав страшной войной и мужицкими бунтами, подчинилась безбожному игу. А Чагодай, выходит, просто умнее оказался и сил лишних тратить не стал. Бережно в уцелевшем пошехонском городке жили, точно хранили себя для другого. А может, и морок это, и не было в нем никакой загадки и тайны, а если и была когда, то за давностью лет забылась и потерялась.

Редкий посторонний человек: командировочный, снабженец, инженер по технике безопасности, заезжий лектор из общества «Знание», любитель старины, приехавший осмотреть храм возле торговых рядов, — становился рассеян и вял. По улицам ходили куры, петухи и подвыпившие мужики. Бегали ласковые бездомные собаки, висело во дворах белье, носили на коромыслах воду женщины. И приезжий сам среди этих кур и женщин становился похожим на большое животное. В первый день все его очаровывало и соблазняло мысли — махнуть в Чагодай в отпуск или переселиться сюда навсегда, продать опостылевшую московскую квартиру, бросить службу, пить воздух и слушать эту тишину. Однако назавтра понравившееся придалось, а на третий день глаза видеть не могли однообразия.

Медленно-медленно катится чагодайская жизнь. Только час прошел, а кажется, уже сутки, и не знаешь, как до вечера дожить и чем пустоту дней заполнить. На мосту и по берегам реки мальчишки сидят, смотрят на прилипшие к воде поплавки, которым дела нет до болтающихся внизу крючков с малиновыми червяками. Пройдет мимо мужик со слезящимися глазами, остановится и устанет вместе с пацанами на поплавок, словно силясь мутным взглядом его потопить, пробежит мимо на каблучках девица в тесной юбке, останется после нее терпкий запах здорового пота — и опять никого. А над городом висит пыльное и круглое, как мужицкая рожа, солнце и с места не трогается. В гостинице тишина и чистота, приемник на голой крашеной стенке передает хоровые песни советского времени. В краеведческом музее чучело лося, несколько икон, фотографии ссыльных революционеров с такой тоскою в глазах, что невольно заражает всякого, кто на эти фотографии смотрит. А если напозвет туман, и вовсе не знаешь, куда от него деваться и чем дышать. Зимой метели, нечищенные улицы, в межсезонье грязь, так что весь город обувает сапоги до тех пор, пока не высохнет в мае земля или не ляжет в ноябре снег. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год и из века в век.

Но приезжий возьмет и уедет, и забудет городишко, по недоразумению возникший и до сих пор не исчезнувший с лица земли. А вот что молодому человеку, в Чагодае выросшему, в этом болоте делать? К чему приложить недюжинную силу, от чагодайского молока и воздуха полученную?

Хорошо в Чагодае родиться, напитаться его соками, вобрать в себя запах его воды и вкус его ветра, набегаться по его улицам и наиграться в его игры, наглазеться на его звезды. Но настанет в жизни час, когда надо не мешкая, не задерживаясь ни на миг, отсюда бежать. Он не будет тебя отпускать, твой Чагодай, захочет привязать к себе, станет убаюкивать и ласкать, пугать страшными рассказами о чужой стороне и злых людях. Начнет оплакивать грязными улицами, соловьиными оврагами, тишиной, которую больше не услышишь нигде. «Где родился, там и сгодился», — зашепчет он беззубыми ртами чагодайских старух, таких древних, что они покажутся ровесницами не уходящего века, но всего тысячелетия и безмолвными и горестными свидетелями междоусобных браней и гражданских смут, набегов прототрядов и церковного раскола.

Но не дай Бог поддашься, уступишь обманчивому покою — не заметишь, как сгинеешь, удоблив жирную чагодайскую почву, для того чтобы произрос на ней кто-то более сильный и смелый, кто, глядя на тебя, опустившегося, растерявшего порывы молодости, бесстрашно и легко рванет ввысь и ничего, кроме презрения или сожаления, твоя судьба у него не вызовет.

Ах, Чагодай, Чагодай, лакейская душа России, покорная, бабская, готовая отдаться всякому, кто силен и властен! Проклятое место, обманчивое своей приветливостью, как обманчива трясына, — надоумило же людей здесь поселиться, так близко и далеко от мира. Обитатели его суть мещане, дальше Чагодая ничего не видевшие и никуда не выезжавшие. Все интересы их — у кого что на огороде выросло, на каком из окрестных болот больше клюквы уродилось, почему ее сдают в коопторге и что на эти деньги купить можно. Картошка, грибы, клюква, карты да телевизор — вокруг этого и вращается чагодайская жизнь. А еще пьянство по домам, тихий разврат, и над всем этим, как вечный туман, как непроницаемый колпак, висит мертвенная чагодайская скука. Ничего яркого, примечательного, из ряда вон выходящего нет, а если появится — погубят, поднимут на смех, сломают или вытолкают, и нет в Чагодае никакой загадки и тайны — все выдумка и ложь. Ничем его скуку и безликость не пробьешь, все Чагодай стерпит и терпением перемелет.

Вот в таком городе я и родился.

II

Чагодайцем я был, впрочем, только наполовину. Мой отец Василий Григорьевич Мясоедов происходил из степной части России и вряд ли предполагал, что судьба занесет его в нашу глухомань. Отслужив в армии, папа поступил на факультет журналистики МГУ, по окончании которого блестящий и подававший большие надежды студент, умница и убежденный альпинист, он мог бы найти вполне пристойную работу в столице, однако незадолго до распределения трагическая любовная история пресекла его восхождение. Предполагаемая супруга моего батюшки поставила его перед выбором: либо я, либо горы, — и была убеждена в своем успехе, но ее возлюбленный отказался от восхождений не захотел. Между ними случился разрыв, и отец сгоряча вызвался работать в районной газете «Лесной городок», выходявшей в никому не ведомом и совершенно плоском Чагодае.

Первые полгода он что-то тщился доказать, работая как ненормальный, и «Лесной городок» можно было считать лучшей районкой на шестой части земной тверди. Но вскоре папа захандрил и пожалел о своем решении, как пожалела и оттолкнувшая его интеллигентная московская мармулетка, готовая принять своего избранника даже с ледорубом и крючьями. Однако, повинувшись партийной дисциплине, выпускник журфака вынужден был дорабатывать положенные три года по распределению.

Скорее от одиночества, чем по любви весной он сошелся с хозяйской дочерью, юной и невзрачной девушкой-почтальоншей, даже не подозревая, к каким последствиям в чагодайском царстве незаконная связь может привести. Когда девица ему поднадоела, немного освоившись на новом месте, папа было обратил взгляд на более привлекательных дам, но тут случилось непредвиденное, хотя и вполне ожидаемое. Девушка забеременела, и по навету ее матери, которую впоследствии подозревал чужеземец в организации интриги, история соращения юной почтальонши стала всем известна. Несчастный соблазнитель отправил прощальное письмо на Сивцев Вражек и согласился взять в жены не имевшую никакого образования и общественного положения и не отличавшуюся особой красотой девицу, как женился царский сын на лягушке.

Сказка оказалась ложью только наполовину. Полгода спустя он стал отцом. Роды жены проходили крайне тяжело. Не знали, кого спасти — мать или дитя, и страдание молодой женщины, которую за несколько месяцев супружеской жизни он успел если не полюбить, то оценить, почувствовав, что найдет в ней верную помощницу, страх потерять ее — казавшуюся совсем недавно обузой на великом жизненном пути — необыкновенно тронули его, в сущности, доброе сердце. Он пережил ужасные минуты в ту ночь, что провел в больнице у закрытой двери, за которой вытаскивали из небытия двух самых близких ему людей. Это чувство оказалось, увы, нестойким, и моя мать в дальнейшем многое претерпела от отца, но именно воспоминание о той ночи, измученное серое лицо мужа, остались самым острым, волнующим и счастливым в ее жизни до Купола, и благодаря ему она терпела все, ни разу не пыталась отца прогнать и не уходила сама, хотя поводов к тому он давал предостаточно.

Это был человек, недовольный всем на свете. Считал себя творческой личностью, будоражил общественность страстными статьями, отказывался от положенных ему продовольственных заказов и мелких номенклатурных благ, не сходил ни с одним из ответственных горожан, чем все время вносил смуту в устойчивую чагодайскую жизнь. В городе его считали чудачком, одни презирали, другие жалели, но и те, и другие боялись, что он найдет на Чагодай ревизию. Никто его не понимал, и, не находя места в жизни, несколько раз в год батюшка мой уходил в запой. Начальство смотрело на его отлучки сквозь пальцы: папина слабость позволяла держать строптивного газетчика в узде и притормаживать наиболее резкие его публикации.

Время от времени, устав от попыток переустроить заповедный мир, папа вспоминал о своем отцовстве и принимался за мое воспитание. Но как все чагодайское, я был педагогически непригоден, и наши отношения с самого начала не сложились. Младенцем я орал, стоило ему взять меня на руки, слово «папа» не знал и, когда чуть подрос, звал отца по имени. Мать, как могла, смягчала шероховатости, в двухлетнем возрасте ребенка выглядевшие скорее комичными, отец надеялся, что со временем оголтелая привязанность сына к матери и неприязнь к нему пройдут, а покуда глубокомысленно рассуждал насчет эдипова комплекса и пропускал мимо ушей насмешливые реплики бабушки. Однако с годами непонимание усилилось, и папе стало казаться, что все в этом доме: и властная хозяйственная теща, и кроткая супруга, и даже сын, — находятся в заговоре против него.

Ему не нравилось, как меня воспитывали, — совершенно не по-мужски, купали в три одежки, баловали и тетешкали, потакали капризам и растили изнеженное существо, в ответ на заботу благодарно отвечавшее частыми простудами, нервическими вспышками и глубокомысленными изречениями:

— Уходи, Вася. Уходи навсегда. Я не хочу, чтобы ты был.

Его жизнь сделалась похожей на ад. Осторожный чагодайский мир не решился восстать открыто, но стал аккуратно опутывать большого человека. Па-

па смирялся, все реже ссорился с домашними, бросил писать фельетоны, обличать взяточников и грозить им судом — и только за горы держался изо всех сил.

За месяц до восхождения он бросал пить, по утрам бегал в трусах по тенистым улицам, и глаза его лихорадочно и радостно блестели, как у вольного человека. В доме боялись этого блеска. Ни ласковый тон в разговоре с мамой, ни подчеркнутая лояльность к бабушке, ни снисхождение к моим проступкам и сонной забывчивости не могли никого обмануть. Он уходил из дома с рюкзаком, ледорубом, веревками и крючьями, и этот месяц мы жили так, будто в доме был покойник. Но судьба ли, мамины молитвы или мой страх хранили отца, хотя несколько раз в их группе случилось несчастье.

Он выбирал самые сложные восхождения, то ли испытывая на прочность силу, что его берегла, то ли, напротив, пытаясь ее одолеть и так вырваться из Чагодая, и оттого каждое благополучное возвращение полагал лишь отсрочкой на год. Дома сажал меня на колени, рассказывал про ледники и горные звезды, показывал фотографии и слайды, на которых, веселый, загорелый и задорный, он стоял на фоне ослепительного снега и массивных вершин. Но я вырос в лесах, горы видел только на картинках, и их холодная каменная мощь меня не привлекала.

Когда же я пошел в школу, то, к огорчению и даже ужасу папы, готового смириться с нелюбовью сына, лишь бы из того получился человек, болезненный отпрыск оказался совершенно неспособным к постижению наук. Очень поздно я научился по складам читать, отвратительно писал, отличался чудовищной даже для мальчика неаккуратностью и доходящей до прострации рассеянностью. Вероятно, этими же чертами я неимоверно раздражал и свою первую учительницу, красавицу лет сорока пяти с ласковой фамилией Золюшко и со столь же отвратительным характером законченной садистки и мужененавистницы. Нигде не бывает такой жуткой и мелочной тирании, как в наших милых провинциальных городах, и нигде невозможно так легко изничтожить личность, если только иметь к этому вкус и волю. Любимым наказанием доброй Золюшко было поставить провинившегося мальчика в угол, заставив его... при всех детях снять штанишки.

Золюшкины ученики дурно спали ночами и писались в кровати, с истерикой шли в школу и устраивали скандалы родителям, но те, приученные относиться ко всякой власти покорно, или не смели роптать и заставляли своих чад не гнать Золюшко, или и вовсе не видели в ее методе ничего предосудительного. Золюшкин авторитет был огромен, и только один человек на родительском собрании в присутствии нескольких десятков смиренных обывателей заявил, что это дикость и варварство, и если не дай Бог его ребенка коснется такое наказание, то он отправится в роно и этот день будет последним днем ее работы в школе.

— Воспитывайте лучше своих детей! — презрительно бросила Золюшко, но нахальную выходку запомнила.

К годовщине Великого Октября учительница дала нам задание нарисовать праздничные картинки. В классе было серенько. Я сидел в полумраке у стенки и старательно заканчивал композицию, на которой изобразил центральную улицу, шествовавших мимо крохотной трибуны под дланью карликового Ильича веселых манифестантов, редкий снежок и хмурые небеса, флажки, воздушные шары, лозунги, райком партии с колоннами и уличный буфет. Я так увлекся работой, что не слышал, как золюшкина тень накрыла меня сзади и учительша нависла надо мной.

— Ты что, не знаешь, какой цвет у нашего знамени? — спросила она придуренным голосом, выхватила картинку и торжествующе подняла ее над головой.

Весь класс увидел веселых чагодайцев, под зелеными флажками идущих в светлое будущее, отчего празднество напоминало не то мусульманский курултай, не то акцию Гринписа.

— В угол!

Я поглядел на нее умоляюще. Чудные черные золушкины глаза оставались совершенно бесстрастными. Я сделал несколько шагов к двери, все еще надеясь, что до самого ужасного не дойдет.

— Брюки!

Непослушными пальцами я расстегнул пуговицы и приспустил штанишки, оставшись в застиранных черных трусиках.

— Все снимай!

Кто-то из девочек хихикнул. Я опустил трусики и вслед за тем без чувств повалился на пол.

Очнулся я только под вечер дома и первым делом схватился за трусы. Было тихо. За окном шел крупный и мягкий снег. Окно смотрело на улицу, за которой начиналась река. Я накинул рубашку, аккуратно вынул внутреннюю раму и распахнул наружную. Я не понимал, что делаю, и впоследствии не мог ответить на вопрос, делал ли это сознательно, или продолжались мой бред и страх, или было желание уйти туда, где Золушко нет. Но я шел и шел, падал, обжигаясь о снег, потом вставал и снова шел. Каждый раз, когда падал, мне становилось не холоднее, а теплее. Поле покрывал наст, и идти было нетрудно. Вскоре я подошел к лесу, где жили волки, но даже волков я боялся меньше, чем Золушко. Там снова упал, и мне стало совсем тепло.

Вдруг я увидел нечто вроде пещеры, в которой светился огонек.

Пройдя несколько шагов, очутился в странном помещении, напоминавшем кладовую или подсобку овощного магазина. На земляном полу стояли весы, а возле них — в окружении ящиков с тушенкой, больших коробок с макаронами и крупой, мешков с сахаром и мукой, мерзлых туш — чернявый небритый весовщик в солдатской робе.

Он посмотрел серьезно и сказал с сильным акцентом:

— Станавыс!

Я попытлся, бросился вон и бежал до тех пор, пока не упал на снег и не замер.

На мое счастье, метель прекратилась. Выглянула луна, и следы на снегу были отчетливо видны. По этим следам отправились солдаты, и, уже полузамерзшего, меня нашли на берегу рано вставшей в тот год Чагодайки недалеко от полыньи, где полоскали бабы белье и всегда дымилась черная звездная вода. Семеро суток я провел в жесточайшем бреду и вернулся в школу совсем другим человеком, не то что-то потерявшим, не то, наоборот, обретшим.

Отец был в очередной отлучке. Когда же он приехал, то ни в какую школу или роно не пошел и скандала устраивать не стал, а просто вызвал меня к себе и, жестко глядя в глаза, сказал:

— Ты не должен был этого делать! — И отвернулся.

А я не мог понять ни тогда, ни позднее, и вопрос этот мучил меня всю последующую жизнь, кто кого предал: я отца или отец меня?

III

С того дня я стал искать, чем бы ей отомстить. Я не знал, как могу унижить Золушко так же сильно, как она унизила меня: подкинуть в сумку ужа или дохлую мышь, облить нечистотами, изрисовать стены школы обидными словами. С мыслями о мщении я ложился спать и просыпался, все остальное потеряло для меня всякий смысл, будто разом кончилось мое детство. Иногда я приходил к ее дому. Он стоял на другом конце города, я шел через весь Чагодай за реку и со странным чувством смотрел на темную деревенскую избу, которую мог поджечь, перебить окна, но почему-то не решался этого сделать, а только мысленно представлял, как загорится заречная сторона и разметнется на полнеба зарево пожара.

Наверное, Золюшко что-то почувяла. Она перестала смотреть в мою сторону, не делала замечаний и не вызывала к доске. Мало этого, она прекратила наказывать всех остальных мальчиков. В классе это почувствовали, начали потихоньку распускаться, проверяя и провоцируя ее. Потом мы узнали, что один из мальчишек забил ее дверь гвоздями. Его имя шелестело по всей школе, но Золюшко даже не учинила обычного допроса. Она сдавалась и отступала — присмилела, осунулась, голос и походка ее изменились, класс торжествовал победу, только я совсем этому не обрадовался. Мне не хотелось дальше жить, солнце казалось не таким ярким, как обычно, более тусклым было белесое небо, я боялся засыпать ночами и лишь деланно улыбался, когда баба Нина поила меня козыим молоком, качала головой и приговаривала:

— Сглазили парня.

Но кончился третий класс, Золюшко ушла из моей жизни, и, лишь встречая ее в коридоре, я вспоминал о том, что остался неотмщенным, если только моя месть не заключалась в совершенно ином, чего я и не мог тогда представить.

В средней школе, когда внимание стали обращать не на одно прилежание, но и на умственные способности и числившиеся до того в отличниках девочки с примерным поведением начали плакать из-за двоек и троек по физике и математике, неожиданно обнаружилось, что я решаю сложные примеры так легко и быстро, словно это были простые арифметические действия, и непонятным образом угадываю ответы на любые задачки. Математичка, пожилая, крикливая и вальжная старая дева, конфликтовавшая со всей школой, часто болевшая, опаздывавшая на работу, но при этом любившая полурока рассказывать про своего кастрированного кота и про город Ленинград, откуда ее вывезли перед первой блокадной зимой и куда она так и не вернулась, но презирала давший ей приют Чагодай с чисто столичной решимостью, долго не могла поверить, что в пошехонском захолустье появилось на свет дитя с математическим талантом.

Она искала подвоха, во время контрольных работ не сводила с меня глаз, обыскивала парту, перетряхивала пенал, сажала рядом с собой, но каждый раз я раньше всех клал неряшливо исписанный листок бумаги, в котором можно было найти сколько угодно помарок, описок и клякс и ни одной ошибки. По остальным предметам я по-прежнему учился плохо, только математика давалась мне легко. На уроках я скучал, и быстрый огонек понимания, когда Анастасия Александровна коротко объясняла новый материал, разочарованно гас. Преподавательница разрывалась между загипнотизированным дробями и многочленами классом и моими скучающими глазами и давала мне дополнительные задачи из учебника для девятого класса. Была ли она доброй и разумной женщиной или просто хотела утереть педсовету нос, но, несмотря на скептицизм завуча и директора, в шестом классе добилась, чтобы меня послали на областную олимпиаду в Тверь.

Оттуда я вернулся с грамотой за первое место. Красивый плотный лист бумаги с профилем Ленина и круглой печатью облоно повесили в углу большой комнаты рядом с божницей и семейными фотографиями. Бабушка показывала его соседям, мама вытирала глаза и всхлипывала, а отец впал в странную задумчивость. Он перестал меня ругать, несколько раз звонил в Тверь и реже отлучался из дому.

Переменилась не только домашняя жизнь. Ко мне иначе стали относиться в школе, приходили смотреть из других классов, внимательнее и растерянее сделались учителя, не знавшие, какие теперь ставить оценки. Анастасия Александровна торжествовала и перед каждым уроком кормила своего любимчика булочками с маком по тринадцать копеек из школьного буфета. Но от этого вознесения мне сделалось не радостно, а жутко.

Не нужна мне была ни общешкольная известность, ни пересуды за спиной, ни постоянный контроль со стороны учителей и потеснившихся ревнивых от-

личников. Я хотел жить тихо и незаметно в соответствии с велениями чагодайской крови, веками воспитанной на мимикрии, но по математике я просто не умел учиться плохо. Находить верное решение было для меня так же естественно и легко, как ходить или дышать.

Весной я поехал на всесоюзную олимпиаду, а месяц спустя в маленький дом на берегу Чагодайки пришло письмо с приглашением учиться в математическом интернате при Московском университете.

На женской половине слышать не хотели ни о какой Москве. Матери страшно было отпустить от себя чадо, с которым она не расставалась ни на день. Баба Нина поджимала губы при упоминании об интернате, читай — детдоме: что, Никитушка сирота какой от матери и бабки по чужим людям жить? — и была готова сорвать висевшие под божицей грамоты. Но отец неожиданно сделался ласков, рассудителен и убедителен. Отстранив тещу, тихо и задушевно он внушил матери, что раз у меня есть способности, им нельзя пропадать. Он говорил о том, что не следует подменять истинную любовь эгоистичной страстью, что он часто бывал ко мне несправедлив и раздражителен, в этом его ошибка и грех. Уверял, что в любой момент они смогут забрать меня обратно, и сделался необыкновенно искусен и искренен, поражая маму главным образом трезвостью самооценок. Трудно сказать, что подействовало на нее сильнее всего, но матушка сделала выбор, и баба Нина сникла, ибо знала, что если тугодумка дочь на чем-либо стоит, то сбить ее невозможно.

Все лето я гонял с мальчишками на разболтанном взрослом велосипеде, впихивая щуплое тело одаренного математика под раму и гремя несмазанной цепью, купался, горланил, ходил каждый день в лес, ловил руками карасей в лесной канаве, переживая, что нахожу грибов и ягод меньше других ребят, и удивляясь, как это ни мать, ни баба Нина меня не ругают, а смотрят жалостливо, будто я вдруг заболел. Однако в августе, когда отец, первый раз изменив себе, не поехал в горы, до моего сознания дошло, что жертва неслучайна и меня в самом деле решили разлучить с Чагодаем. Я убежал из дому, и снова меня искали до позднего вечера. Не было человека более несчастного, чем я тогда, и не было боли сильнее, чем от расставания с речкой, пустырем, где запускали воздушных змеев и играли в американку и жопки. Я плакал и протестовал, словно малый ребенок, но, когда приехал в Москву, слезы быстро высохли — может быть, даже быстрее, чем у моих новых товарищей, как и я, вырванных из российской глухомани и бережно отобранных для укрепления фундаментальной науки.

Поначалу я сильно тосковал, страдал от чужой еды, непропеченного резинового хлеба и водянистого киселя, писал домой письма и просил, чтобы меня забрали, но папа был тверд и ни мать, ни бабушку в Москву не пустил. После десятка моих долгих жалоб на листках из тетради в клетку он прислал письмо, поразившее меня сухостью, назидательностью и отстраненностью.

«Ты должен быть счастливее и лучше меня,— писал он мелким летящим почерком,— и не должен повторять моих ошибок. Ты еще очень мал и многого не понимаешь. Нет ничего страшнее русской провинции, ее лакейства и барства. Судьба дала тебе шанс вырваться. Впереди тебя ждет много испытаний, и способности нисколько не облегчат, но, напротив, осложнят твою жизнь. Москва жестока, но помни: главное в человеке — достоинство и бесстрашие, и жалок тот, кто ломается и не умеет оказаться сильнее обстоятельств».

Отец прожил после этого много лет, но ничего подобного я от него не получал и не слышал. Никогда он не говорил со мной искренне и так и остался совершенно чужим человеком. Я больше не писал слезливые письма и мало-помалу стал забывать о Чагодае, смирившись с тем, что отныне моя жизнь связана с большим чужим городом, который мне надлежало принять и полюбить. Я подружился с чудачковатыми мальчишками и девочками, и они заменили мне дом и семью. Наши наставники были добрыми и милосердными людьми, они не толь-

ко допоздна занимались с каждым в классе, но часто приглашали к себе домой. Университет устраивал экскурсии, покупал билеты в театры и цирк, именинникам устраивали дни рождения, на каникулы нас возили в другие города. Эту жизнь я полюбил и не мог поверить, что когда-то учился в школе, где меня подозревали в обмане, лени и нежелании делать домашние задания, могли унижить и жестоко наказать.

Там же, в благословенном математическом монастыре, я пережил томительную пору взросления, вступил в комсомол и встретил первые сигареты, прыщи, подростковые сны и прочие прелести грядущей мужской жизни, когда все женское стало меня неимоверно трогать и привлекать. Весенними вечерами я уходил в Нескучный сад, где целовались парочки и можно было увидеть кавалера, сидящего в обнимку с дамочкой так, что рука его покоилась под расстегнутой кофточкой. Девушка ничуть не смущалась, а смотрела на всех проходящих вырывающими глазами, и мне казалось, я отдал бы жизнь за одно только счастье до нее дотронуться.

И все же куда больше, чем оголенное намеренное бесстыдство, меня привлекала в иных из взрослых женщин удивительная таинственность, нежность и трогательность их неясного облика. В суетной дразнящей московской толпе встречались порой такие лица и глаза, что я забывал себя и шел или ехал за поразившей мое воображение особой, не замечая ничего вокруг. Я преследовал понравившихся мне женщин в больших магазинах, стоял в очередях, садился в автобус или метро, воображая, как одна из них скажет мне хотя бы слово. Но никто не обращал на меня внимания, и я приходил в себя, только оказавшись в далеком районе, когда раздосадованная, недовольная или равнодушная незнакомка исчезала в подъезде и надо было искать дорогу домой. На обратный путь зачастую недоставало денег, и я часами шел пешком по пустынным улицам вдоль однообразных кирпичных домов, заборов, строительных площадок и фабричных корпусов, смиряя ходьбой разгоряченное тело и впечатлительный ум.

Долгие возвращения сохранились в памяти едва ли не сильнее всего. Дрожал над асфальтом воздух, дули холодные ветры, и ложился на крыши и дороги снег, я переходил длинные мосты над железнодорожными путями и вглядывался в названия конечных станций электричек, запоминал номера автобусов и троллейбусов и словно пытался обнять расползающийся, хаотичный город с его виадуками, каналами, шлюзами, парками, заводами, реками, прудами, церквями, стадионами и трубами теплоцентралей. И хотя со временем я научился в нем ориентироваться и знал город едва ли не лучше самих москвичей, что много лет спустя помогло мне зарабатывать на хлеб, все равно чувствовал себя в этом нагромождении лесным зверьком, который попал в лабиринт и не может его покинуть.

Блуждания отнимали у меня много сил. Я стал хуже учиться и испугался, что меня вот-вот отчислят, как отчисляли всех неуспевающих, и каждый год мы с грустью и страхом замечали, что нас стало меньше. То было, наверное, единственное, о чем в интернате избегали говорить, но я не мог с собой ничего поделать. Помимо страха, что отправят назад, преследования, так странно сочетавшиеся в моей душе с поэтичностью и умилением, вызывали у меня ощущение, что я совершаю нечто греховное, очень постыдное, и, если кто-нибудь это поймет и догадается, я буду жестоко и справедливо наказан. Наверное, в целомудренном и строгом Чагодае, где мода была совсем другой, а нравы проще и подростки начинали играть в «бутылочку» с двенадцати лет, я легче пережил бы свое взросление, но в громадной, полной соблазнов, лицемерной Москве мне было неимоверно тяжело.

Когда же в старших классах предоставился случай покончить с девственностью, воспользоваться этой возможностью я не сумел. После сумасшедших поцелуев в темном интернатском коридоре с одной из девочек, которая ужасно

училась и которую, наверное, для того и держали, чтобы она освобождала юные мозги от желчи, я оказался в пустом и холодном физкультурном зале. Мы легли на валявшиеся на полу маты. Из окон сверху падал бледный желтый свет, проехала машина, а потом снова стало тихо. Моя рука несмело коснулась маленькой округлости под свитером — вся школа знала, что лифчик Ниночка Круглова не носит — и, до последней степени возбужденный, я не понимал, что делать дальше. Тогда прелестница сама начала расстегивать мои брюки, но едва пухлая цепкая ручка уверенно скользнула вниз, я неожиданно оттолкнул ее и, на ходу застегивая ремень, убежал. Простодушная дева недоумевала, а ее несостоявшийся любовник, прижавшись лбом к холодному стеклу в туалете для мальчиков — единственном месте, где Ниночка не могла меня достать, — побоялся признаться не только веселой и щедрой гетере, но и самому себе в одной вещи — я не мог снять перед девочкой штаны. Золушкино заклятье висело надо мной.

После этого я больше не слонялся по улицам, не заглядывался на женщин, а стал опять хорошо учиться, схватывая на лету труднейшие вещи, точно детская рассеянность, забывчивость и медлительность обернулись и оказались лишь издержкой той необыкновенной скорости, с которой я постигал все новое и сложное и умел отличить главное от неглавного. В интернате было много чудных, не от мира сего учеников. Иные и впрямь страдали душевными расстройствами, но среди них я был едва ли не самым странным. Я часто ловил себя на том, что разговариваю вслух с собой, не замечаю ничего вокруг, снова, как в детстве, ухожу из реальности в иное бытие, и возвращение причиняет мне боль. Я не тянулся ни к одной из забав, приятных в моем возрасте подросткам, а всего более не любил долгие летние каникулы, когда все в интернате разъезжались по домам и мне приходилось отправляться в Чагодай.

Скучен был давший мне жизнь приземистый городок. Не радовали ни воздушный хлеб из городской пекарни, ни домашняя еда, ни душистая печь, ни мягкая кровать. Мама смотрела испуганно, не знала, как себя вести, чем меня накормить и развлечь. От этого я испытывал досаду и неловкость, но еще сильнее меня поражал отец. Перестав ходить в горы, он присмирел, затих и более не сопротивлялся женской воле. Бросил одновременно и пить, и курить, и бегать по утрам в трусах, и, видно, за все это его назначили главным редактором «Лесного городка». Почти не ссорился с бабой Ниной, брал полагавшиеся заказы, в отпуск ездил в санаторий — либо на Кавказские Минеральные Воды, а то и просто в близлежащий Кашин, где лечил подорванный в молодости желудок. От прежнего в нем остались лишь долгие рассказы о студенческой жизни и гусарская похвальба, с кем он пил и с какими людьми водил дружбу, но даже в этих воспоминаниях чудилось нечто заискивающее.

А больше ничего в городе не изменилось. Такие же темные стояли вдоль реки деревенские избы с потрескавшимися бревнами и геранью за окнами. Вывышались на пригорке ветхие каменные дома, и сохло на веревках белье. Из разбитого асфальта прорастала трава, бегали по улицам куры, валялись в пыли посреди проезжей части облезлые незлые собаки, и брехали за калитками сердитые цепные псы. Цвела в огородах картошка, носили из колонок воду женщины в резиновых сапогах, ездили на ржавых, скрипящих велосипедах мальчишки, уныло бродили упитанные мамы с детскими колясками и высматривали на улицах подвыпивших мужей. Все друг друга знали и друг другу надоели, стояли в очередях за хлебом и молоком, вечерами ходили в холодный кинотеатр, а центром всей жизни служила ветхая автобусная станция.

Через неделю мне начинало казаться, что я не живу, а куда-то еду в вечном общем вагоне и вагон этот еле тащится, а потом и вовсе встал, потому что впереди разобрали пути или же загнали его в тупик. Но все привыкли, никто этого

не замечает и не страдает от того, что картинка за окном не меняется. Никто не хочет сойти и побегать через поле. Я торопился жить, мне не хватало смены впечатлений, гула, толпы, мелькания лиц и разнообразия. Я подхлестывал время, плохо спал, мучился, ходил с перекошенной физиономией по пустынным улочкам, где раз в полчаса проезжала машина или ревел мотоцикл, и с трудом дожидался дня, когда каникулы кончатся.

Вперед, моя жизнь, вперед, милая! Только, пожалуйста, не останавливайся, не переводи дух. Не подсовывай мне мишуру и не сбивай с толку. Я знаю, твои главные сокровища впереди, ты не обманешь меня и покажешь все лучшее, чем богата, ничего не утаишь, и в дождливый августовский день с легким сердцем, с благодарностью судьбе за то, что Чагодай не вечен и не имеет надо мною более власти, я уеду в Москву, надеясь затеряться в ее лабиринтах и больше никогда сюда не возвращаться.

IV

Закончив интернат, я легко сдал выпускные экзамены и без вступительных испытаний был зачислен в университет. Было немного жаль, что осталась неузнанной та сумасшедшая радость и гордость, какие испытывает, увидев свою фамилию в списке поступивших, обыкновенный московский, а еще лучше приехавший из Норильска, Воронежа или Саратова и ненауськанный репетиторами абитуриент. Я не волновался, когда вытаскивал билет и меня подзывал разомлевший от жары доцент, не чувствовал ужаса, когда на четыре стремительно мелькавших часа провинциальный мальчик оказывался один на один с экзаменационной работой и задачами, о которых в школе слыхом не слыхивал.

Все это прошло мимо, как проходили и многие прочие вещи. Ощущение счастья и торжества, охватившее душу в ту минуту, когда мне открылось великолепное здание на Ленинских горах, было иным — более приглушенным, но и более глубоким. Учиться было радостно и легко, все вокруг казалось знакомым, как язык, на котором меня учили говорить в детстве. Так было повсюду, если не считать семинаров у человека, который мало-помалу занял мои мысли и с которого начались несчастья.

Маленький, сморщенный, с кривой спиной, отчего все звали его Горбунком (во всяком случае, так я думал, пока не узнал, что то была его настоящая фамилия), с лицом обезьяны, но с такими пронзительными глазами, что они казались не человеческими, а принадлежащими коварному троллю, с длинной неровной бородой, по которой тосковали все ножницы мира, он не выпускал изо рта сигарету и курил постоянно, будь то лекция, заседание кафедры, буфет или коридор. Пепел дешевых сигарет без фильтра валялся повсюду, и точно так же повсюду раздавался его резкий кашель.

Ему было за пятьдесят, но он не имел даже научной степени, тем не менее из года в год Евсей Наумович читал лекции и вел очень странные семинары. Вместо теорем он разбирал токкаты Баха. Иногда целое занятие рассуждал о живописи Врубеля и поэзии Пастернака, а то гонял нас в библиотеку и заставлял изучать лингвистику и поэтику. Мог часами мусолить «Слово о полку Игореве» и «Старшую Эдду». Учил искать соответствия между математикой и музыкой и отсутствие слуха считал самым кошмарным человеческим недостатком и синонимом бездарности. Он утверждал, что математика стоит к искусству гораздо ближе, чем к науке, главное в ней — красота, и любой по-настоящему великий художник или поэт — это шагнувший за рамки математик, в то время как каждый математик всего-навсего неудавшийся поэт или музыкант. Но зато ни один филолог и музыковед не сможет так понять искусство, как человек, знающий интегральное исчисление.

Поначалу мы были обескуражены. Потом привыкли, понимающе переглядывались и прятали улыбку. А он скрипучим, вьедливым голосом вдалбливал в наши головы, что математика иррациональна, доказуемость в ней относительна и многие лишь имитируют открытия, но в действительности гений в математике встречается крайне редко, куда реже, чем в других областях знаний, однако есть люди, чьи ошибки важнее, чем правильно найденные решения.

Большинство преподавателей считали его занятия тратой времени и не советовали студентам их посещать. Ходили слухи, что Евсея Наумовича держат только из-за уродства, но для меня это ничего не значило. Я чувствовал, что за долгими рассуждениями, за многочасовыми прослушиваниями симфоний и сонат скрывается нечто важное — чего, кроме него, не знает ни одна душа. Однако при этом к самой математике он относился как к второстепенному, она представлялась ему всего лишь частью целого, и именно целое он и стремился постичь. Хотя даже познание было не совсем точным словом. Скорее то была высочайшая степень восхищения, непонятного мне умиления, которое охватывало несчастного калеку, когда он рассуждал о любом явлении в мире — будь это музыкальное произведение, строение мироздания, теория чисел, очертание женского тела, сила медведя, запах хвои, купола новгородских храмов, грамматика санскрита, латинская поэзия, цвета радуги или карта мира, которые были для него чем-то объединены.

Мне казалось, он учил нас не высшей математике, а несуществующей, еще не открытой и ему одному ведомой науке, находящейся даже не на стыке разных областей знания, а у самой границы познаваемого мира с тем, чтобы эту границу взломать и незаконно пересечь. Возможно, он был тайным масоном, волхвом, теософом, поклонником агни-йоги и осуществлял вербовку учеников в эзотерическую секту агностиков. Может быть, все, что он преподавал, было дурачеством высшей пробы, и только по младости и неопытности я тянулся к шарлатану, желавшему с заднего крыльца пробраться к истине, и видел в нем сверхъестественное существо. Но никто не имел надо мною столько власти.

При этом как человека я Горбунка не любил и испытывал брезгливость, когда мне случалось попадать к нему домой, где он изредка проводил занятия.

Жилье его напоминало не то мастерскую неудачливого художника, не то лабораторию алхимика. На стенах висели недописанные картины, изображавшие нагих женщин и фантастические пейзажи. Повсюду валялись книги, половина из которых была на иностранных языках, а вторая потемнела от столетий. Посреди комнаты стоял маленький, будто игрушечный, мольберт. За ним — гончарный станок, верстак, пианино, открытые деревянные полки со стеклянными колбами и пыльными банками. Иногда в квартире происходили оргии, и соседи вызывали милицию. Иногда двери запирались, и помещение погружалось в темноту и безмолвие. Там пахло раздражающе пряным. Туда приходили люди, не имевшие никакого отношения к науке, жили неделями, рассказывая про тайгу, холодные горы, северных гусей, глухарей, медведей, идущего на нерест лосося, и Горбунок слушал их жадно, сладострастно, завистливо.

Мне не нравились ни его манера говорить, ни бесчисленные бутылки, ни непотребные бабы, обхаживавшие уродца, тайно друг друга ненавидевшие, но смиревшие под его взглядом. Я был убежден, что человек, посвятивший себя разгадыванию истины, должен жить иначе. Евсей, по-видимому, догадывался о моей неприязни и относился ко мне насмешливо, однако я терпел, потому что знал: тот день, когда я возьму от него все, что он может дать, будет последним днем его учительства и власти надо мной, последним днем моего подчинения его привычкам и правилам. И он знал то же самое, так что наши отношения напоминали причудливую игру. Я догонял, а он убегал, обманывал меня, и я был похож на мальчика с сачком, который гонится за ослепительной редкой бабочкой и не может ее настичь. Каждый раз, когда казалось — вот-вот, я получу от него

все, он поворачивался другой стороной, и передо мной снова открывалась так мучившая меня неизвестность.

Много позже я понял, что гоняюсь не за самой бабочкой, а за ее тенью и все попытки накрыть ее обычным марлевым колпаком бессмысленны. Если сравнить познание с исследованием темной комнаты, то я стремился выхватить фонариком ее части и их описать — он же учил своих адептов умению видеть в темноте. Иногда Горбунок собирал учеников и с одними усиленно занимался, а другим говорил, чтобы не приходили две недели или даже месяц. Меня он не звал никогда, но время от времени я ловил на себе застывший взгляд стеклянных глаз, ставивший под сомнение наше распределение ролей охотника и жертвы, и в такие минуты меня пробирала позабытая детская дрожь.

Впрочем, в конце семестра Евсей Наумович всегда писал хорошие отзывы, благодаря чему внешне мое положение на факультете выглядело блестяще. Я получал именную стипендию, пользовался правом свободного посещения лекций и семинаров, по негласному разрешению был освобожден от всякого рода субботников, воскресников, походов на овощебазу, комсомольских собраний, политсеминаров и ленинских зачетов.

Однажды обо мне даже написал статью в университетскую газету пижонистый паренек с факультета журналистики. Воспоминание о том, как он брал интервью, впоследствии долго меня преследовало и внесло в мою душу смуту и раздор. Молодому человеку, чье имя я тогда не запомнил, зачесалось развязать мне язык, и он потащил меня в грандиозную по размерам пивнуху недалеко от окружной железной дороги в районе ВДНХ.

Это было одно из тех нелепых сооружений, что остались в Москве после Олимпиады. Там было невообразимое количество народу. Пивных кружек не хватало, и пили из банок, ели воблу, курили, даже пели песни. Иногда по дымному залу шествовал милицейский наряд, и тогда сигареты спешно кидали на пол, а потом ходили в сумерках за угол отливать, ибо туалеты в этом заведении предусмотрены не были.

Я понемногу прихлебывал гадкую жидкость неопределенного цвета, не находя в ней ничего приятного, а мой раскованный собеседник и, по всей видимости, здешний завсегдатай меж тем стремительно наклюкался и, вместо того чтобы допрашивать меня, стал изливать душу и жаловаться на жизнь, как трудно он поступал и едва избежал армии, как затирают его москвичи, а всюду в редакциях сидят евреи и русскому человеку, особенно из провинции, туда не пробиться, как приходится подрабатывать, чтобы достать денег и приодеться, сколько стоят его джинсы, дубленка и волчья шапка, без которых у них на факультете лучше не появляться, и все это вперемешку с обещаниями написать роман, где он выскажет все, что думает об иудейском засилье.

Слушать его было и противно, и странно. Я был одет в стократ хуже, но никогда не чувствовал себя в Москве униженным провинциалом. Напротив, она вытащила меня из чагодайского прозябания, отнеслась бережно и нежно. Да и вообще вся моя судьба — не была ли она опровержением его пьяных жалоб?

— Просто ты еще с этим не сталкивался,— заметил он спокойно и, хлопнув меня по плечу, заключил, что нам, добивающимся всего своим трудом коренным русакам, надо учиться у евреев солидарности и держаться друг друга, чтобы громадный город нас не сожрал.

Под конец мой интервьюер едва ворочал языком, но, несмотря на пьяный угар, статью написал толковую, трогательную, с фотографией на фоне памятника Ломоносову. Она мне так понравилась, что я не удержался и отослал ее в Чагодай с тайной надеждой, что отец перепечатает сей опус в «Лесном городке» и тем утешит добрую Анастасию Александровну, а также утрет кое-кому нос.

Видит Бог, то был единственный раз, когда я позволил себе тщеславные мысли. И, хотя никто на факультете не сомневался, что после университета ме-

ня сразу же возьмут в аспирантуру, я играючи напишу кандидатскую диссертацию, а к тридцати годам стану доктором наук и профессором, сам я никогда не думал ни о карьере, ни об успехе.

Я не хотел, чтобы математика служила мне, но мечтал оставаться ее смиренным послушником. Мне казалось, она является ключом к некоей тайне, которую я призван разгадать. Никакие блага земного царства не могли заменить трепет этой разгадки, я жалел людей, обделенных талантом и обреченных жить обыкновенной жизнью, убогой и скучной, не знавших, чем ее разнообразить, и оттого мучившихся от безответной любви, непризнанности, бедности, зависти и болезней, и разговор с несчастным писакой, олицетворявшим в моих глазах самое жалкое, что в мире содержалось, только сильнее в этой правоте убеждал. Я был защищен от всего дурного, что могло бы поколебать устойчивость моего сознания, между мной и миром внешним лежало непреодолимое пространство, похожее на вздувшуюся после ледохода мутную реку, за которой оставались житейские неурядицы, вражда происхождения и крови, тщеславие и неприязнь.

И все-таки бывали минуты, когда меня охватывало сомнение.

Я подходил к зеркалу, и мне вдруг становилось себя жаль — долговязого, большеногого, большерукого, нескладного подростка с маленькой головой и оттопыренными ушами, — непонятно, где только могли в ней помещаться мозги? За что, за какие грехи его наказали и посадили в камеру, что мнится ему в одиночестве и что за тайну он ищет в своих вычислениях? Ведь, может быть, никакой тайны нет или тайна эта заключается не в кривых линиях и красивых формулах, не в соотношении чисел, множеств и функций, а в разноцветии и разнообразии бытия, в отношениях между мужчиной и женщиной, которые он так и не познал, в дружеских пирушках, драках, ревности и соперничестве, в любви и рождении ребенка. И даже если и найдет он что-то, откроет или выдумает, даже если прославится, не пожалеет ли о том, что его молодость прошла совсем не так, как должна она проходить — в веселии и страдании сердца, в его радостях и страстях?

Я возражал глядевшему на меня из зазеркалья, что нет в жизни ничего, что бы стоило истины. И человек призван не следовать страстям, но бороться с ними, а истину дано открыть лишь тому, кто жертвует собой, то есть девственнику и затворнику. Однако мой таинственный собеседник лишь тихо усмехался, будто знал нечто, мне неведомое, и я не мог побороть свою печаль. Я гнал ее прочь, горячился, наступал на зеркальное отражение, но однажды почувствовал, что в моем восхождении что-то нарушилось.

Не могу точно сказать, когда это произошло. Помню только, шли дожди. Казалось, выйдет из гранитных берегов и зальет город обыкновенно вялая река. Под ногами валялись враз облетевшие листья. В блестящих лужах отражались зыбкие фонари. По полукруглому шоссе за университетом пробежали мужчины и женщины в спортивных костюмах, и их провожали презрительными взглядами надменные молодые люди, что бродили вдоль желтых заборов, скрывавших неведомую жизнь.

Я любил холмистую местность над крутой излучиной Москвы-реки. Темный стадион на противоположном низком берегу и пустынное кафе на набережной под самым мостом, где грохотали и больше не останавливались поезда метро, трамплин и церковь. Вид мерцающего, гулкого города и окутанный сырým туманом университет за спиной. Мне там хорошо думалось и забывалось. Но в ту теплую осень, ступая по листьям в темном парке и поднимаясь по глинистым дорожкам от пенной воды, я вдруг ощутил неуверенность и безотчетный страх. Я перестал улавливать очень тонкие и едва осязаемые вещи, в область которых вступил; они оказались враждебными, выталкивали и пугали меня, как пугал мир, от которого я бежал, и теперь боялся оказаться невостребованным нигде.

О моем страхе не догадывалась покуда ни одна душа. Я по-прежнему быстрее всех находил решение либо доказательство того, что решение невозможно, и все-таки нечто обманчивое виделось мне в удачливости, с какой покорялась чагодайскому дитяти наука и сам собой попадался из всех путей кратчайший и из всех способов легчайший.

Появлялись едва заметные трещинки, я замазывал их, маскировал, но делать это с каждым разом становилось труднее. Мои ошибки легко было приписать усталости, но Евсей спрашивал меня чаще обычного, подлавливал на растерянности, забрасывал десятками заданий и требовал, чтобы я работал на износ. Он дразнил, злил, мучал, как мучает, не имея улик, но зная свою правоту, преступника с нечистой совестью и железным алиби умный следователь. Надтреснутый гортанный голос, сухой, лающий кашель назойливого ментора, сопровождавший каждую выкуренную им сигарету, преследовали меня по ночам, и мне вдруг сделалось необыкновенно тяжело, будто изменился сам воздух вокруг, отнялись ноги и я оказался в условиях, при которых прежние навыки сделались ненужными, а потребовались совершенно иные, которых у меня не было.

Все это были зыбкие и неуловимые вещи, и мое угасание длилось долго. Я качался от отчаяния к надежде. Иногда казалось, все вернется — уверенность в себе, сила, удача, но ночами снились страшные и бессвязные сны. Снилось машина, на которой я еду по улице и не знаю, как ею управлять, как остановить или повернуть руль, а несусь с огромной скоростью вниз на перекресток; снилась война, где я никогда не был. Потом я просыпался и среди ночи начинал снова заниматься, быстро уставал, пил кофе, курил и работал снова, но у меня ничего не получалось. Что-то разладилось в мозгах — тот, второй, человек во мне скорбно молчал, душу охватывал ужас, и все яснее вставало передо мною одно недавнее воспоминание.

В последний год учебы в интернате всех мальчиков нашего класса повезли в военкомат. Мы затерялись там среди одногодков, обычных московских призывников, которых сгоняли со всего района. Испытывая сильное раздражение от бесконечных раздеваний, одеваний, взвешиваний, измерений и осмотров, от сальных шуточек помятого мужика в погонах, за нами надзиравшего, я тупо выполнял, что велели, и желал только, чтобы скорее все кончилось.

Медкомиссия растянулась на целый день, нас гоняли из кабинета в кабинет, и всюду надо было ждать. Я оказался вполне здоров и годен к строевой службе, но, когда стали проверять зрение и я бегло назвал все до одной буквы на предпоследней строчке, раздраженная не меньше моего и уставшая от толпы подростков, прошедших через ее кабинет, врачаха развернула передо мной похожую на детскую книжицу с кружочками разных размеров.

— Какая цифра?

Никакой цифры я не видел.

Она быстро перевернула страницу:

— А здесь?

Казалось, она надо мной смеется.

— Дальтоник? — спросила медсестра, сидевшая над картой.

Вероятно, на моем лице что-то отразилось, и врачаха сказала еще более раздраженно:

— Не надейся, от армии это тебя не освободит!

Я вышел от нее совершенно растерянный, не замечая ничего вокруг и не слыша, что говорил лысый дядька в погонах. А потом — так бывало, когда я сталкивался с очень трудными задачами и пытался их увидеть, чтобы найти решение, — так и теперь: лежавшая между мной и всем миром мучительная грань обнаружилась, прояснилась и встала перед ущербными очами. Я понял в ту минуту, почему поставила меня в угол Золушко и почему красные революцион-

ные флаги на детском рисунке оказались зелеными. Я понял, почему всегда хуже других собирал в лесу бруснику и находил грибы, почему иногда брал красную ручку и учителя сердились на сделанные ею упражнения по русскому языку или неверно раскрашенную географическую карту. Я был действительно физически непохож на большинство людей.

Тогда я об этом забыл, уверенный, что дальтонизм никак не повлияет на мою жизнь. Но теперь, в отчаянные университетские ночи, когда я сидел и мучился над нерешенными задачами, все отчетливее рисовалась передо мной дразнящая книжка с кружочками, прихотливо образовывавшими красные и зеленые, желтые и синие цифры и геометрические фигуры, но лучший математик Московского университета назвать их не мог. Я бродил по пустынному темному зданию, поднимался на верхние этажи, дожидаясь, когда рассосется ночная мгла. Ранним утром выходил в парк и шел к реке. Просил помощи у громадного города, его дорог и камней, у деревьев и домов, куполов церквей и черных птиц. Но город жил своей жизнью, и дела ему не было до душевных и умственных расстройств одного из его маленьких обитателей, которому не хватило природного дара, и чей тонкий голосок сломался так же естественно и легко, как ломается звонкий голос мальчика-подростка в переходном возрасте.

А может быть, и не в этом было дело? Может, погубили меня не недостаточная природная способность, а, скажем, слабый характер или неуверенность в себе, так что минутную усталость, обыкновенный кризис, который в душе каждого человека случается, и, чем он талантливее, тем кризис глубже, я принял за окончательный приговор? Может быть, просто слишком рано сдался и опустил руки и, вместо того чтобы поддержать и ободрить, дать утешение и совет, меня подтолкнул в пропасть злой и безжалостный горбун?

Он встретил меня с неизменным стаканом водки и согнал с колен круглую бабищу, в два раза превосходившую его по объему.

У меня перехватило дыхание, будто это не он, а я страдал от астмы. Худое лицо, надменное и презрительное, ключья тронутой сединой курчавой бороды, узкий кривой нос, начинающийся от высокого лба, чернильные глаза, смотревшие равнодушно и отчужденно, а за этой отчужденностью странное удовлетворение, точно он давно меня поджидал.

— Что вы со мной сделали? — вымолвил я наконец.

— Текел.

— Что?

Евсей Наумович усмехнулся бескровными губами, подошел к полке и снял странную книжку маленького формата в гибкой обложке. Я испугался, что она тоже состоит из тех разноцветных символов, которыми обозначен ответ на нерешенные мною задачи, но когда раскрыл, то увидел множество тоненьких-претоненьких страниц шелестящей папиросной бумаги, заполненных убористыми строками.

— Вот тебе подарок, — сказал Горбунок неожиданно высоким и чистым голосом, — открой заложенную страницу, — он не выдержал и закашлялся, — и прочти вслух.

«Ты взвешен на весах и найден очень легким».

V

После этого у меня началась бессонница. Я ложился спать в обычное время, но в третьем или четвертом часу просыпался и не мог уснуть до утра. Я привык к бессоннице как к болезни и не пытался более ее обмануть, зная, что она меня все равно не отпустит. Я жил в ту пору в маленькой, похожей на опрокинутый набок гроб келье. По преданию, комнаты в общежитии Главного здания были в два раза больше и рассчитаны на одного человека, но, когда верховному

строителю высотки принесли проект на утверждение, он посчитал, что этого будет слишком много, и велел разделить нормальные помещения пополам, отчего они сделались уродливыми. Раньше это было не важно, но теперь меня стали мучить и запах, и теснота, и уозсть моего жилища, раздражать тараканы, которых я прежде не замечал, и даже сосед по блоку — щуплый, словно двенадцатилетний ребенок, вьетнамец.

Звали его Хунгом. Был ли он недостаточно способен от природы или всему мешало плохое знание русского языка, но учиться ему было трудно. Брезгливые университетские преподаватели ставили заикающемуся азиату плохие оценки, строгое посольство было готово отправить за неуспеваемость на родину, где была у него большая, жившая в нужде и постоянной работе семья. Студенты смеялись за его спиной, буфетчицы и продавщицы в магазинах хамили в глаза. Однако он не унывал, вымалывал тройки, канючил, брал экзаменаторов измором, дарил им подарки и так добивался своего. Он даже ухитрился завести русскую подружку, хорошую, стеснительную девочку с факультета почвоведения, которая была уверена, что когда идет по коридору в его комнату, то ее видит весь университет и все знают, зачем и к кому она ходит, хотя я подозревал, что Хунгу куда важнее были практические уроки мудреного славянского языка в постели, нежели сама постель.

Несколько раз вьетнамец пытался со мной сблизиться и предлагал по дешевке джинсы, билеты в театр и редкие книги, но я от всего уклонялся. Моя неуступчивость приводила его в замешательство. Бог знает, зачем ему так важно было иметь со мной хорошие отношения, однако он никогда не упустил меня из виду и дожидался своего часа. И вот однажды, когда я сидел и листал подаренную Горбунком бельгийскую Библию, псалмы царя Давида и Соломоновы притчи, подробное описание Ноева ковчега и ковчега завета, перечисление имен в коленах израильских царей, останавливаясь на страданиях праведников и наказаниях грешников, поражаясь страшной жестокости человеческой истории, суровости и мстительности ветхозаветного Бога, так похожего на моего Евсея Намовича, и мне казалось, что все грозные пророчества этой книги направлены против читающего, Хунг прервал мои катехизические штудии, постучавшись в дверь и пригласив на вечеринку.

Только вьетнамцы могли вдесятером набиться в комнатушку, где одному тесно, а потом еще устроить в ней танцы. В углу сидела почвовед Люся с глупеньким треугольным лицом и светлыми кудряшками. Маленький, изрезанный за долгие годы университетской жизни и сменивший множество хозяев стол был уставлен всяческой снедью. Пахло рисом и острыми приправами. Стояла невзрачная вьетнамская водка, в которой плавали корни экзотического растения, а вся комната звенела от азиатской птичьей речи. Здесь, среди совершенно чужих людей, впервые в жизни не совладал я с собой, и юной пионеркой понеслась в рай душа.

Комната поплыла перед больными глазами чагодайского несчастливца, увеличиваясь в размерах и расползаясь по углам. Я пытался собрать ее, как разбежавшихся из шкатулки сказочных бычков, вьетнамцы превращались в фантастических существ, и мне чудилось, я понимаю их интонирующий вниз-вверх язык. На этом языке я стал спрашивать одного из них, зачем они бросили свою щедрую землю, что делают в этом городе, где невозможно купить бананы и манго, а вечную зелень с деревьев уносит ветром и на полгода засыпает грязным снегом.

Хунг подливал в мой стакан, стучал по плечу и радостно кричал: «Ленсо, ленсо!» За спиной, на полу и на потолке хихикали свистящим смехом вьетнамки, погас свет, включили музыку, и начались медленные танцы, объятия, поцелуи, сопение. Но чем больше я становился пьян, тем пронзительнее делалась обида на мир, и отчаяние, перемешанное со сладкой жалостью к себе, стоя-

ло во мне по самое горло. Наскучив глядеть на глуповатую Люсю, сидевшую посреди веселия со сдвинутыми коленками, так похожую на ученицу чагодайской средней школы, и на копошившихся в углах азиатов, я встал у окна и долго смотрел в покрытое изморозью стекло — туда, где за рекой мерцал огнями холодный город, отнявший у меня детство, право на тихую и бессобытийную жизнь, использовавший и за ненадобностью отбросивший.

Вылезла из угла и пригласила меня танцевать белозубая плотная вьетнамочка со смуглым круглым лицом, от которой пахло чужим, дурманящим, как в мастерской моего надменного учителя. Она крепко прижималась ко мне, касался худой шеи острый язычок, но разбуженная обида была сильнее тела. Она застлала ее лицо и прикосновения, я оттолкнул наседавшую девочку, и она нежно меня оставила. Добрый Хунг отвел напившегося соседа в сторонку и стал убеждать, что всякое дело «можно поплавитя, суду ести нужние луди». Он говорил и говорил, все хуже справляясь со звуками русской речи, но во мне точно срабатывал внутренний переводчик, и я понимал, что он хочет выразить своим лепетом. Что только по молодости, по незнанию жизни и той среды, в которую попал, я так трагично ко всему относился. Ничего особенного-то ведь не случилось. Нужно просто уйти от одного научного руководителя к другому, перевестись из семинара в семинар, и никто не воспримет это как поражение — мало ли людей уходят от Горбунка, а потом все равно поступают в аспирантуру и пишут диссертации, преподают на факультете и работают в научных институтах. Я был не первым и не последним, скорее наоборот: мне был дан шанс примкнуть к ордену отвергнутых им, ибо ничто так не скрепляет людей, как общее оскорбление.

— Ты нужно зенсина, Никита. Твой не понравился Ли? Надо позвать другая.

Он что-то произнес на птичьем языке, и ко мне подошла маленькая тонкая девочка. Она взяла меня за голову и стала втирать в виски мазь, а потом повела в свою комнату. Она делала все очень ловко, совсем не так жадно, как интернатская маркитантка Ниночка Круглова. Я лежал без сил, а она расстегивала мне рубашку, целовала грудь, было щекотно от прикосновений ее маленьких и легких горячих ладоней. Но, когда мое грехопадение уже сделалось неотвратимым, в коридоре послышался топот, шум, зашелестело слово «оперотряд», и в нашу дверь застучали.

Они ворвались в комнату, где мы лежали на диванчике уже совершенно нагие. При ярком свете узенькая вьетнамочка стала испуганно, мелко трясясь, одеваться, пугаясь в белье и не попадая в рукава кофточки. Я видел отчетливо, как в замедленном фильме их лица — молодые, румяные, с морозца, лица отличников ленинского зачета, студентов-юристов, этой продажной сволочи, которая через несколько лет разнесет по кусочкам мою страну, превратится в адвокатов и юрисконсультов, но куда еще упоенно играет в коммунизм. За их спиной появился с болезненной, жалкой приклеенной улыбкой Хунг, замелькало испуганное лицо Люси и ее приговор: «Ой, мамочки, что же будет-то?»

Я бросился на одного из парней. Он растерялся и пропустил удар по лицу, но другие заломили мне руки и, пиная ногами, поволокли по коридору.

«Вот все и кончилось», — подумал я равнодушно, но неожиданно навстречу парням поднялся во весь рост маленький вьетнамец, а за ним следом надвигалась вся гомонящая индокитайская шобла, не агрессивно, но очень настойчиво. Не зная, как совладать с этим лукавством, не понимая, какое дело этим азиатам до напившегося русского бузотера, и боясь, что рутинный рейд перерастет в международный скандал, за который по головке не погладят, напишут гадости в характеристиках, не пошлют летом за рубеж или отложат прием в партию, комсомольские парни попятились, скалясь и суля прислать наряд настоящей милиции, которая цацкаться не будет.

Они хотели уйти красиво. Однако, глядя на обмякших, струсивших дружинников, я вдруг понял, почему испугались и не справились с этим низкорослым народом здоровяки янки. Но это была последняя мысль моего угасающего сознания, я пошатнулся, упал и дальше ничего не помнил.

По всей видимости, предприимчивый Хунг сумел все уладить, потому что проснулся я в своей комнате, один, и никаких последствий, не считая головной боли, от давешнего буйства не было. На столе стояла бутылка «Ячменного колоса». Я стал неумело открывать ее вилкой, поранил пальцы, но потом припал к горьковатому прохладному напитку.

Как же хорошо растекался по телу пивной хмель! Еще полчаса назад я и помыслить не мог, чтобы закурить, а теперь взял сигарету, подошел к окну, распахнул его и, вобрав в легкие вкусный морозный воздух, начал додумывать свои мысли.

«Зачем тебе гениальность?» — спрашивал я себя, точно поменявшись ролями с зеркальным отражением и навсегда отправив молодого честолюбца и затворника по ту сторону реального мира. Библия с шелестящими страницами и описанием валтасаровых пиров лежала на столе. Я засунул ее подальше на полку, спрятав меж пухлых, ненужных учебников и монографий, выпил еще и в этом дрожащем болезненном состоянии ума беспечно решил, что надо начинать новую жизнь.

Я хотел было снова постучаться к соседу, взять у него еще пива и попросить привести понравившуюся мне вьетнамскую девочку, купить родные джинсы «Montana», дубленку и волчью шапку и сходить на Таганку. Так я вообразил и мечтал, пританцовывая и распевая песенку вагантов с модного тухмановского диска, но к вечеру веселого солнечного дня, когда захолодало и зажглись над рекой нежные сумеречные звезды, схлынули и опьянение, и похмелье, умолкли бесшабашные звуки, вернулось из зазеркалья мое чагодайское «я», и все благие мысли университетского трубадура об обывательской судьбе растаяли.

Опять, как в отрочестве, я бродил по ночной Москве — уходил из Главного здания незадолго перед тем, как оно в полночь закрывалось, и часами шел и шел — по переулкам Замоскворечья, через реку поднимаясь на Ивановскую горку, выходя на бульвары и заканчивая путь на утреннем Курском вокзале. Я не знал, как дальше жить, это состояние было мучительно своей неопределенностью, как вообще мучительна и безрадостна молодость, лишь по великому недоразумению и беспамятству считающаяся лучшим периодом человеческой жизни. Часами я сидел на лавочках, тосковал, мечтал, и вывела меня из этого состояния очень странная, высокомерная и высокорослая девица с распущенными волосами, одетая в грязные джинсы и рваную телогрейку, которая однажды, когда в Москву приехал польский лидер Ярузельский и нас погнали встречать его на старую Калужскую дорогу, небрежно вручила мне маленький флажок вроде тех, которыми размахивали чагодайские демонстранты.

Как я, чужавшийся всех общественных мероприятий, законно от них освобожденный, очутился в толпе студентов рядом с универмагом «Москва», какой черт меня туда понес и зачем мне был нужен этот дурацкий флажок?

— Поднимешь, когда поедут машины, — сказала она, мельком на меня взглянув.

Кортеж приблизился, и за стеклом черного лимузина я увидел мрачного, похожего одновременно на палача и на жертву пассажира, чей взгляд бессмысленно скользил по нашим лицам. Но, когда я поднял руку, он вздрогнул, глубокие, страдальческие глаза остановились на мне. В следующую минуту меня выдернул из толпы среднего роста плотный человек и вырвал флажок.

— Кто тебе его дал?!

Девушка в телогрейке, которую я принимал за комсорга курса, стояла недалеко от нас. Она глядела насмешливо. Я ничего не понимал и собирался молча повернуться и уйти.

— Откуда эта мерзость?

Ее насмешка меня взбесила. Отчаянно вращая глазами, сорвавшимся на фальцет мальчишеским голоском я завопил:

— Да как вы смеете такое спрашивать! — И стал вырываться.

Он был сильнее и потащил меня в сторону, не было рядом маленьких верных вьетнамцев, чтобы спасти «ленсо». А впрочем, было все равно, куда он меня волочет и что со мной сделают, — я даже подумал, что если бы меня отчислили из университета, это было бы лучше.

Но пухлогубый оказался из ректората, и дело было решено не выносить за стены университета. На факультет пришла бумага, но мое начальство, посоветовавшись с Евсеем Наумовичем, так цыкнуло на говорунов: дескать, понимают ли они, какое сокровище каждый математик, который в отличие от них не болтовней, а делом крепит обороноспособность государства? Знают ли, сколько средств уже было на меня затрачено, чтобы просто так взять и выгнать, и если, не дай Бог, сейчас отчислить, то страна потеряет уникального математика? Столько шороху напустили, что ректоратские уже не рады были.

Только я из этой истории другой урок вынес: не по чину мне похвалы произнесены были, обманом выданы — не заслужил я такой опеки. Не благодарность, а обиду за горькую, пусть и не нарочную и оттого еще горшую услугу в этом заступничестве ощутил.

А кроме обиды на кретинов из ректората, на нетонкое и лицемерное свое начальство, на расчетливого, себе на уме Горбунка, который обязан был случаем воспользоваться, чтобы от меня окончательно избавиться, но вместо того стал относиться гораздо ласковее и мягче, и на всю тоталитарную систему, запомнил я рысьи глаза лихой девушки, что сунула мехматовскому лопуху злополучную эмблему польских смутьянов.

Я не надеялся ее увидеть, но воспоминание о незнакомке против воли приводило меня к нелепому стеклянному зданию, что стояло наискосок от цирка и музыкального театра перпендикулярно долгому яблоневому проспекту и даже не казалось принадлежавшим университету, — настолько иными были населявшие его люди, их лица, разговоры и одежда. Я пытался разглядеть виновницу моих недоразумений в толпе хохочущих див, куривших в теплые дни возле бездействующего фонтана, а в холодные — набивавшихся под лестницей в вестибюле. Заглядывал в большие аудитории и поднимался на лифте на верхние этажи, бродил по узким долгим коридорам, где все время раздавался женский смех и стоял, подрагивая, веселый гул и запах вечной весны, заходил в библиотеку, в которой было немногим тише, и болтался возле расписания. Вскоре ко мне привыкли, глядели кокетливо и с любопытством.

Среди беззаботных насмешниц попадалось немало хорошеньких и симпатичных лиц. Ленивые и утомленные бродили наподобие не то сутенеров, не то евнухов редкие парни с мутными глазами, но той, что меня так изящно подставила, в пестрой толпе не было. Однако чем дольше я ее не видел, тем пронзительнее была моя поздняя первая влюбленность.

Я уже не помнил ни ее лица, ни голоса, отчаялся встретить, хотя воспоминание о ней, единственное, удерживало меня и в университете, и в этом городе, а иначе давно бы все бросил и уехал. Я всерьез примеривался к экзотической профессии лесоруба или сплавщика леса, был готов уйти в тайгу и среди медведей, клещей и гнуса проверять на излом свое несчастное «я».

Но перед зимней сессией, сдавать которую я уже и не собирался, в сырой, оттепельный, гнилой и темный, оттого что растаял снег, декабрьский день тихонько поступался Хунг.

Следом за ним в проеме двери в светлой легкой шубке, из-под которой виднелась черная юбка, в аккуратных сапожках, пахнущая зимним воздухом, еще более красивая и нежная, взрослая и недоступная, чем я мог вообразить, как самое прекрасное создание дразнящего стеклянного мира возникла та, которую я искал.

— А ты молодец! — сказала она, поднимая на меня чудные черные, точь-в-точь как у Золушко, очи.

Хунг исчез, будто его и не было, но в последний момент мелькнуло на сморщенном вьетнамском яблочке-личике нечто похожее на предостережение, только я ему не внял.

Я смотрел на вошедшую женщину во все глаза и не мог насмотреться. Ее нельзя было назвать совершенной красавицей. Но в неправильных чертах ее лица и линиях крупного тела, в продуманном наряде, во всем облике ее было что-то очень привлекательное и тревожное. Светлые вьющиеся волосы пепельного оттенка открывали аккуратные уши с серебряными сережками. У нее были глубокие глаза и чувственные, обметенные лихорадкой губы. На высокой шее посажена горделивая головка с гладким высоким лбом. Тонкие руки с узкими запястьями, на которые были надеты браслеты, она скрестила на высокой груди, но, несмотря на защитную позу, позволяла на себя глядеть и не опускала насмешливого взгляда.

Прислонившись к подоконнику, я стоял на ватных ногах и не мог ни говорить, ни тронуться с места, ни коснуться ее. Я был уверен: сейчас все кончится, она уйдет, и тогда ничего другого мне не останется, как — не в Сибирь даже — а окошко распахнуть и вниз. Но тут девушка приблизилась и прижалась гибким, жарким телом.

Я вздрогнул, впервые в жизни не так, как в физкультурном зале на матах с Ниночкой и не как пьяный с покорной и равнодушной, готовой на все, потому что велел старший, прелестной вьетнамочкой, а по-настоящему ощутив прикосновение женщины, и с непонятно откуда взявшейся опытностью притянул к себе, ища губами ее губы.

— погоди,— оттолкнула она меня и, оперевшись руками в грудь, с глазами, сужившимися, как у узбечки, спросила: — Почему тебя до сих пор не выгнали?

— Что? — Так нелепо, некстати и совсем не о том прозвучал ее вопрос.

— Ты подписал какую-нибудь бумагу, дурачок? Зачем меня ищешь? Для чего подослал этого желтого?

Я растерялся еще больше и не знал, что сказать, а она, раскрасневшаяся, возмущенная, продолжала выпаливать мне в лицо:

— Тебе велели? Ну пойдём!

Наверное, в моих глазах отразились ужас и стыд, и ее голос сделался более мягким.

— Я не виню тебя — не надо было к тебе подходить. Мне терять нечего, я не пропаду, а тебе, если отчислят,— беда.

Она говорила теперь почти ласково, а я вцепился в нее и не отпускал.

— Так вот что тебе надо.— Она откинула с лица волосы и внимательно на меня поглядела.— Как же можно так сразу, без любви?

— Я люблю.

Она на секунду остановилась, потом забралась с ногами на узенький диванчик, из которого лезли и впивались ей в спину пружины, устроилась удобно и легко.

— Любишь? Скажешь, как увидел, так и полюбил? Или у тебя на объяснения да ухаживания времени нету?

Я не мог отвести взгляда. Она вытягивала из меня душу, накручивала себе на палец, как вьющийся локон.

— Ну иди сюда.

Не смея до нее дотронуться, боясь, что это может оскорбить и она подумает, будто принимаю ее за легкомысленную женщину, я сел рядом.

Она положила мне на плечо голову, а потом перебралась на колени.

— Погоди, юбка помнется,— шепнула.

Я не верил своим глазам, в которых померкли не только все цвета радуги, но и сам Божий мир; я знал, что этого не может, не должно быть, этой молодости и щедрости не просил, мне достаточно было стоять и держать ее в руках — только бы никуда не уходила.

— Свет погаси.

Молча я повиновался, но потом вспомнил про оперотряд.

— Чего боишься? Никогда не был с женщиной?

— Сюда могут прийти,— выдавил я через силу.

— Кто? Комсомольские мальчики? — расхохоталась она.

VI

Наверное, они были все больные, эти люди — те, кто распихивал флажки и читал запретные книжки, зря я с ними связался, но я тогда об этом не думал. С легкой руки черноглазой блондинки Алены, что общалась с хиппи, оккупировавшими первый этаж корпуса гуманитарных факультетов, приходила с утра невыспавшаяся, с зубной щеткой в сумочке, вместо лекций сидела в прокуренной дыре под лестницей и часами трепалась, но при этом никогда не теряла гордого и великолепного вида, я принялся читать слепые самиздатовские распечатки, встречаться с такими же ушибленными людьми, ходить в мастерские скульпторов и художников, на подпольные концерты рок-музыки, что проводились в общежитиях на окраине Москвы, и мне даже в голову не могло прийти, что такие вещи в наше время возможны.

Мы собирались на квартирах в подмосковных поселках, ездили в академгородки, курили сигареты, от которых потом болела голова, вяло разговаривали, рассказывали анекдоты и передавали слухи. Поначалу это казалось ужасно скучным, обязательной нагрузкой вроде билетов в филармонию, которые продавали в комплекте с билетами на Таганку или в «Современник». Я долго не мог понять, что влечет меня — возможность быть с Аленой, провожать ее домой и до одури целоваться в темноте улиц и бульваров, по которым вчера еще ходил в одиночестве и тоске, а если ее беспечных родителей не было дома, то подниматься вверх в квартиру — в общежитие она с тех пор так ни разу и не пришла, или что-то другое, разбудившее душу и призвавшее к забытому мщению за детское поругание?

Она тянула меня в бесчисленные и разнообразные компании, где я ревновал ее к каждому гуманитарному пижону, умеющему рассказывать анекдоты, говорить скользкие комплименты, бряцать на гитаре, отгадывать шарады, капутничать и с особым гаденьким удовольствием материться в присутствии поощрявших их к этому занятию и оценивающих каждое движение и слово женщин. Я чувствовал, с каким недоумением на меня там смотрят, хихикают за спиной, потешаются, точно спрашивают — что могла она в нем найти? — и любил ее все сильнее.

А Аленушка чувствовала, забавлялась, тормозила, дула губки, была рассеянна и печальна, дразнила, ласкалась, а то вдруг делалась необыкновенно серьезной, часами рассказывала про Испанию, корриду, фламенко, цыган, испанскую жандармерию и испанское отношение к смерти, про Толедо и Саламанку, про лимонные роци и сухое лицо Кастилии, твердила красивые и звонкие стихи, заставляла вникать в темы ее курсовых работ, а однажды завела в костел рядом с Лубянской и призналась, что прошлым летом, будучи в Прибалтике, пере-

шла в католичество. В костеле было уютно и тихо, играл орган, вкрадчиво говорил сонный, аккуратно постриженный и гладко выбритый прелат, люди становились на колени на специально приспособленные скамеечки, все было очень продуманно, комфортно и совсем не походило на толчею и шумливость наших церквей. Потом по храму заскользил юркий человечек с подносом. Прихожане клали туда бумажки — не было ни одной монеты, и я почувствовал себя невероятно сконфуженным. Человечек с укоризной посмотрел на мое покрасневшее, растерянное лицо, а когда мы вышли, Алена вдруг начала запальчиво говорить, как не любит азиатчину и тупость, как жалеет, что не родилась если не испанкой, то хотя бы еврейкой или армянкой, и если и выйдет замуж, то только за кого-нибудь из представителей великих и древних наций. Я вспомнил про пьяньего журналиста, про Горбунка и подумал, что ничего не понимаю и, наверное, никогда не научусь понимать в жизни этих расчетливых людей.

Порой я ловил на себе Аленыны задумчивые взгляды, она словно размышляла, отпустить меня или еще подержать рядом, и я догадывался, что ничего не значу в ее жизни, мне суждено будет остаться лишь эпизодом. От этого становилось печально, но когда мы в другой раз шли от костела в сторону Сретенки, она вдруг заговорила сама:

— Не обижайся, Никитенок! Я бы тебя, ей-богу, на себе женила, хоть ты и чистокровный лопухий русак с круглой рожой и неблагозвучной фамилией. Но я хочу любить многих мужчин, многое перепробовать, а тебе такая не нужна. Да и жениться тебе рано... Пойми, дурачок, нельзя же связывать себя с первой попавшейся женщиной. Узнай других, сравни, а не то начнешь изменять жене, а она будет бить тебя сковородкой по умненькой башке.

Превозмогая обиду в сердце, я слушал ее и сам не понимал, что держит меня возле прекрасной дамы, которая не ведает, чего хочет и для какой цели раздает ничего не подозревающим юношам опасные эмблемы, а потом укладывает невольных героев в постель. Станным мне показался недоступный некогда мир взрослых мужчин и женщин, между которыми существуют взрослые отношения, которые не стесняются друг перед другом раздеваться и разглядывать чужую наготу, где нет ничего запретного и стыдного. Совсем не походил он на тот, каким мнился голодному чагодайскому подростку. Я недоумевал, отчего люди его обожают, пишут стихи, вешаются и сходят с ума, зачем стремятся к гнилым огонькам ночных светляков, разоблачая мучительную отроческую тайну, куда более прекрасную в ее нераскрытом стыдливом образе.

Я больше не жалел, что ожидание этой тайны в моей судьбе затянулось. Быть может, было бы лучше, если б я не узнал ее вовсе, и права была маленькая с бельмом в глазу старуха с Рогожской слободы, где гулял я однажды в интэрнатской юности в припадке меланхолии, а она, поглядев на мое отрешенное лицо, вдруг спросила:

— Ты, мальчик, чист?

Я отчаянно покраснел, а старуха торопливо, не давая мне опомниться, заговорила, что девственность надо хранить и, когда наступит Страшный Суд, Господь возьмет меня к Себе и я сяду по Его правую руку и стану судить грешников, блудниц и лихоимцев, попавших под власть чувственного антихриста. Все это звучало так дико и так правдиво, что я быстро пошел прочь от старухи и ее суровой церкви, в которой пели старинным распевом, крестились двумя перстами, стояли строгие белобородые деды и низко кланялись тоненькие девушки в белых платочках.

Однако несколько лет спустя, потеряв зыбкий шанс уберечься, я не был уверен, что правильно поступил, променяв загробное спасение на близость с женщиной. Я жалел и спрашивал себя: почему не остановился, почему позволил уловить свою тогда еще не погибшую душу, вместо того чтобы затянуть тело в вериги и ремни и жить по не мною выдуманному вековым правилам?

Весной, когда из открытых окон потянуло пряным запахом распускавшихся университетских садов, а из газет и телевизоров — последним холодком утраченного времени, но все равно пели соловьи и цвела сирень, в милом моему сердцу парке над Москвой-рекой на глазах у сбившей меня с панталыку, а теперь перетрухнувшей любительницы острых ощущений Алены, главная претензия которой к похотливым людишкам за желтыми заборами состояла в том, что ее, студентку романо-германского отделения, не выпустили на родину Гарсиа Лорки изучать испанский язык, а потому власть в стране надо немедленно переменить и разрешить всем ездить куда угодно, я сжег позорную красную книжицу члена ВЛКСМ, всю испещренную разными по степени яркости штампами со словом «уплочено».

Аленушка побелела, покрутила хорошеньким пальцем с серебряным колечком у виска и, не оборачиваясь, побежала навстречу чистомордым охранникам.

А я не отмалчивался больше на семинарах по историческому материализму и с холяжкой упертостью ругался с тишайшим преподавателем, задавал ему дурацкие вопросы про Сталина, военный коммунизм, правую оппозицию и гибель нэпа. Видимо, сам в душе не чуждый либерализму, он однажды оставил меня после занятий, похвалил за желание разобраться в проклятых вопросах бытия, однако посоветовал делать это в другом месте и даже пообещал дать адресок, где собираются вольнолюбивые толкователи советской библии, гася в долгих поднадзорных спорах о Троцком и Бухарине энергию сопротивления. Да только я уже закурил удила и пошел вразнос, хотя найти единомышленников мне так и не удалось, и на свой страх и риск в одиночку развешивал ночами в университете листовки и писал на стенах грозные лозунги.

Несколько месяцев спустя меня снова вызвали в деканат, предупредили сперва мягко, а потом строже, лишили повышенной стипендии и объявили выговор за то, что не пришел на субботник, поставили двойку по несуществующей науке под названием «политэкономия социализма». Евсей, в чьих учениках я по-прежнему числился, меня покрывал, но дальше этого никогда не шел и ни в чем не поддерживал, будто его не касалось. Я-то был убежден, что коль скоро он заступился, то должен был и во всем прочем союзником стать, и не мог понять, что за его отстраненностью таилось — осторожность, неведомый расчет или просто равнодушие и эгоизм?

Но Горбунок лишь усмехался, курил и кашлял, не мешая мне вместо математических экзерсисов высказывать филиппики насчет прогнившей системы.

Однажды только обронил:

— Все это, мальчик, не то. Расскажи-ка мне лучше о Чагодае.

— О чем?!

— О туманах. У вас же там замечательные туманы — в них, говорят, заблудиться можно.

Что ему было до Чагодая? Но его определенно влекло в то место, откуда я сбежал, и, быть может, благодаря моему происхождению он не стал рушить легенду о выдающихся способностях своего оступившегося ученика. Он ничего не требовал и будто дал вольную — живи и делай, что хочешь. Я не сомневался, что, случись у меня необходимость оставить на хранение пишущую машинку, бумажки или книги, он бы их взял.

Только вот я бы скорее ребятам в ректорат их отнес, чем к Горбунку. Потому что с той поры, как мои попытки взять его в диссидентские рекруты окончились ничем, я стал презирать людей, вроде нашего либерал-доцента с кафедры научного коммунизма, которые все понимали, но нарушать комфортную жизнь не хотели и вызывали гораздо большую неприязнь, чем те, кто стремился схватить меня за руку. Я теперь вспоминал, что иные из этих книг и у нас в доме были и папа их читал, наверное, давали друзья, с которыми он учился или хо-

дид в горы. Может быть, там, среди ледников, на высоте, где нельзя развести костер, а пищу готовят на примусах и вода кипит при температуре семьдесят градусов, где кружится от кислородного голодания голова и невозможно согреться ночью от стужи, а днем спастись от сжигающих кожу солнечных лучей, где никто, кроме мифического черного альпиниста, пугавшего путешественников восходителей, не мог их слышать, они спорили, возмущались.

Но почему же тогда, зная все это, мой отец ничего не делал и только уходил в горы да ограничивался отказом от райкомовских пайков, пока и вовсе не пошел в услужение власти? Почему свое мужество, энергию, готовность рисковать и презирать опасность, быть может, жившие ради этих минут и готовившиеся к ним целый год, они не использовали для того, чтобы подняться во весь рост и распрямиться на равнине, где было это в сто крат опаснее и нужнее?

Я даже нечто вроде гордыни испытывал, делая то, на что ни батя, ни учитель неспособны оказались. Я собой упивался, себя любил, а главный редактор чагодайской газеты просто не верил, а старший преподаватель механико-математического факультета все точно рассчитал и знал, когда пройдут все сроки, и ждал, никого не торопя и ни в чем мне не мешая, покуда на наших глазах трое генеральных секретарей Богу душу отдали.

Все произошло необыкновенно буднично. Они рылись в бумагах, книгах и тетрадях — двое скучных поджарых мужиков, потом один достал из портфеля кипятивник, они стали пить чай, есть булки и яблоки и на меня даже не глядели. Я взял гитару и заиграл Галича. Я играл громко, чтобы было слышно в коридоре, — они поначалу не обращали внимания, потом досадливо поморщились, будто слышали в моем пении или в чудной песне хриплого парижанина «Я выбираю Колыму» фальшь. А я все пел и пел, и еще сильнее капало за окном, и было все равно, что со мной сделают.

Из общаги, где поглядеть на меня высыпал молчаливый и попятившийся народ, минуя Лубянку и Бутырку, меня отвезли на Савеловский вокзал. На перроне вернули отобранный в начале обыска паспорт, посадили в поезд и велели убраться по месту постоянной прописки — в город Чагодай.

VII

Темный вагон потряхивало, входили и выходили люди с коробками, чемоданами, сумками и тюками. Напряженно вглядывались во тьму, пытались угадать название нужной им маленькой станции, две женщины, которые везли в деревню молочных поросят и цыплят, но на все вопросы молодая проводница в сером халате только пожимала плечами. Она сажала безбилетных пассажиров, торговала пивом и водой, в вагоне было холодно и душно, как бывает в поездах, где спит народ на третьих полках и сидит вповалку на нижних. Особо активный пассажир с четырехлетней дочкой ругался из-за сырого белья и грязного туалета, все тихо возмущались, но никто его не поддерживал. На шум появился и исчез, как чеширский кот, жуликоватый начальник поезда. Потом наевшийся крутых яиц и жирной московской колбасы народ отвалился и захрапел.

Мне не хотелось есть, и запах еды внушал отвращение, но теперь, когда все угомонились, вдруг сделалось сиротливо. Я сидел на нижней боковой полке плацкартного вагона и, полуотвернувшись от соседей, точно вжался в окно. За ним проносилась знакомая дорога с пустыми полустанками, столбами, переездами и колодцами, по другую сторону, в вагоне — ехали те, кто ее населял и жил в рассеянии и кучности. Это и был мой народ, чагодайское племя, среди которого предстояло мне существовать и попытаться объяснить, за что меня начальство против шерстки погладило.

Я глядел на темную лесную стену, мимо которой неожиданно прибавивший ход поезд несся, как в бездну, громыхая на стыках рельс и раскачиваясь из стороны в сторону, так что казалось, еще одно колебание — и его сорвет с полотна. Люди спали, никто не подозревал об опасности — только неведомый машинист вел состав назло всему через тьму, ветер и дождь. И мне подумалось, что этот поезд и есть раскачивающаяся на стыках страна — несущаяся Бог знает куда, может быть, уже и не по рельсам, а через топи и болота, и один машинист видит освещенный яркой фарой путь. Но вдруг стало страшно, что машинист заболел, сошел с ума, напился или нет там машиниста. Мчится по безлюдной блестящей дороге поезд без рулевого, разгоняется на рельсах под уклон — и никто в громадной, безмятежной, наевшейся, напившейся до отвала и наворовавшейся жалкого добра стране этого не знает.

Наверное, я все-таки уснул, потому что растолкала меня проводница, за которой стоял невыспавшийся печальный начальник поезда, и растолкала не грубо, а очень боязливо, точно я был обвешан гранатами.

— Красный Холм.

В Москве давно пахло весной, а здесь, в трехстах километрах севернее, снег в лесу лежал, на озерах и водохранилище стоял лед, и по этому последнему льду шла рыба — единственная отрада для местного мужичья. До утра я сидел в тесном зальчике, выходил курить и пил пиво, стараясь не болтать бутылку, чтобы не поднимался со дна осадок.

Рядом расположились на самодельных ящиках загорелые, с обветренными лицами мужики с ледобурами, в ватных штанах, полушубках, сапогах, валенках, с резиновыми камерами, и вспомнилось из детства: каждый год по весне гибнет на Рыбинском водохранилище не один человек — на льдине уносит.

Пришел поезд на Москву, и у меня вдруг заныло — вернуться. Никто меня не ждал, никто не увидит, как я сяду в обратный поезд, и не уследит за мной в большом городе.

Не лежала у меня душа ехать в Чагодай.

Я представлял главного редактора «Лесного городка», которому наверняка сообщили, что его сын исключен из университета и выслан из Москвы, и от этого стало мне неуютно. Даже если отца не снимут с работы, все равно затаскают по комиссиям, влепят строгий выговор, как он у них там называется, с занесением в учетную карточку, найдется масса людей, которых он когда-то обидел и которые теперь не преминут на нем отыграться. Или заставят отречься от сына. И зачем ему, больному, уставшему человеку, все это нужно? Мало у него было в жизни грехов и сделок с совестью, мало лгал — по моей вине еще одна ложь прибавится. А может, и лгать не потребуется, сам с яростью напустится и будет громить, как громил все новое и чужое, задушит с криком: я тебя породил, тебя и убью, — хотя за яростью стоять будут в действительности ревность и нежелание признать, что ты устарел и на смену идут другие, кому надо уступить и редакторство, и власть.

Поезд ушел, и в мое сердце ткнулись пустота и одиночество. Я вышел на привокзальную площадь. Рыбаки уже забирались в рейсовый автобус. Их было так много, что, казалось, автобус предназначен специально для них, и я сел на пыльное переднее сиденье. Рыбаки расположились сзади и принялись есть. Они ели поначалу довольно сосредоточенно, я ощутил доходящий до дурноты голод и вспомнил, что не ел почти сутки. Я наблюдал за ними, сидя вполборота и делая вид, что гляжу за окно.

Их было чуть больше десятка. В их глазах я уловил странное колебание. Один достал бутылку водки, и рыбаки успокоились, сомнение улеглось — они выпили совсем немного и стали рассказывать друг другу тысячу раз слышанные байки про килограммовых окуней, судаков, обрывающих прочнейшую леску, лещей, таких больших, что не пролезают в лунку, про провалившегося в

прошлом году под лед мужика. Они говорили обыденно о самых разных вещах, смешных и жутких, интересных и неинтересных, но одинаково уважительно друг к другу прислушиваясь и не перебивая, и странная вещь — что-то мешало мне предъявить этим отчаянным людям, каждый год выходявшим на рыхлый весенний лед и рисковавшим собой ради удовольствия, ради холодной и скользкой рыбы, то же обвинение, которое я предъявлял отцу и его товарищам.

Постепенно холмистая дорога за окном сделалась более ровной, я задремал и очнулся, когда автобус остановился в деревеньке на берегу водохранилища. Рыбаки тотчас же посерьезнели, больше не пили, легкомыслие их покинуло, и они осторожно пошли по льду неровной цепочкой.

Я следовал за ними на отдалении, несколько раз они оборачивались, но уже не с любопытством, а с досадой, пока не привыкли, как привыкают путники к бегущей за ними бездомной собаке. Один из них остановился и стал делать лунку. Он сверлил лед очень долго и никак не мог добраться до воды: уже почти полностью ушел вниз ледобур, и рыбак стоял теперь на коленях. Но вот руки его замерли, потом он резко вытащил орудие из лунки — хлынула вода вперемешку со снежным крошевом, забрызгав валенки, брезентовый плащ и лицо. Алюминиевым черпаком он откинул мокрый снег и устроился на ящичке.

— Ой, бедовые, лед-то рыхлый больно, не дай Бог расколется и унесет. И что лезут, что лезут...

Древняя, беззубая, морщинистая бабка в платке, надвинутом на самый лоб, смотрела на рыбаков и, точно не со мной и даже не с собой, а с морем разговаривая, прошамкала:

— Зеть у меня в прошлом годе потоп. Доцка с двумя детьми в Цереповце осталася. Ох, горе-то, горе!

— А школа у вас есть? — спросил я у бабки.

— Есть. А как же! — Бабка махнула в сторону рассыпавшейся по берегу деревни. — Прямо дак пойдете, и за магазином школа стоит, восьмилетка...

Дождавшись, когда прозвенел звонок и школа — по-видимому, это был интернат, куда привозили детей из окрестных деревень, — наполнилась голосами, я толкнул дверь. В учительской находилось несколько женщин, одетых так просто, что были похожи не на учителей, а на таких же доярок или телятниц, какие встречались мне на пути, и единственный мужчина сорока с лишним лет, большеглазый, будто черты его лица специально увеличили. Он был хром, ходил, опираясь на палку, так что его можно было принять за молодого, чудом уцелевшего ветерана войны, а женщин — за солдатских вдов.

— От алиментов скрываешься? — спросила одна из учительниц и недоверчиво на меня посмотрела.

— Я не женат.

— Да что вы в самом деле? — рассердился мужчина, стукнул палкой и повернулся ко мне. — Какое у вас образование?

— Ушел с пятого курса мехмата МГУ.

Прозвенел звонок, но на него никто не отреагировал.

— А к нам, извините, что занесло?

Я поглядел за окно, из которого видны были безбрежное поле и черные точки рыбаков.

— Рыбу люблю ловить.

Тут женщины засуетились и стали наперебой рассказывать, какая у них замечательная рыбалка, какие хорошие дети, директор повел показывать жильё при школе, уговаривая взять классное руководство и физкультуру.

С моря нес сырость ветер. К ночи опять потеплело, выпавший утром снег растаял. Я думал о рыбаках, которые, наверное, так и не вернулись со льда и, разбив палатки, дремали над лунками, а может быть, ушли на берег и заночевали в лесу у костра. Я желал им удачи и представлял, как в следующий раз пойду

вместе с ними, буду слушать их разговоры, воображал сложенную из толстых бревен нодью, которая медленно прогорает, подтапливая снег и проваливаясь до заросшей голубикой, брусникой, мхом и вереском почвы, пробуждая прежде времени запах северной болотистой земли. Кто знает, для каких целей создан человек и в чем его предназначение,— и не в этом ли видении заключена моя судьба, за руку ведущая брыкающегося несмышленища по миру и лучше него знающая, какое место и время для него выбрать?

Мои метафизические переживания и благодушные прожекты прервал стук в дверь. На пороге, опираясь на палку, стоял директор школы.

— У нас нет свободных вакансий,— сказал он, избегая смотреть в глаза.

Мне стало больно-больно, будто я стукнулся головой об лед.

— А какие есть? — сострил я через силу.

— Уезжай отсюда! — сказал директор твердо.

И мне почудилось: он говорил то, что я уже некогда слышал и ненавидел: «Ты взвешен на весах и найден...»

Я не хотел продолжения.

VIII

Много позже, размышляя о странностях своей жизни, о том, что было в ней реального, а что просто сочинил сам, я все время недоумевал: каким образом директор сельской школы так скоро узнал о моей предыстории? Ведь не мог же он послать ночью запрос — куда? в роно? в КГБ? в райком партии? — и получить ответ, что в его школу пытается прокрасться злостный антисоветчик и растлить учащихся. Да и с чего бы он стал так делать, если я ему понравился? Или меня вычислил кто-то из рыбаков, был ко мне приставлен и, вернувшись ночью со льда, предупредил директора? Но откуда они могли знать, что я поеду не в Чагодай, а на Рыбинское водохранилище?

Все это было так же странно, как мелькнувшее в мчавшейся машине с затемненными окнами печальное лицо Ярузельского, победы на олимпиадах чагодайского мальчика, и многое прочее, меня преследовавшее, опутавшее и словно мостившее впереди дорогу. Я смутно догадывался, что странностей и совпадений будет гораздо больше, они-то и образуют мою судьбу, а пока, точно за клубком колючей проволоки, который дала мне, не спрашивая, нужен он мне или нет, любительница кастрированных котов Анастасия Александровна, шел и шел без копейки денег, нигде не преклонив головы и не зная дороги, мимо терпких весенних лесов и ветреных грязных полей, перешагивая через лужи и ручьи, вдоль вздувшейся мутной реки и ее обнаженных с южной стороны склонов, сквозь убогие деревни с брошенными или раскупленными горожанами и обворованными домами, оставляя в стороне большие поселки и малые города,— я шел, пока из апрельского сырого тумана внезапно колокольнями, фабричными трубами, противоракетным комплексом, несколькими башнями и локаторами не появился призрак Чагодая. Все с детства привычное: запретные зоны, стрельбище в лесу, куда я ходил за грибами. Каким же маленьким много лет спустя все оказалось и как странно было поверить, что я здесь жил.

К полудню туман рассеялся. Апрельское солнце растопило снег, по улицам текли ручьи, в дворах визжали бензопилы, плотничали и кололи дрова мужики. Проезжавшие машины обдавали людей брызгами, сопливые горластые дети пускали щепки и яичные скорлупки по яркой воде. Не будь я таким невыспавшимся и угрюмым, Чагодай с его горькими запахами, прозрачностью и голыми силуэтами деревьев на фоне сырого неба, подтаявшим, но все равно чистым снегом, аккуратными деревянными домишками, кривыми улицами, спускавшимися к реке и изгибающимися на холме под ослепительным веселым светом, который отражался в сотнях его луж, с улыбками неторопливо бредущих людей, играющи-

ми собаками, гомонящими воронами и тренькающими синицами, с ветхими церквушками, поленницами, пожарной каланчой и даже карликовым Ильичем, похожим на щелкунчика в приспущенных штанишках, показался бы мне прекрасным и вырвался бы из груди изгнанника сладкий и покаянный вопль: «Господи, я вернулся!»

Но я шел по родному городу, как тать, и мне чудилось: все давно уже обо всем знают, осуждают или хихикают за спиной смехом злюшкиных школьниц. Однако меня не узнавали, поглядывали искоса, деликатно, со сдержанным любопытством, как смотрели чагодайцы на приезжих.

Дома никого не было. Нашарив ключ под половиком, я вошел в пустую квартиру, с цветами на подоконниках, репродукциями из «Огонька» на стенах и тускло поблескивающими похвальными грамотами за победы на областных олимпиадах. Увидь я их год или два назад, наверное, сорвал бы со стены, но теперь они вызвали во мне одну усмешку. Куда сильнее мучил голод, но я не решался ничего в доме взять, а прилег на диван и стал ждать хозяев, будто в чужой квартире меня застала умная, натасканная собака, молча впустила и, зарычав, не позволила сойти с места. Громко тикали часы, за окном медленно наливалась синева, изредка раздавались голоса и шум машин, потом все стихало.

Сон упал на измученную голову, подхватил и увлек за собою, и в этом сне мне казалось, что гонится за мной, отбросив палку, директор деревенской школы на берегу Рыбинского водохранилища, а за ним едва поспевает гурьба деревенских женщин. Я убежал от них по льду и хотел добежать до рыбаков, но лед раскалывался на части, меня несло по свежей воде, и только уменьшались и таяли фигурки людей, а на берегу кричала бабка и звала утопленника-сына. Потом по глазам полоснул свет, и я не сразу понял, что это вернулся с дачи родители.

Матушка побледнела и кинулась ко мне, но под тяжелым взглядом отца отступила.

Ни сочувствия, ни страха, ни даже особого интереса мои жизненные перипетии у отца не вызвали. Обрюзгший, уставший, передо мной сидел мужик, хозяин. Все интеллигентское в нем стерлось, под ногтями огрубевших пальцев была земля, на шее ранний загар, от него пахло навозом, потом и ветром, и все прежние забавы, бесполезные горы, партактивы и пропагандистские семинары ушли в прошлое, в нем ожила крестьянская кровь, и он поклонялся только одному богу и одному беспспорному и всем принадлежащему дару — земле.

Меньше всего я бы мог поверить, что бывший альпинист и шестидесятник, ночами тайком ловивший в эфире Би-би-си, а впоследствии убежденный идеологический работник и проводник всех партийных решений до такой степени врасчет в выделенные несколько лет назад шесть соток подзолистой земли, что участок затмит ему белый свет и то упорство, с которым он лазил в горы и противостоял чагодайской рутине, а затем эту же рутину яростно отстаивал от разрушителей и нигилистов, главный редактор «Лесного городка» вместе с навозом перенесет на скудную и кислую почву своего огорода.

Папа накупил садоводческих книжек, выстроил стеклянную теплицу с обогревом, привез несчетное количество тачек перегноя, купил несколько машин торфа и навоза, заразил огород снытью, потом два года отчаянно с нею боролся до полной победы, и, покуда его мнительный отпрыск сводил трудные счета с математической наукой, выясняя, гений он или нет, а после того с советской властью на предмет, виновата ли она в его жизненном фиаско, отец пропадал на дачке. Там же был у него сарайчик, который мало-помалу он перестроил в уютный домишко. В газете появилась рубрика в помощь огородникам, теплица и участок все больше его захватывали, теперь он и в санатории никакие не ездил.

Матушка моя, к земле совершенно равнодушная, но покорная мужу, солила и мариновала огурцы, варила компоты и варенья, которые за год не успевали съестся, и из засахаренных банок благодарная соседка гнала самогон.

— Дурак ты, сынку. Выучился б сначала, а потом бунтовать лез,— сказал отец спокойно и равнодушно бросил: — Собирайся, с утра парник будем строить.

— Я никуда не пойду,— сказал я тихо, но очень твердо.

Он недобро усмехнулся:

— Жрать захочешь — прибежишь.— И, поворотясь к матери, буркнул: — Сегодня накорми его, а завтра куска хлеба не дам.

Несколько секунд я помедлил, а потом вышел из дома и, как много лет назад, побрел в темный лес, где волки, за реку.

Там развел костер, нарубил елового лапника и, голодный, на лапнике уснул. А наутро устроился грузчиком на картонной фабрике. Так началась моя чагодайская жизнь, и, сколько она должна была продлиться, одному Богу было ведомо.

Я поселился у бабы Нины, которая под старость сделалась необыкновенно набожной, работала сперва уборщицей в храме, а потом дослужилась до стояния за свечным ящиком и ушла жить вместе с еще одной старушкой в прицерковный домик. Вечерами она долго вела душеспасительные беседы, весь смысл которых сводился к тому, что на следующей неделе наступит конец света и все не примкнувшие к ее храму будут преданы геенне, а в первую очередь дочь и зять, выгнавшие ее из дома. Я не пытался ее разубеждать, но слушать было жутковато: черт его разберет, вдруг насчет Армагеддона баба Нина была права?

Днем с отвращением отработывал смену, не обращая внимания ни на косые, ни на любопытные взгляды, потом приходил к себе в комнату, и поскольку бабушка в основном постилась, то наспех всухомятку ел хлеб и консервы «Завтрак туриста», пряники или, если удавалось купить, плавленый сыр, кипятил чай и ложился на железную пружинистую кровать, разглядывая сучки на потолке, пока глаза не закрывались и я не засыпал, чтобы проснуться за полночь и не спать до рассвета. У меня ныли руки, плечи, ноги, спина — мне казалось, что тело состоит из отдельных, болезненных частей, которые перессорились друг с другом, а назавтра опять должен был до одурения таскать ящики, мешки и неподъемные коробки.

Но, покуда была ночь, я был предоставлен сам себе, и в эти бессонные часы в притихшем гулком доме слушал «голоса», которые здесь ловились гораздо лучше, чем в Москве, но по большей части оставляли у меня раздражение. Устав от шороха в эфире и многословия, выходил на крыльцо. Ночью местность преобразалась, и я любил глядеть в раскинувшееся от края до края звездное небо, чувствовать одиночество и ничтожество, философствовать и размышлять о свете далеких звезд, иные из которых давно умерли, но свет их еще живет, находя в этом занимательном факте сходство с собственной судьбой и судьбой тех идей, из-за которых я здесь оказался.

Быть может, думал я, бродя по темным чагодайским улицам, наступая на хрустящие льдом лужицы, присаживаясь на лавочки возле чужих домов и мерцающая в ночи огоньком сигареты, в далеком будущем на этой печальной земле что-то переменится, но тех, кто жертвовал ради нее свободой, здоровьем и жизнью, к тому времени уже не останется. Мой народ, чагодайское племя оказалось не древними иудеями, а я не Моисеем — рабство продолжалось, и не было этому рабству конца. Так что, куда ни кинь, одна судьба у мыслящего человека в России, чагодайская,— стать почвой, непонятно лишь, для кого и для чего. Сколько поколений ее уваживало, сколько светлых голов скатывалось, сколько людей пропадало по тюрьмам, психлечебницам, ссылкам, на виселицах, сколько спивалось — все оказывалось впустую, черноземную землю размывало водой,

разламывало оврагами и ветрами, разносило по миру, где на крохотных площадях она давала удивительные плоды, и только на родине все пропадало и уходило в бездну. Мне суждено было так же сгинуть, но эта мысль вызвала не отчаяние и не ярость, а ровную печаль и смирение.

Прислушиваясь к далекому лаю собак и будоражившему мою впечатлительную душу близкому нежному гудению самолетов, представляя летевших людей, среди которых кто-то у окна смотрит вниз и не видит ничего, кроме черноты, и даже не догадывается, что под нею скрывается целый город, я размышлял о том, что очень скоро превращусь в чагодайского обывателя в самом отвратительном его облике, женюсь, нарожаю детей, буду брошен женой и сопьюсь. Возможно, все произойдет гораздо стремительнее — может, именно в этом состоял замысел, и даже не тех, кто меня сюда сослал — они слишком глупы, чтобы до чего умного додуматься, — но той слепой силы, которая зовется судьбой и ломает и унижает человека, низводя его на уровень животной твари.

Однажды я встретил на улице Золюшко. Она постарела, согнулась и осунулась. Никогда бы я не поверил, что эта учительница Чагодая имеет возраст, Золюшко навсегда осталась в моем представлении в той зрелой и сильной женской поре, когда волей, хитростью, изворотливостью и упорством женщина заткнет за пояс любого мужика. Но передо мной была тихая пенсионерка, она держала в квартире кошек, выходила гулять в сквер, шурилась на пробегающих мимо орущих мальчишек и грозила им пальчиком, упиваясь воспоминаниями о той властной поре, когда любого могла поставить в угол. Это похожее на старость нацистского преступника, скрывающегося от правосудия в Южной Америке, золюшкино благополучное доживание до смерти вызвало во мне горечь. Неужели так и окажется безнаказанным зло?

Мне хотелось если не убить ее, то хотя бы нагнать, остановить и прямо тут, посреди города, заставить выслушать исповедь человека, которого она покалечила. При этом я все понимал: схвачу за руку оторопевшую старуху, которая наверняка всегда была не вполне нормальна, а теперь и вовсе выжила из ума, звать к ее раскаянию бессмысленно. Мое сердце больше не страдало от неутоленной мести, и не казалось, что, пока этого не сделаю, никакого движения вперед не будет. Медленно идя вслед за Золюшко вдоль полноводной реки, морщась от блестящего на ее поверхности солнца, оглушенный весенним гомоном птиц и ослепленный невидимой нежной зеленью распускавшихся деревьев, я подумал совершенно об иной вещи.

Почти все мальчики в нашем классе прошли через золюшкино наказание, иные и не по одному разу. Никому в душу оно не запало, как мне, не испортило жизни, и даже казенные серенькие штанишки они снимали легко, точно Золюшко дразнили. Отчего же я оскорбление не перенес? Оттого, что имел слишком тонкую натуру, а где тонко, там и рвется? Или же мне была открыта тайная подоплека гаденькой экзекуции — демонстрация женского превосходства над мужским, чисто чагодайская бабья власть, публичное унижение и насмешка над мужским достоинством и естеством.

Мне казалось, в этой точке я подходил к самой ужасной тайне древнего и нового Чагодая: жестокость, зло и уродство в мире идут не от мужчин, но от женщин, подобно тому как дальтонизм передается по женской линии, а поражает мужчин. Рожденные чагодайскими женщинами, мы все становились калеками. Как в заколдованном царстве амазонок, не имели права голоса. Все, на ком держалась чагодайская жизнь — чиновники, продавцы, врачи, учителя, почтальоны, — были женщинами. Мужья нужны были им лишь для оплодотворения, после чего их изгоняли. Они могли придумать десятки оправданий, что мужики были никчемными, приносили мало денег, а те, что приносили, пропивали, заводили любовниц или слишком скоро теряли мужскую силу, но это ничего не значило.

Женская надзирательница Золюшко девочек не наказывала никогда — она учила их, как надо вести себя с мужчинами, чтобы те были послушными. Моя благодетельница Анастасия Александровна кастрировала кота, чтобы он был веселым и беспечным. В этом подчинении и послушании, в превращении мужчин в детей, в их вечном недорослизме и вывернутом наизнанку домострое была суть Чагодая.

Мне улыбались на улицах, со мной заговаривали и заигрывали, и казалось, молодые женщины были единственными созданиями, в ком я вызывал не отчуждение и не страх, а жалость и любопытство. Однако скоро я понял, что за этим стояло желание найти либо мужа, либо временного отца детям в городе, где трудно устроить судьбу и так много одиноких матерей, чьи дети рождались от разноплеменных солдат. Бродил по чагодайским улицам целый интернационал — от изящных смуглых якутов и крепких бурятов до черных, волосатых уже в семилетнем возрасте мирно друживших армян и азербайджанцев — в поисках отцовства, и никто их матерей не осуждал.

Я мог выбрать любую, отдав и тело свое, и душу вечно женской душе Чагодая, раствориться в ней и навсегда себя потерять, но вместо разбитной и легкомысленной гризетки мне попала застенчивая девица семнадцати лет.

Звали ее Инной. Она только что окончила школу и работала в городской библиотеке. Маленькая, худенькая, с мелкими, изящными чертами лица, полная противоположность холеной и эффектной Алене, она поразила меня: как и откуда могло появиться в Чагодае это чудо?

В ней таилось еще не расцветшее, неуловимое, невыразимое свойство породистой женщины, врожденная деликатность, которая делала ее беспомощной и трогательной и одновременно заставляла перед нею теряться. Но удивительное дело — в целом городе этого никто не понимал!

Мои представления о провинциальной любви были наивными донельзя. Однако я был убежден, что вокруг нее должны толпиться парни, приглашать на танцы или в кино, провожать до дома, а потом выяснять, кто единственный из них должен остаться. Она родилась для счастливой женской доли, однако была одинока, никто ее не любил, и вряд ли кого-то любила она.

Видит Бог, если б не одиночество, я бы не стал к ней подходить. Но, когда глядел на нее, поникшую, с устремленными вдаль глубокими глазами, когда она выдавала потрепанные книги или заполняла крупным детским почерком формуляры, а то и просто сидела в тишине и читала романы столетней давности Писемского или Мамина-Сибиряка, мне становилось обидно. Не знаю, отчего это происходило и кого Инна напоминала, было ли это влечение случайным, зависело от особенностей ее характера или тяготения астрологических символов, только мое чувство к ней определялось совершенно иными вещами, нежели обыкновенным вниманием к красивой девушке. Я смотрел на молодую библиотекаршу через освещенное окно, поджидал в сумерках у котельной, где бродили по пустырю, ели чахлую траву козы и среди помета валялись пустые бутылки.

— Нам не нужно видиться, — сказал я в первую встречу.

Но она покачала головой, взяла меня под руку и медленно через сонный город повела к реке. Мы допоздна гуляли вдоль сумеречной Чагодайки, и истосковавшийся по живому теплу, я расспрашивал свою спутницу о мельчайших подробностях ее однообразных дней, казавшихся мне наполненными поэтическим смыслом. Представлял, как, собираясь на свидание, Инна перебирает нехитрый гардероб, тихонько вздыхает, моет детским мылом голову и украдкой от матери подкрашивает серые глаза, и хвалил ее старенькие платья, прическу и туфельки. Она не могла понять, говорю ли я серьезно или шучу, и эта растерянность вызывала у меня умиление.

В моих небогатых отношениях с женщинами никогда не было долгих прелюдий, робких, потом более уверенных касаний, поцелуев, объятий и объясне-

ний. Все происходило стремительно и быстро, но с Инной получалось иначе. Долгое время я не решался до нее дотронуться, и даже потом, когда мы целовались сырыми и теплыми ночами до самого рассвета и до синевы на губах, когда сидели обнявшись на завалинках, где еще совсем недавно я провожал взглядом летевшие в Москву самолеты и грустил о бессмысленности освободительного движения в моей стране, когда наконец позабыл об этих глупостях и ласковая Инна все позволяла, я себя смирял и не переходил последней черты.

Неполная близость угнетала ее. Инна чувствовала мою несовершенную любовь, обжигалась и плакала, а мне опять приходилось думать о нелепости жизни, в которой я принужден играть чужую роль. Я пытался внушить ей, что она должна побереж себя для лучшей доли и не связывать свою судьбу с человеком, чье прошлое сомнительно, а будущее неопределенно, убеждал уехать в Питер или Москву, где она обязательно встретит достойного мужчину. Я был уверен, что ее ждет счастливая семейная жизнь, здоровые, умненькие детки. Ведь вся вина умной, начитанной, красивой и способной девушки заключалась в одном том, что родилась она не в Москве, не в интеллигентной семье, однако кто сказал, что это обстоятельство должно служить препятствием к счастью?

Меня злили ее провинциальная апатия, трусость и непонимание своей цены, равнодушие к будущему. Какая жизнь ее здесь ждала и какая тоска — стать женой чагодайского обывателя, любителя разливного разбавленного пива, пьяного грузчика с картонажной фабрики, замotanного бесправного лейтенанта из лесного воинства, рано состариться среди пыльных вечных книг, бессмысленных газет, скоротечных журналов и к тридцати годам превратиться в толстую огородницу, которой нечем будет утешиться и нечего вспомнить, кроме нескольких встреч с опальным студентом?

Она не говорила этого, но чудные глаза, губы, все разбуженное ласками маленькое тело хотело, чтобы я стал ее первым мужчиной. Она устала этого ждать, а я, наверное, плохо ее знал и напрасно считал застенчивой и несмелой. И потому был ошеломлен, после того как однажды, исцеловав оголенные плечи и шею, не помня себя от угара, едва нашел в себе силы Инну оставить, но, когда я закурил сигарету, моя кроткая возлюбленная не промолчала, как обычно, не заплакала и не отвернулась, а поглядела в упор, узкие зрачки зло сверкнули при блеске небесного фонаря и, одернув бретельки сарафана, скрывавшего нежные груди, вызывающе сказала:

— Я знаю, что тебя останавливает. Но найду, как устранить помеху.

Я вздрогнул, вдруг догадавшись, что она не шутит, а действительно может это сделать и после прийти ко мне, поглядев без страха в глаза. Я испугался, так явственно представив ее отчаяние и оскорбленность, которые она никогда не простит и сгинет на пути отмщения, повторив одну из обыденных чагодайских девичьих судеб.

Летним душным вечером во время всенощной службы мы воровато прокрались в нагретый за день, пахнущий воском церковный домик, и, покуда баба Нина была поклонны и косилась по сторонам, поглядывая, правильно ли кланяются другие, ее внучек торопливо, боясь не успеть и даже толком не раздевшись, согрешил со своей подружкой.

Я ненавидел себя за то, что оказался недостаточно нежен и умел, стыд перебил во мне чувственность, но, когда потерявшая смысл имени девушка подняла голову от подушки, в ее близоруких глазах я увидел такую благодарность и счастье, что подумал: никто и никогда меня не любил и не будет любить, как она, и за что была мне эта безоглядная любовь?

— Ты мне послан Богом, — говорила она, целуя мои руки, и украдкой, чтобы она не видела моего лица, я поморщился, но на душе вдруг сделалось страшно оттого, что она упомянула все грозное слово, связанное с бабой Ниной и Армагеддоном. Я испугался: сейчас что-то случится — опрокинется нам на головы

небо, провалится в тартарары церковный домик, рухнет стоящий неподалеку храм или пройдет великий разлом посреди Чагодая.

Однако ничего не стряслось. Ее жертва не переполнила чашу терпения небес, а мы уже не могли остановиться, и Инна привязывала меня к себе шаг за шагом, опутывала постепенно, по-женски расчетливо, умело, как будто ей было не семнадцать, но вдвое больше лет. Она была весела и беспечна, и ни о каких последствиях я не задумывался, пока однажды чагодайская дева не сказала тихо, но медовые глаза за стеклами очков светились и ликовали:

— У нас будет ребенок.

Инна смотрела с нежностью, хотя ее лицо стало того же оттенка, что и глаза, и преобразившееся тело сотрясилось от внутренней лихорадки, а я чувствовал мелкий сыпучий страх, который тонким песком, как в стихах Гарсиа Лорки про испанскую жандармерию, что твердила мне давным-давно на певучем чужом языке осторожная Алена, струился по коже, и страх был сильнее, чем в те часы, когда в моей комнате проводили обыск и везли Бог знает куда по равнодушной Москве.

— Я не хочу иметь детей, — сказал я, облизнув сухие губы.

Инна посмотрела на меня недоверчиво, жалостливо, непонимающе.

Я привлек ее к себе и стал целовать, изображая страсть, и твердить нежные слова, перебивая ласку просьбой повременить с ребенком: может быть, в другой раз, через год; я заговаривал ее, как проповедник или гипнотизер, — только бы она освободила меня, увлекая и постепенно сам увлекаясь, так что не заметил, как мы уже лежали обнявшись и я жадно дышал в душное прозрачное ушко, не переставая говорить: давай подождем, любимая, у нас впереди целая жизнь.

Бог знает, что было у нее на душе, поверила она мне или распознала фальшь, но странное дело — моя упрямая любовница, которая никого, кроме себя, не слушала и готова была мне назло переспать с первым встречным, взяла направление и пошла в больницу. Я представлял, как жалели ее врачи, а может быть, наоборот, грубили и называли в глаза шалавой. Она вытерпела все, ни слова упрека не сказала, и я не брался об этом ни судить, ни рассуждать — то была тайна, лежавшая вне моего понимания и чутья, и мне оставалось лишь молча с ее жертвой смириться и принять.

IX

Беда была в том, что у меня не было жизненных правил. Я жил по наитию, от случая к случаю, мог поступить благородно и смело, а мог малодушно и подло. Мое нравственное чувство было переменчивым и шатким, и я лишь догадывался, сколько перемешано во мне трусости и смелости, подлости и порядочности, и никогда не был уверен, какая именно из этих черт, какое свойство души в той или иной ситуации возьмет верх. Этой шаткости я стыдился и скрывал столь же тщательно, как и свой дальтонизм, но был в Чагодае человек, о ней знавший и не обманывавшийся насчет того, что и в пороках, и в добродетелях я был слишком мелок, чтобы воспринимать меня всерьез даже по пошехонским меркам.

Раз в две недели я навещал его, хитроватого, себе на уме мужичка, который вызвал меня едва ли не через неделю, после того как я приехал в Чагодай, и насмешливо объявил условия пребывания в городе:

— Сиди тут и никуда не рыпайся. Не послушаешься — пойдешь под суд и получишь срок, а оттуда такие, как ты, не возвращаются.

У моего надзирателя была смешная фамилия — Морозкин, и он был, наверное, самым счастливым человеком во всем чагодайском королевстве. Его не мутили за неурожай, он имел хорошую зарплату, браконьерил в свое удовольствие и ничего и никого не боялся; мужик, кулак из породы людей, кто умеет жить

при любой власти, вывернется и приспособится, пройдет по лезвию, он казался воплощением изворотливости. Его боялись и признавали даже чагодайские женщины. В их глазах он был настоящим хозяином, каких на здешней земле давно не осталось, и ему они готовы были служить не за страх, а за совесть. Невидимо управлял кум чагодайской жизнью и больше всего боялся повышения, как бы не выдернули его из лесного рая, и потому перед начальством придурковатым старался казаться: вот он, потолок мой, вы только не трожьте меня. Он больше всего удовольствия ценил — от бани, от охоты и рыбалки, от жены, от любовниц, — барином жил Степан Матвеевич Морозкин. Жена каждый год рожала ему детей — две патриархальных и многочадных семьи было в Чагодае — бабы Нинина попа отца Алексея и кума Морозкина.

Ко мне Степан Матвеевич испытывал странное влечение. Здоровый и неглупый человек, он все же одуревал от скуки, и беседы со мною были забавой в его счастливой однообразной жизни. Случалось, третьим с нами выпивал отец-герой Алексей, который, как и я, ходил к куму наполовину по принуждению, а наполовину из любопытства. Морозкин к батюшке относился довольно прихотливо — проверял у него амбарные книги, кого он крестит, кого отпевает, а кого венчает, но и препятствий не чинил, только следил, чтоб порядок был.

Они вместе парились в морозкинской баньке над рекой, любили за картами вечерок скоротать, и меня сажали третьим, но играли не на деньги, а на выпивку и закуску: кто проиграл — тот все и оплачивал. Меня эти вечера раздражали, но сама игра увлекала. Я со своим мехматовским опытом — а хорошо играть в преферанс считалось у нас делом чести — не ожидал сильных противников встретить, хоть и выигрывал всегда. Батюшка поначалу немного смущался и скорбную мину напускал, будто за веру гонения принимает и исключительно для того, чтобы паству спасти от властей предержавших, приходит к наместнику кесаря. Но стоило на столе появиться колоде, обо всем забывал и становился необычайно азартен, любил рисковать, а проигрывая, что случалось куда чаще, чем с Морозкиным, огорчался, словно ребенок.

Помимо колоды, глаза его загорались, только когда речь заходила о католиках, и он принимался ругать папу римского с такой искренней и пронзительной ненавистью, что это казалось смешным. Разумеется, он знал от Морозкина о моей католической пассии и мог подозревать сосланного студента в тайном папизме, куда худшем воинствующего безбожия. Но более всего в Алексеевой ненависти мне чудилось нечто ущербное — этакое сознание своей неполноценности, как если бы чагодайский поп уразумевал, что, будь он подданным не рабской московской патриархии, а железного папы Войтылы, не пришлось бы ему заискивать перед властью.

Однако начальника милиции волновали не только козни Рима и ЦРУ. Со временем мне открылась истинная подоплека морозкинского интереса к церкви. Степан Матвеевич был человеком хитроватым, и была у него одна задумка — он не только в этой жизни хотел все поиметь, но и в той не прогадать. В существование загробного мира начальник не то чтобы сильно верил, но, будучи человеком осторожным, такую вероятность допускал и частенько батюшку как самого компетентного человека о пакибытии расспрашивал. Отец Алексей отвечал уклончиво, но суть была проста: на рабе Божьем Стефании столько личных грехов висит, что он ими весь Чагодай перетянет. Только хитрый кум и тут выход нашел. Он был некрещеным и, зная о том, что при крещении с души все предыдущие прегрешения списываются, решил ближе к старости, когда плоть пресытится, креститься.

Идею эту, как я понял, он даже не сам придумал, а переиначив на свой лад, почерпнул из опыта того раскольничьего толка бегунов, которых некогда пытался обратить на путь истинный подопечный его предшественников Иван Сер-

геевич Аксаков и которые всю жизнь жили некрещеными, крещение принимали непосредственно перед смертью и самым ужасным у них считалось умереть, не успев креститься.

Угроза внезапной смерти была, наверное, единственным, чего Морозкин по-настоящему боялся, а до всего остального ему дела не было, и он часто говорил, как ненавидит продажную сволочь, которая окопалась в Москве за кремлевскими стенами и мечтает об одном — сытно пожрать, чьи дети ходят в портках заморских пастухов и считают это высшим шиком, и которая — пусть мы его с батюшкой вспомним! — продаст однажды всю страну к чертовой матери за понюшку табаку.

Я подозревал, что он ненавидел коммунистов, как не ненавидели их даже Аленыны приятели, но, когда однажды напрямую об этом спросил, он набычился и отрезал:

— Дело не в коммунистах! Дело в стране — кто и как к ней относится. Есть коммунисты, у которых за нее болит душа, есть диссиденты, которые ее презирают. Бывает и наоборот, и это надо различать.

— Ну а я кто, по-вашему?

— Ничтожество, ноль! — произнес он с наслаждением. — Твое счастье, что мне ничего не надо. Но если бы только я захотел, ты завтра же писал бы покаянные письма или заложил всех, кого знаешь. Все твоё достоинство лишь в том, что пульку умеешь писать.

Отец Алексей, не любивший меня за то, что я присутствую при его карточном унижении и к тому же никогда не проигрываю, угодливо хихикнул.

— Но тебе здесь жить. И главное, что ты должен, знаешь, что?

— Ну?

— Ты мне не нукай! — рассвирепел Морозкин. — А слушай, что взрослые люди говорят. Мне плевать, кто ты такой и что думаешь обо мне и о стране, в которой я живу. Ты можешь ее любить, а можешь ненавидеть, слушать чертвы голоса и читать похабные книги. Но ты обязан рожать детей. Много детей. — И с отвращением добавил: — А не посылать несовершеннолетних девочек на аборт.

— Судить за такие вещи надо, — вставил иерей, не отрываясь от карт и, по видимому, не переставая размышлять, вистовать ему или уйти за половину.

— Девка ему больно хорошая попалась, — сказал Морозкин сквозь зубы, — ничего слушать не хочет, дурочка.

— Значит, там строже спросится, — сухо заметил Алексей.

— Да что вы ко мне пристали? — возмутился я.

— Скоро нас начнут уничтожать. Напасть напрямую они побоятся, — заговорил Морозкин, бросив карты и расхаживая по комнате. — Но сделают так, что наши бабы перестанут рожать, потому что они считают, что у нас слишком много земли, много в этой земле добра и владеть им мы не достойны.

— А разве не так?

— Сопляк! — Он завис надо мной, и я испугался: даст пощечину, и я этого не прощу. Даже если стерплю сейчас, то потом прибью ночью топором, и все его мечты о счастливой загробной жизни пойдут прахом. Он это тоже почувствовал и с досадой сказал: — Мы их спасали от всех бесноватых чингисханов и гитлеров. Если бы не мы, от них бы давно осталось пустое место. Они всем, что у них есть, нам обязаны, и ничего, кроме тушенки пополам с подлостью, мы оттуда за века не видели. Молчи! Я знаю, о чем говорю. Если бы им случилось пережить то, что пережили мы, от них бы ничего не осталось.

— Вист, — произнес отец Алексей решительно.

Он был немедленно наказан за опрометчивость, а я слушал Морозкина и не понимал, зачем он это говорит и почему я должен вникать в то, что меня совершенно не интересует.

Я был сыт и Чагодаем, и душевными поисками, и самокопаниями, всеми этими диссидентскими идеями и патриотическими ссылками на войну — да сколько же можно на нее ссылаться? Все во мне перегорело, и хотелось одного — вырваться из-под колпака. Не любил я свою родину, ни большую, ни малую. Так не любишь больше всего человека, с кем связан по крови, — брата или сестру, а иной раз отца с матерью, оттого и ненавидишь, что выбирать не приходится. Я не жил в других странах, не знал, как они выглядят и چگونه там человеческое существование. Может быть, я точно так же страдал бы, был бы всем недоволен и ни в чем не преуспел, может быть, я вообще из тех людей, которым плохо всегда и везде, и всякий раз в том убеждал меня Морозкин.

— Но даже если ты удерешь и начнешь поливать все здешнее грязью, если скажешь, что твоя страна — большая помойка, будешь распинаться, как страдал под коммунистами, — все равно поначалу тебе заплатят тридцать сребренников, а потом используют и выкинут как сам знаешь что!

Только, покуда я не убедился в этом сам, поверить не мог и, куда угодно, кем угодно, на любых условиях, согласился бы — сбежать! Заперли меня в душевной комнате, приговорили к четырем стенам, к вещателю с задатками среднего гипнотизера, который рано или поздно научится обыгрывать меня в карты и потеряет всякий интерес, к сладкой и терпеливой Инне, которая нарожает ему на радость детей, к бабе Нине, которая рано или поздно совратит отца Алексея в апокалиптическую ересь и он станет на всех чагодайских перекрестках кричать о Страшном Суде. Но какое право они имели меня поучать?

А хитрый Морозкин все чувствовал и меж нами успешно существовал — нас стлкнувал лбами, а сам следил, что из этого выйдет и чья возьмет. Он и меня, как мог, поддерживал, ибо знал, что скоро все ломаться начнет и ему надо будет ловко с поезда на поезд пересест. Степан Матвеевич этого не скрывал, и я знал, чем ему обязан: если бы не Морозкин, я бы точно сбежал из Чагодая и попался, — но он меня держал, как учат начинающих теннисистов держать ракетку, словно птичку в руке, — не слишком крепко, чтобы не задохнулась, и не слишком слабо, чтобы не выпорхнула.

Кум воздух чуял, в Чагодае все раньше, чем в Москве, началось и раньше закончилось, и подумалось мне тогда, что если правда, будто Россия впереди мира идет — а Чагодай впереди России, — то получается, что не на Елисейских полях, не на Курфюстендамме, не на Трафальгарской площади и не на Манхэттене, а здесь, в Чагодае, на улице Урицкого, и находится пресловутый центр мира. И оттого чагодайским гражданством, чагодайством своим нужно гордиться, дырявым городком по обеим сторонам обмелевшей речки. Но могла ли быть большая нелепость, чем считать его центром мироздания и не о том мечтать, чтобы этот топоним изничтожить, а назваться, например, Чагодаевым, почти как Чаадаевым, и толковать о назначении России?

Когда становилось совсем нестерпимо, я брал палатку, надувную лодку и уходил рыбачить вверх по реке. В уютном лесистом месте, где Чагодайка изгибалась и вода ударялась в крутой песчаный берег и закручивалась, закидывал удочку и бездумно пялился на поплавок, застывший на туго натянутой поверхности воды. Случалось, просиживал без единой поклевки несколько часов подряд, но это было не важно: поток сознания, что мучил меня днем и ночью, отравляя сновидения, иссякал и отпускал, как отпускает наутро зубная боль. Я забывал о том, что я недоучившийся студент, повздоривший со взрослыми людьми, не имея ни своей правды, ни страдания, ничего, кроме ребячества и детского желания обратить на себя внимание.

Я часто размышлял, что у меня в крови явно не хватает того, что называется свободой, а точнее, волей. Всю жизнь я чувствовал себя кому-то подотчетным и каждое действие соотносил с тем, что можно и что нельзя. Я никогда не мог

понять, как это ощущение поднадзорности сочеталось во мне с расхлябанностью, но я жил так, словно каждый шаг был для меня ограничен и кто-то устанавливал границы моего поведения. Этим человеком в разные периоды моей жизни могли быть Золюшко, вьетнамец Хунг, Алена, Инна или Горбунок — люди совершенно разные, противоположных устремлений, жизненного опыта, нравственных качеств, но всякий момент я зависел от чужой воли и как будто нарочно — и в этом состояло несчастье мое — хотел найти ее составляющую.

Я не любил принимать никаких решений, меня тяготил любой выбор, во мне словно присутствовал врожденный элемент служивости, потребности следовать неким инструкциям, элемент, по сути, очень достойный, но в моем случае он срабатывал разрушающе, и я бесконечно страдал от того, что эти инструкции была размытыми или неподходящими, взаимоисключающими, слишком требовательными или просто сомнительными и дурными. Я внутренне стремился к тому, чтобы найти себе господина, ему одному повиноваться и служить, но капризная и избалованная натура отвергала всех командиров подряд и каждый раз требовала нового: я всю жизнь светил отраженным светом и был зеркалом, в которое мог смотреться кто угодно, я хотел нравиться всем — вот в чем был мой главный порок! — результат дурного воспитания, затянувшейся, как желтушка новорожденных, инфантильности и женской заласканности.

И Инна, Инна, изрезанная русалочка моя, бросившая свое подводное царство, страдавшая от каждого шага рядом со мной на чагодайских улицах, в сумерках приходившая к моей палатке с распущенными прямыми светлыми волосами, делала, в сущности, то же самое, оберегала меня, незаслуженно утешала и баловала, тетешкала этакое увальня, и как с ее умом и женской проницательностью могла этого не понимать?

Меж тем июль перевалил за середину — отец и мать засаливали в невообразимых количествах огурцы, помидоры, на грядках среди ядовито зеленых листьев лежали похожие на молочных поросят кабачки, цвела картошка, наливались капустные кочаны, кусты смородины гнулись под тяжестью ягод — и все надо было спешно консервировать, варить варенья, солить, мариновать, как хитро делала мать, выдерживая огурцы по три дня в теплом месте, чтобы потом открыть зимой банку и забыть в холодильнике.

Однажды, когда я вернулся вечером с работы, то увидел на берегу милицейский газик. Я сделал несколько шагов — возле палатки стоял Морозкин. Он задумчиво повертел в руках спиннинг и принялся брезгливо копошиться в моих запасах.

— Снасть у тебя — полное говно.

Я молча прошел в палатку и лег. Морозкин забросил удочку.

— Отец на тебя жалуется. По мне, живи, где хочешь. Но сделай так, чтобы все было... тихо!

Крупная сорожина сорвалась в воду.

— Говорю: крючки тупые. Даю тебе три дня срока.

Я никуда не пошел, а для себя твердо решил, что лучше сбегу и стану жить в таежном зимовье, рыбачить и охотиться, чем сяду на отцовскую землю. Но меня больше никто не трогал, вода в озере скоро остыла, полили дожди, у отца начались неприятности, однако пришли они с неожиданной стороны.

К той поре папа закончил новую теплицу с обогревом и лампами дневного света, где можно было выращивать помидоры и огурцы с ранней весны до поздней осени. Он боготворил сооружение, из-за которого выгнал меня из дома, и проводил под его сводом в мягком и сыроватом тепле целые часы. Денег теперь имел даже больше, чем раньше, но стал невероятно скуп и ходил до дачи пешком, жалея истратить двадцать копеек на автобус. Когда ему случалось на фазенде заночевать, экономил на электричестве, обогреватель не включал, мерз и простужался. Жалко было глядеть на могу-

чего человека, вся жизнь которого сосредоточилась на шести сотках земли, однако я даже помыслить не смел, какую цену папа был готов за садоводческие радости заплатить.

В год, когда страна на последнем коммунистическом издыхании повела борьбу с нетрудовыми доходами, отцу предложили или уничтожить теплицу, или выложить на стол партбилет. Ему не могли простить, как это главный редактор партийной газеты торгует помидорами с собственного огорода, и, похоже, даже Морозкин им был не указ. Они не сомневались, что отец испугается и разберет оранжерею, а за ним последуют остальные любители земледелия, коих в Чагодае развелось так много, что в солнечные дни подступы к городу переливались и сверкали, сбивая с толку вражеские спутники, следившие за нашей маленькой частью противоздушной обороны.

Но в отце вдруг разыгралось ретивое. Он даже не поехал в райком, где разбиралось его персональное дело, а послал по почте партийный билет, ушел с работы и устроился сторожем в свой дачный кооператив. Произошло это так стремительно, что оставалось только диву даваться, как в одной чагодайской семье сразу два диссидента объявились, но еще больше поразило меня то, что поступок отца открыто поддержал Морозкин и с бранью обрушился на меня, будто это я хотел сломать его парник, исключал из партии и прогонял с работы.

— Да потому что ты такой же комиссар, как и они! — сказал Степан Матвеевич, глядя маленькими пьяными глазами, когда давно уже была сыграна партия и выпита водка. — И все, что ты хочешь, и все, что хотят подобные тебе, — указывать людям, как они должны жить.

— Что вы об этом знаете и как можете так рассуждать? — возмутился я, растерянно оборачиваясь на батюшку, потому что больше искать поддержки было не у кого.

— Трудные времена, трудные, — сказал отец Алексей уклончиво.

А между тем времена менялись, и менялись не в лучшую сторону. Раньше солдаты приходили на огороды и им отдавали все, что они просили. Это было совершенно нормально, только и слышалось: сыночек, сыночек, даже прижимистая баба Нина кормила их обедами и еще давала еды с собой. Их жалели, любили: ну как же, солдатики! Но за несколько лет защитники, родимые превратились в стаю голодного воронья, которая налетала на участки и брала и рушила все подряд. Они ходили по дачным улочкам с наглыми глазами, смотрели, у кого что растет и где лежит, а ночью залезали, считая себя вправе брать с Чагодая дань. Выносили запасы из погребов, инструменты и стройматериалы, а после продавали их задешево другим дачникам. Те знали, откуда это взялось, но все равно покупали уворованное у таких же бедолаг.

Говорили, что солдат стали хуже кормить, что все чаще и чаще новобранцы падают в голодные обмороки, хотя воровали обычно старослужащие. Огородники ходили в часть и пробовали жаловаться, но командиры слушали чагодайцев равнодушно — солдат боялись. Чагодай и войско вступили в состояние войны, но силы были слишком неравными.

Наш тихий городок начал зреть. Страшно сделалось ходить по улицам, танцы в городском саду не обходились без драки, родители опасались отпустить девушек гулять вечерами даже в сопровождении парней. Тогда и случилось то, чего отец боялся, — к нему на дачу залезли. Добро бы просто обворовали, но, не найдя ничего, напакостили, нагадили в доме, побили стекла в теплице и оставили издевательскую записку: «Все сожжем, если не оставишь водки и денег».

Кто это был: солдаты, хулиганы, а может быть, конкуренты, папа разбираться не стал. Он достал ружье, пришел ко мне и сказал: помоги, сынок, давай засаду устроим и вора изловим. Просто сказал, то ли прося извинения, то ли меня за давний грех прощая.

Я поглядел в его глаза, где ничего, кроме злобы, не было. Что я мог сказать? Что не стоят все его помидоры одной капли крови, и если уж я Золушко убивать не стал, то насколько меньше вина воришки или даже подосланного разрушителя теплиц? И пусть лучше все сожгут и не станет он мучиться, а повинится, получит назад красную книжицу с профилем чагодайского шелкунчика, вернется в газету и поедет пить кашинские воды от расстройства нервной системы.

Я смотрел на человека, который был готов убить, изничтожить любую вражину, я не хотел и не мог быть пособником в убийстве, но сказать ему это — значило бы его предать. Он ведь помидоры своей кровью выращивал и полагал, что его кровь должна для меня что-то значить, даже если я не умел видеть ее цвета.

Пропал в ночи отец, и мне вдруг вспомнилось, как сказал он в детстве: ты не должен был этого делать. И сейчас то же самое послышалось.

Автобус только что ушел. От города до участка было около часа ходьбы. По дороге меня обогнала машина, я хотел ее остановить, но она пронеслась мимо. Шоссе было пустынным. Я принимался бежать, потом уставал и шел пешком. У меня колело в груди, пересохло в горле, но я снова бежал, падал и опять бежал.

На участке было темно. Собака не лаяла. Отец лежал залитый кровью среди разбитого стекла. Мне стало дурно от этой крови, я бросился прочь, потом вернулся. Возможно, те, кто его убил, были рядом — я не боялся их, я не боялся ничего, кроме черной крови, которая помидорным соком текла по ботве, по земле и уходила в проклятую чагодайскую почву.

Через полчаса появилась машина. Из нее вышел Морозкин. Никогда я не видел его таким. Степан Матвеевич сидел на осколках теплицы и плакал. Потом посмотрел на меня невидящими глазами и уехал. Убийц искали, но не нашли — в части дело было замято, но странным образом смерть отца спасла прочие теплицы, и больше ни одна из них разрушена не была. Она спасла также меня от армии. На похоронах, когда мать наклонилась над гробом, она потеряла сознание и так и не поднялась. С ней случился инсульт, и я остался ее единственным кормильцем.

Х

Я был уверен, что он придет. Не знаю зачем — потребовать найти убийц и отомстить, призвать меня восстановить порушенную теплицу, изводить нечистую совесть или, напротив, простить, но он отпросится и придет. Я ждал его — тихо лежал ночами, не ворочаясь и не засыпая, не читая книг и не слушая злые радиоголоса, потому что боялся: они могут заглушить его голос. Ждал во сне и наяву указания, знака, намека, я не верил, что он меня навсегда бросил, но тихо было кругом.

Снег выпал в начале ноября и больше не таял. Он шел и шел, как будто собираясь накрыть весь город, метровый слой лежал на плоских крышах, поленницах, куполах и локаторах, рано замерзла река, снег укрыл огороды, дачи, разбитые теплицы и могилы на кладбище. Его было так много, как никогда, и гибли в лесу кабаны и лоси, проваливались волки, снег глушил все голоса, и меня охватило отчаяние. В холодном безмолвии отца мне почудилось нечто ужасное, как если бы я остался навсегда одинок и не только Золушко с Горбунком, а все вокруг, от умелых чагодайских акушерок, сотворивших чудо и вырвавших меня из небытия, и кума Морозкина, игравшего в свои непонятные игры, до бабы Нины, что непритворно голосила и убивалась на похоронах ненавистного зятя и ни разу не посмотрела в сторону бледного внука, и красивой и безмозглой Инны, вступили против меня в заговор, хотят изничтожить и злятся оттого, что я и не предпринимаю никаких попыток к бегству или сопротивлению, а даюсь им в руки.

Иногда меня посещали вялые мысли, что напрасно бросил университет, напрасно не остался в Москве или не уехал на Север или в Сибирь, не сошелся с бичами и не принялся бродяжничать. А теперь все равно пришлось уйти из маленького дома при церкви и снять второй этаж на самой окраине городка. Туда перебралась Инна, и так мы жили нерасписанные, и в городке, посудачив и поворчав, к этому привыкли, и она привыкла и ни в чем не упрекала.

Молчало северное небо, молчала покрытая снегом земля, светили во мраке яркие чагодайские звезды. Когда же луна затмевала их свет, то вся голая и гладкая местность за рекой оказывалась расчерченной на свет и тени. Я глядел на нее из темной мансарды, будто ожидая оттуда знамения, чего-то необыкновенного, великолепного и ужасного. Но все было совершенно обыденно: холодная и красивая зимняя ночь, манившая к себе, как манила она униженного мальчика, которого зачем-то, не спрашивая, хочет он того или нет, нашли в лесу и оставили жить калекой. И вот он живет и даже сумел сделать так, что его боится и избегает полгорода, оказывает ему сомнительную честь играть в карты начальник милиции вместе с поднадзорным священником, не желает знать родная семья и, презрев обычаи и стыд, дарит любовь и слезы самая красивая чагодайская девушка.

Да помилуй Бог, что в этом особенного? Кто из молодых людей не ссорился с родителями, не лишал девушек невинности, вовсе не имея намерения на них жениться? И неужели их карало небо, мучила совесть, и им было стыдно ночами смотреть на звезды, и успокаивались они только тогда, когда бесноватые тучи скрывали небесный блеск?

Так что же было со мною: отчего плакала душа и пугалась холодного сияния, что мнилось ей в нем и почему тот страх, что я испытывал, был совершенно иного свойства, нежели моя обычная печаль? Почему, обнимая ночами Инну, я закрывался от звезд, как набожные христиане закрывают лики икон, и страсть уступала место нежности и жалости к девочке, отдавшей мне жизнь, и когда, утомленная и тихая, она засыпала, я долго ворочался и шел к окну курить. Я думал о том, что, коль скоро не отомстил убийцам отца и не стал восстанавливать теплицу, не правильнее ли было постричься в монахи, отослав от себя Инну, и лучше тоже в какую-нибудь пустынь или скит, и так вдвоем, разделенные глухими стенами мужской и женской обителей, в тесных кельях, долгими до водянки стояниями на всенощных и заутренях, вкушением постной пищи и послушанием у грубых игуменов до самой старости, до положенного каждому из нас земного предела замаливать грехи за терпкие ночи в озерной воде, где изгибалась она упругой длинноволосой русалкой?

И почему, когда я снова повез ее в больницу, не в чагодайскую, а в соседний городок, то почувствовал, что подошел к пределу, дальше которого идти нельзя?

Она сидела рядом со мной молчаливая, покойная — страшно сказать, привыкшая к этому пути, — красивая девочка, которая могла бы стать счастливой женой и матерью. То, что я с ней делал, было хуже, чем бросить одну с ребенком, хуже, чем развратить и отправить на панель. До того момента я еще надеялся вырваться, не хотел ставить крест на своей судьбе и думал бежать. Но лохматой ночью, когда автобус вез нас с Инной в больницу, почувствовал, что больше не могу, как не может человек, набравший воздуха в легкие, не дышать более минуты или двух. Не могу больше сдерживаться, устал насиловать душу, я хотел отпустить ее на волю, дать маленький шанс, прежде чем пойти ко дну.

Я глубоко убежден, что человек и его душа — не одно и то же. Сказано: душа — по натуре христианка; в тот единственный раз Великим постом, когда бабе Нине удалось затащить меня в церковь и там отец Алексей, еще на-

кануне пивший водку с Морозкиным, с похмелья заунывным голосом читал покаянный канон, нечутким ухом я расслышал одно: восстань, душе моя! что спиши?

Стало быть, если человек к своей душе обращается, значит, это разные вещи, ведь не просто метафора — покаянный вопль. Но что тогда есть мое «я» — самолюбивая ущемленная личность, тайно жаждавшая славы, взлета, известности и этого не добившаяся, и что душа — ее пленница, безвольная и даже не пытавшаяся противиться хозяину жертва? Но должна ли она так же бесславно погибать или же у меня есть неведомый шанс не себя, но душу свою спасти и уберечь от холодного сияния звезд?

Мы проезжали мимо дачи, где был убит отец, которого — Бог знает, как встретило Небо и что там сказали, какой предъявили счет и какой ответ он держал, зачлась ему мученическая кончина или нет? Автобус остановился — дачный сезон еще не начался, и никто не вышел. Я взял Инну за руку и сказал:

— Пойдем!

Я избегал смотреть в ее виноватые, жалкие, счастливые глаза, на дрожащие губы, слушать захлебывающиеся всхлипывания, я понимал, это было чисто инстинктивно — как схватить падающий стакан. Мы возвращались от дачи в город по дороге, где я бежал к отцу, красивая плачущая беременная женщина и ее нахохлившийся спутник с глазами затравленного волчонка. Иногда навстречу попадались или обгоняли ехавшие в город машины. Одна из них затормозила, и водитель предложил подвезти, но я махнул рукой. Мне хотелось идти и идти и, не останавливаясь ни на минуту, говорить Инне, как мы уедем из Чагодая, улетим на одном из самолетов и начнем жизнь в том месте, где никто нас не знает и никакое проклятие не ляжет на будущее дитя. За этими словами я не замечал, что лицо русалочки посерело от боли и она идет из последних сил.

Она все-таки попала в больницу, вернулась оттуда через две недели исхудавшая и спокойно сказала, что теперь не надо ничего бояться, потому что детей она больше иметь не сможет. Я наорал на нее, назвал преступницей и детоубийцей, и под эти крики она ушла.

Была темная, беззвездная и ветреная ночь, но даже в адской тьме я видел, как Инна спустилась к еще не вскрывшейся, но уже вздувшейся реке, где каждый шаг мог оказаться последним, и застыла над черной полыньей. Я не удерживал ее только потому, что знал: если она бросится вниз, если провалится лед и позовет ее к себе русалочье царство, то я отправлюсь за нею и в быстрой воде Чагодайки настигну и схвачу за руки, так нас и найдут обнявшихся и похоронят за чертой чагодайского кладбища, и картежник-поп откажется отпевать и молиться за наши души, а начальник милиции положит в сейф протокол и забудет.

Она стояла и не решалась ступить, как если бы тихая вода отказывалась принять русалку обратно. О чем она думала в ту минуту и кого звала, кто шептал ей слова утешения или предостережения и удерживал на краю — что случилось в эту ночь, почувствовала ли она мое присутствие и не захотела моей смерти или не верила, что на это решусь? Или, быть может, именно там, на границе бытия и небытия, узнала о том, что повергнет меня в оцепенение много лет спустя? Не тогда ли все началось, и не я ли был свидетелем рождения тайны Купола?

Но только она отступила назад и мимо меня, даже не повернув головы, пошла прочь. А утром ее брат забрал вещи.

В маленьком городе расстаться нелегко: то там, то здесь обязательно встретишься. И я ее встречал, она не избегала меня и не смотрела с укором. Я не знаю, как это выразить — как она на меня глядела.

Иногда я видел ее с моей матерью. Инна провожала маму до храма, а потом отводила домой, но сама в церковь никогда не заходила. Там маму встречала бабушка, и когда они стояли двое — бабушка на своем штатном месте, которое ни-

кто не имел права занимать, и мама, робко, сзади,— то непонятно было, кто здесь дочь, а кто мать, так крепко держалась одна и слаба была другая. Правая рука у мамы не работала, и она не могла ни креститься, ни говорить, а только кланялась.

— Ты почему в храм не ходишь? — спросил я однажды у Инны.

— Мне нельзя.

Она устроилась нянечкой в роддом. Когда в Чагодае девочки собирались делать аборт, к ним всегда приходила Инна, но удалось ли ей отговорить хоть одну, не знаю.

Мне не было больше дела ни до Инны, ни до матери, ни до бабы Нины, ни до прочих чагодайских разновозрастных женок и всего этого муравейника, который, как ни перетряхивай и ни топчи, рано или поздно примет куполообразную форму, и трудолюбивые муравьи и муравьихи будут вечно копошиться среди веточек и песчинок, убажая свою матку.

Но однажды от ездивших в Москву за продуктами баб поползли по городу слухи один нелепее другого. Они давно уже до Чагодая доходили, только мало кто им верил и воспринимал всерьез. Да и чагодайское ли дело — обсуждать, что в столицах и больших городах творится? Но я понимал одно — для меня все поворачивается свободой.

В конце теплой, ранней весны, когда Пасха совпала с Первомаяем и, продефилировав мимо памятника щелкунчику, чагодайцы вразброд топали с флажками, яйцами, куличами и водкой на свои погосты, где затерялась могила моего отца, я собрался с духом и пришел к надзирателю попроситься. Кум сидел голый по пояс напротив голого же по пояс батюшки. Они только что вышли из бани и потихоньку выпивали. Когда я появился на пороге, Морозкин зашевелил спекшимися губами, что-то соображая, будто много у него в запасе чего сказать и он размышлял, выложить или нет.

Смешно было глядеть на его потуги — я уже чувствовал дыхание свободы и видел себя среди тех, кто шел в миллионной — не чета чагодайской — толпе по Садовому кольцу, крича изо всех сил: «Да-лой-ка-пэ-эсес, да-лой-ка-пэ-эсес!»

— Может, лучше остаться тебе, а, Никита Васильич? А то захочешь вернуться, а мы обратно и не возьмем. Правда, батюшка? Проситься станешь, умолять — и не пустим!

Отец Алексей хихикнул.

— Ладно, давай сюда паспорт! Выпишу тебя.

Мне стало одновременно и противно, и страшно. Я взял у него документ и поспешно вышел. Морозкин засвистел мне вслед. Я сделал несколько шагов и побежал. Я бежал и бежал по улицам, как от чумы, как от смертельной опасности, как убегает от рыночной толпы разоблаченный шулер,— не верил, что меня отпускают живого и не берут ничего в залог, и земля не разверзается под ногами, и небо не падает на голову. А потом словно в фильме, который крутишь назад, в обратном порядке замелькали чагодайские купола, кресты и крыши, локаторы воинской части, мост через речку и сама она, теряющаяся в голых лесах.

XI

Стыдно признаться, но той нелепой, даже немного трогательной в своей бессовестности, как трогательна бывает ложь ребенка, желающего скрыть мелкие грешки и получить конфету, московской эйфории поддался и я. В Чагодае я не мог представить, что когда-нибудь сюда вернусь, снова увижу эти бульвары, улицы, площади и дворы, буду изучать афиши театров и пить пиво в тесных, прокуренных пивных, слушая некогда печалившую меня речь аполитичного народа, что стала вдруг такой политизированной. Мне казалось, в жизни ничего более не произойдет, иначе как во сне или грезе. Но, стоило отъехать, все пре-

образилось. Я радовался поезду, увозившему меня из ссылки, и затерялся в сутолоке пассажиров, уже не представлявших враждебной толпой. Они стремились, как и я, в Москву — пусть даже за колбасой или одеждой, но это не имело никакого значения.

Я смотрел в пыльное окошко с двойными стеклами, и, хотя за несколько лет дорога нисколько не переменялась, такие же убогие и сиротливые проносились мимо полустанки, так же равнодушно смотрели на поезд толстые тетки в светлых робах с темными флажками — даже эта картина была совершенно другой. За одну дорожную ночь я излечился если не от дальтонизма, то от угрюмости и злобы, застилавших мои глаза. И только в самом конце бессонного пути, когда под утро лесная глушь сменилась подмосковными дачками и в предсветной полумгле замелькал за полуголыми деревьями канал с ранними рыбаками и первыми в весенней навигации пассажирскими пароходами и баржами, а затем потянулась ржавая и грязная окраина города, тревога и страх овладели мною. Я заколебался: надо ли второй раз входить в это место, не кончится ли все так же бесславно и глупо, как много лет назад, и хватит ли у меня сил перенести то неведомое, что тут ждет? Но едва я вышел на маленькую вокзальную площадь, услышал гул, грохот и запах московских улиц, страх оставил меня.

Мне почудилось, что изгнавший меня некогда город радуется и винится и в честь моего возвращения в нем устроили бесконечный, небывалый в его истории праздник. Этот праздник вспыхивал на центральных площадях, бульварах и скверах, где собирались и говорили десятки тысяч людей, под откосом железной дороги в Лужниках, возле университета на Ленинских горах, и душа отзывалась тем особенным провинциальным восторгом, какой не стирается, даже если человек прожил в Москве много лет.

Я был, наверное, человеком сентиментальным — как все сентиментальные люди, мог быть жесток к ближнему, и чем ближе мне был человек, тем более жестоким, носил в сердце холод и равнодушие, но способен был любить чужих людей до такой степени, что на глаза набегали слезы и хотелось знакомиться с незнакомцами, записывать телефоны и адреса. Если бы у меня был дом, я бы точно позвал этих людей в гости и поставил на стол все, что есть. Я рассказывал каждому встречному, что жил и учился в Москве много лет, а потом должен был уехать, пускался в ненужные и вряд ли волновавшие их подробности, и не для того, чтобы кто-нибудь из сердобольных демонстрантов или демонстранток меня приютил, но повинуюсь внутренней потребности открыть уста. Я не замечал усталости, наконец очутившись в сокровенном граде, который некогда искал осенними мглистыми ночами в засыпанных влажными листьями дворах Замоскворечья, тосковал по нему в Чагодае, провожая взглядом летевшие в сторону юга самолеты.

Не важно, что я ночую на Савеловском вокзале, деньги кончаются, и, как жить дальше, неясно. Я верил, все устроится само собой, начнется другая жизнь: то, что не удалось мне в молодости, то, из-за чего я совершил столько дурного, сбудется здесь и сейчас, и все простится. Быть может, именно за этим нужно было приехать в Москву и, не повторяя прежних ошибок, добиться — чего? Я и сам не знал, чего хотел. Наверное, отрешась от честолюбивых вожелений и похотей гордого сердца, раствориться в толпе и стать ее частью. Я жил ее сокровенной, таинственной жизнью и потому совсем не удивился, когда дождливым июньским вечером на говорливой Пушкинской площади меня окликнул богом ушибленный антисемит, что в студенческие годы написал заметку о лучшем студенте мехмата в университетской многотиражке.

Он сильно переменялся со студенческой поры: одевался не так крикливо, носил красивые очки, уверенно и отстраненно держался и сказал, что работает в ** — самой громкой и смелой московской газете. Я смутно припоминал, что тогдашние его речи имели мало общего с нынешним направлением **. Но куда

большую неловкость, чем от этого, по-видимому, вовсе не такого уж и странно-го пируэта, я испытывал от того, что стоял без плаща и кепки, с мокрыми волосами, а по спине у меня текли капельки воды. Нас обступили воинствующие интеллигентные женщины с колючими толкающимися зонтиками, они его узнали и спрашивали о самочувствии вождей, а он немного бахвалился высоким положением и старался выглядеть ироничным, ибо был не просто человеком из толпы, но причастен тем, кто стоял на трибуне и дирижировал человечьими потоками. Вскоре он заторопился и между прочим, скорее из вежливости спросил, чем я теперь занимаюсь.

Но когда, запинаясь и путаясь в словах, ибо после вокзальных недосыпов и экономии на еде чувствовал себя, точно вернувшись из-под общего наркоза, я начал о себе рассказывать, в рассеянных глазах моего первого биографа загорелся сумасшедший огонек. Не дав дослушать самого яростного оратора, университетский знакомец утащил меня в редакционный буфет, напоил горячим кофе, достал диктофон и фотоаппарат, а неделю спустя в толпе людей, сгрудившихся у стенда с этой газетой — купить в киоске ее было невозможно, — я читал статью на разворот о выгнанном из университета талантливом математике, отлученном от науки, чуть ли не юном академике Сахарове, ставшем на путь истинный и потому ни черта не изобретшем, принесшем себя, свой талант, карьеру и будущность в жертву великому делу освобождения родины, а теперь одиноким, никому не нужном посреди жирующей Москвы, живущем, как бомж, на Савеловском вокзале и стирающем без мыла и порошка белье в пруду перед Тимирязевской академией.

Я читал все это, и мне было и приятно, и стыдно. Боялся, что меня могут узнать те, кто стоял рядом, торопливо пробегая глазами по мелким строчкам, хотел и не хотел, оттягивал и торопил час, когда это случится. Я не бегал больше на митинги, а целыми днями отходил и подходил к стенду, искоса поглядывая то на читателей газеты, то на изображенного на фотографии человека — исхудавшего, нечесаного, с лихорадочным блеском в глазах, одетого в старую куртку и больше похожего на хипшующего юношу, каких насмотрелся в свое время в стеклянном университете. Да я ли это был? Я вглядывался в свой фотопортрет так же придиричиво, как имел обыкновение тарашиться на отражение в зеркале в молодые годы, и не мог ничего понять: все было застлано то ли типографской краской, то ли отсвечивало от стекла, за которым находилась газета, то ли были непроницаемы мои глаза. Никто меня не узнавал, а сказать о себе я стеснялся, равно как и стеснялся найти своего мифотворца, подняться в редакцию, откуда выходили уверенные и сытые люди, рассеянно скользя по толпе вдохновленных читателей.

Поздним вечером я шел на вокзал, с трудом находил место на жесткой лавке, и в тесноте зала ожидания, усталым пассажиром которого дела не было ни до меня, ни до газеты, ни до всей помешавшейся Москвы с ее митингами и манифестациями, и переживали они куда больше из-за того, что и в столице стали исчезать продукты и им приходилось ехать обратно ни с чем, в минуту вокзального полусна под сопение вцепившихся в свои сумки чагодайских, савеловских, кашинских, сонковских, рыбинских, весьегонских, бежецких, устюженских и Бог знает каких еще теток, под крики малых детей и надсадный мужской храп мне однажды закралась мысль, что через неделю выйдет новая газета — ее повесят на стенде, будет толпиться вокруг московский народ, а о провинциальном бродяге, чьей историей воспользовался ловкий журналист, перемешав правду с ложью, все забудут, лишь один ее герой будет до конца дней рассеянно перебирать в памяти упругие и хлесткие строчки.

Захотелось курить, и я вышел на улицу. По опустевшей вокзальной площади бродили собаки. Высилось за развязкой дорог угрюмое железобетонное здание, где печатался самый передовой иллюстрированный журнал и в некоторых

окнах горел свет — там закладывали новую мину под фундамент мирового социализма. Мелкий дождь сыпал по лужам, редкие машины неслись по мосту. Подошел таксист в мятой пятнистой куртке и спросил, куда мне ехать и не нужно ли водки. Я выгреб из карманов последнее, взял пол-литра, банку консервов и отошел в темный палисадник.

Водка обожгла горло, стало тепло и хорошо. Я закурил, и печаль сменилась благодушием и беспечностью. Качаясь, я вспоминал, как ходил подростком по пустынным улицам и так же гудели у меня ноги и ныла спина, как глядел на зимний город из окна общежитской комнаты под тонкий азиатский смех, — недалеко же от себя тогдашнего ушел талантливый математик со сломанной судьбой и кого он хотел одурачить? На что надеялся, на какое братство и солидарность — все это были не более чем шорохи и шуршания, похоже на походку дряхлой старухи с бельмом в глазу по ночному асфальту, и ничего не могла изменить статья с фотографией. Но почему-то не хотела смириться с этим невзрослеющая душа, а надеялась на чудо, удачу, случайность, судьбу и словно вымаливала их у молчаливого темного мегаполиса.

Женщина неопределенного возраста в грязном пальто и с набитой пустыми бутылками сумкой приблизилась ко мне, пристально поглядела и надтреснутым, как у моего учителя, голосом попросила закурить. Бог знает отчего она меня так разглядывала, но в полумраке белесой летней ночи мне померещилось, что это была интернатская двоечница Ниночка Круглова.

— Убегаешь? — спросила она, и ее руки задрожали сильнее обычного. — Ну побегай еще, побегай.

Я оставил ей недопитую бутылку и вернулся на вокзал. Мое место оказалось занято. Я прислонился к стенке, потом сел на корточки, как сидели на вокзалах и рынках чернявые, плохо выбритые кавказские парни. Несколько раз мне случалось разгружать для них машины с овощами, они отсчитывали мне мятые рубли, смотрели, как на собаку, но я не испытывал к ним враждебных чувств.

Иногда я впадал в дрему, иногда просыпался, и ко мне снова возвращались невеселые мысли о мимолетности и тщете бытия. Да есть ли разница, кем быть и как прожить жизнь, стоит ли уделять столько внимания речам на митингах и зависеть от того, что думают о тебе незнакомые люди, купаться и стирать трусы в грязном пруду, сушить их в маленьком дворе среди пятиэтажек под подозрительными взглядами коптевских пенсионерок и ночевать на вокзальной лавке, есть черный хлеб и запивать его газированной водой без сиропа, стоит ли, наконец, делать частные и постыдные подробности достоянием миллиона охочих до них людей, просить милостыни у равнодушной судьбы и тешить себя надеждами, более подходящими подростку, но не молодому мужику?

Надо было отсюда уезжать. Передо мной лежала огромная страна, я изучал расписание поездов со всех вокзалов и гадал, куда мне отправиться — в Иркутск, Владивосток, Тюмень, Лабитнанги, а оттуда уйти в сибирскую тайгу, как мечтал я в годы университетской молодости, или податься в Астрахань, Ташкент, Тбилиси или Тирасполь, где в краю арбузов, персиков, винограда, дынь и абрикосов вести бездумную кочевую жизнь?

У меня затекли ноги, но я не вставал, а продолжал думать о том, что самое поразительное, единственно достойное человеческого интереса сущее в мире — это перемена судьбы. Закомплексованный, потный парнишка, расспрашивавший меня о математике и старательно бравший первое в жизни интервью, оказался набившим руку сообразительным хлыщом и стремительно делал перестроенную карьеру, шкодливая Ниночка стала бомжем, мой гордый отец погиб, как солдат и мужик, защищая свою теплицу, а его подававший надежды сын превратился в прославленного на всю страну бродягу. Но была ли в этом логика, замысел или же все — случайность, недоразумение и стечение обстоятельств?

Какова вероятность подобной случайности, а если все-таки существовала определенная закономерность, то кто за нею стоял и был верховным кукловодом? Не эта ли тайна влекла меня в юности, и ответы на метафизические вопросы, а вовсе не что-либо другое искал я в числах, да так и не смог найти?

От элегических размышлений и воспоминаний о будущем меня отвлек человек в милицейской форме. Он был молод и застенчив, как юноша-призывник на медосмотре, которого впервые в жизни заставили донага раздеться перед комиссией, и даже форма не сделала стыдливого тихоню старше. Задумчиво меня разглядывавая, будто сверяя в памяти мою физиономию и фотографию в газете, сержант негромко спросил:

— Куда едем?

Я пожал плечами и с улыбкой вора-карманника под подозрительными взглядами тотчас же оживившегося вокзального люда пошел в отделение. Но, глядя в глаза зевающего пожилого старшины с большой плешью на круглой голове, на короткие мясистые пальцы, брезгливо листавшие мой потрепанный паспорт, с ужасом почувствовал, что меня сейчас могут опять, как много лет назад, посадить в чагодайский поезд за казенный счет и выкинуть вон из праздно столицы. Тогда, боясь, что это в самом деле произойдет и я не вернусь сюда уже никогда, пропаду, сгину и сопьюсь в Чагодае под насмешливым присмотром Морозкина, я встрепенулся и возмущенно заговорил, что настали другие времена, никто не властен меня задерживать и я приехал в Москву, имея на это законное право, а подтвердить истинность моих слов могут в редакции **. Мою речь старшина выслушал безо всякого интереса, и молоденький дежурный отвел пленника в караульное помещение, где я тотчас же уснул и спал — редкий случай — совсем без сновидений.

Разбудили меня громкие и энергичные голоса. Мучимый жаждой, я услышал свою фамилию, потом дверь распахнулась и один из вошедших, высокий, благородный, похожий на моего отца в молодости, шагнул навстречу и протянул гладкую руку. Вслед за ним меня обнял и автор двух статей обо мне Василий Филимонов. Дежурный выглядел растерянно, а плешивый старшина, нимало не удивленный тем, что слова вокзального оборванца оказались правдой, смотрел и на меня, и на главного редактора, и на всю его свиту равнодушно, будто наперед зная, что очень скоро времена вновь изменятся и к нему опять придут на поклон и Христа ради попросят навести порядок.

Но в ту минуту все выглядело, как в подростковых романах моего любимого в детстве писателя Льва Кассиля. Меня посадили в грязную белую «Волгу», привезли в редакцию и там показали читательскую почту, пришедшую после публикации. С ужасом и надеждой перебирая эти письма с приглашениями приехать и поселиться в городах, чьи названия я вычитывал в расписании поездов, с обещаниями кормить, поить и одевать, устроить на работу, с исповедами, советами, жалобами и восторгами, скрытыми и откровенными предложениями руки и сердца, я искал среди них хоть один чагодайский адрес, но тщетно. В моем городе эту газету вряд ли читали, а если бы и читали, кто бы там стал выражать мне сочувствие и уж тем более спрашивать, в чем смысл и тайна бытия?

С этого момента я оказался вовлеченным в череду событий, в реальность которых поверить было еще менее возможно, чем в то, что я вернулся в Москву или сдвинулся в своих грезах на заветные полградуса, сидя с удочкой на заливных чагодайских озерах.

XII

Известность свалилась на меня в одночасье. Знакомые по выступлениям на площадях, фотографиям в газетах и иллюстрированных журналах общественные деятели пожимали мне руку, звали на пресс-конференции, митинги и собра-

ния. Рябило в глазах и звенело в ушах, я смущался своего потасканного вида, говорил невпопад, краснел, потел и спотыкался на каждом слове. Однако, несмотря на неловкость или же ей благодаря, меня приглашали в прокуренные редакции журналов и газет, независимые и зависимые, на радио и телестудии. Поили чаем и кофе тертые редакционные тетки, фотографировали во всех ракурсах веселые и циничные фотокоры, я отвечал на сочувственные вопросы ведущих, а потом слушал свои сбивчивые речи по тем самым голосам, которые некогда ловил чагодайскими ночами.

Всюду меня представляли как жертву тоталитарного строя, неизвестного солдата неизвестной войны, плечом к плечу с которым на манер большой пятой колонны и при поддержке союзников была сломана изнутри цитадель коммунизма. Одним из первых приняли в только что созданную народно-демократическую партию и ввели в ее политсовет, где меня сразу же обласкал вихрастый старший преподаватель с кафедры научного коммунизма, который некогда вынужденно приложил руку к моему изгнанию. Но я не держал на него зла. Я снова попал на заветную площадь, только теперь мое место было не в многоголосой, пестрой от зонтиков толпе, а на высокой крытой трибуне среди блестящих и остроумных гуманитариев, молодых талантливых литераторов, пожилых поэтов, первых кооператоров, зорких и бесстрашных журналистов, красноречивых публицистов и обаятельных профессоров.

Они говорили невероятно глубокие и умные вещи, ни в чем не сомневались, все понимали и видели на несколько десятилетий вперед; в конце давали слово и мне, и сначала косноязычно, но со временем все более гладко и накатанно я научился рассуждать не хуже, чем они, о глухой русской провинции, где властвуют морозкины и которая ждет часа освобождения, о братстве и единении людей. Я вносил в концерты на площадях, в «круглые столы» и прямые эфиры ту ноту эмоций простого человека, которой этим постановкам недоставало, был голосом из толпы, и мои речи имели успех — я чувствовал это. Меня любили, я обрастал приглашениями, телефонами, адресами и визитками и ощущал себя таким Хлестаковым с той лишь разницей, что в кулуарах чаще молчал, а говорили за меня другие.

Вот уж во что бы я никогда не поверил, так это в то, что мое чагодайское сидение может выглядеть героизмом, и все боялся, что однажды оттуда вернуться настоящие люди и займут принадлежащее им по праву место, а меня попросят уйти и укоризненно посмотрят вслед.

Шли недели и месяцы, настала мягкая свежая осень, на московских рынках торговали чагодайскими опятами и клюквой, привозили на открывшиеся по всему городу ярмарки капусту, морковь и яблоки из дальних хозяйств, валялись на асфальте сильно подорожавшие и никому не интересные астраханские арбузы, а ничего подобного моим опасениям не происходило. Никто не приглашал настоящих людей, кроме нескольких особо проверенных. Я долго не мог понять, в чем тут дело, и только со временем разглядел загадочный ярмарочный механизм: сидельцев было мало, а желающих поучаствовать задним числом в деле их освобождения много, и так получалось, что бывшие политзеки со своим дурным характером отошли в тень, оглушенные, не понимавшие, что происходит. И относились к ним, как к дряхлым ветеранам войны относятся сытые внучки-школьники, которым напрасно старались внушить, что угрюмым старичкам с медалями они обязаны счастливым детством.

— Да и то, если так подумать, — доверительно и несколько снисходительно сказал за рюмкой водки в цэдэловском буфете мой циничный колумб, немного даже ревниво относящийся к славе своего нечаянного полугероя и подозревавший в его чагодайской наивности особый и очень тонкий расчет. — Сидельцы-то, конечно, хорошие ребята, но, как бы поточнее ска-

зять, неразумные. Умный человек режиму кукиш показывал, но Уголовный кодекс читал и до тюрьмы дела никогда не доводил. В лучшем случае для того, чтобы выбраться из этой ямы.

Я промолчал, не столько оскорбленный, сколько уязвленный тем, что газетчик с Пушкинской площади случайно задел мои тайные чагодайские помыслы, а головастый Вася вдруг заволновался и заговорил нескладно, будто не журналистом был, а математиком:

— И потом — ну посудите, кому приятно, когда рядом с тобой находится человек, который своим присутствием тычет тебя носом в твою якобы малодушие? Что, по-твоему, люди, которые здесь сидят, — трусы? Да если хочешь знать, мы сделали в стократ больше вас! Да то, что вы там... это вообще никому не было нужно! Выходы на Красную площадь, голодовки, самиздат, психлечебницы и лагеря — все в лучшем случае было потребно для удовлетворения собственного тщеславия.

Я хотел возразить, что здесь ни при чем, никуда не выходил, не сидел, не голодал и не сделал ничего ни для тщеславия, ни для свободы, если только не считать нарисованного в детстве зеленого флажка и спетого во время обыска Галича. Но вместо этого вдруг спросил, зачем он написал обо мне хвалебную статью, да еще напел, что мы были друзьями. Да ведь и твердил он тогда в пивной совсем другое.

Васины губы обиженно задрожали, запрыгали, он загорячился сильнее, стал говорить, что я не понимаю элементарных вещей и мое счастье, что их не понимаю, потому что в противном случае оказался бы расчетливым и холодным дельцом, своим цинизмом переплюнувшим всех, кто здесь находится, что сейчас идет отчаянная борьба и в ней важно каждое слово, а его материал был пробным шаром, пропустят ли и как отнесутся наверху, и при этом вся редакция наверняка рисковала, а он в первую очередь.

— А что касается евреев, — понизил он голос, — то я от своих слов не отказываюсь. Но если хочешь в жизни чего-то добиться, то с ними надо иметь хорошие отношения.

На нас оборачивались, глядели удивленно и мутно. Над столиками висел сигаретный дым, было страшно шумно. Публика сгрудилась по кучкам: писатели и поэты, критики и драматурги, стареющие графоманы, бородатые юные таланты и их рассудочные поклонницы, всеми правдами и неправдами проникшие в заветный дом большой литературы, отчаянно спорили, хватили друг друга за грудки. У меня заболела голова и захотелось выйти на воздух.

На улице мягко катились машины, шли из театров красивые мужчины и женщины, смеялись парни и девушки, изредка доносилась иностранная речь, и ничто не напоминало о недавних страхах и страстях, казавшихся теперь преувеличенными и даже не бывшими.

Наверняка Вася был прав: его друзья, так же болтавшие и пившие водку и десять, и двадцать лет назад, были гораздо умнее меня и, может быть, больше сделали для того, чтобы не было страха. И, по-видимому, наверху к Васиной статье отнеслись благосклонно, иначе вряд ли бы меня стали разыскивать и выгаскивать из вокзального прозябания на свет Божий. Отсидевший не в тюрьме, а в Чагодае, со своей нечистой совестью и чагодайской забитостью, никого не осуждавший и не требовавший ответа — а вы где тогда были? — и в то же время вроде бы и пострадавший, я как нельзя лучше подходил на пустовавшую роль подпольного героя тех дней и, сам того не заметив, за несколько месяцев из никому не интересного вокзального бродяги, которого могли с милицией выкинуть вон из Москвы, превратился в общественного человека.

Я жил в добротной московской квартире, ходил на приемы и банкеты, участвовал в пресс-конференциях и презентациях, и, несколько раз посидев в Цэдээле, к которому уже привык и более не тушевался в его кабаке с исписанными

стенами, попив водочки и побалагурив с нужными людьми, вступил в писательский союз. Меня окружали весьма предусмотрительные и опытные красивые женщины, которые никогда бы не поставили партнера в затруднительное положение по поводу своих интимных обстоятельств. Я взялся покровительствовать начинающим публицистам, литературным критикам и эссеистам. Правда, их оказалось чересчур много, так что, когда однажды ко мне пришла постаревшая, но с тем же буйным блеском в глазах испаноговорящая подруга молодости и попросила помочь напечатать в свободной прессе статью о схожести франкизма и сталинизма, я пожалел, что ее принял, и сделал так, чтобы больше не встречаться. Наверное, это было сильным ударом по самолюбию маленькой подданной празднующего вместе с нами победу римского папы, но не хватало только, чтобы на пороге кабинета появилась раскаявшаяся провинциальная русалка и потребовала опубликовать манифест против абортот.

Что мне было их вспоминать?

Я стряхнул с себя неудачное прошлое и находился в невероятном азарте и запале, какого не знал никогда и, тихий и задумчивый удильщик сорожек и окушков в чагодайских омотах, не чаял в себе обнаружить. Запах чужой крови и чужого страха пробуждал во мне иной инстинкт, нежели генетические терпение и осторожность. Мы преследовали страшного и огрызающегося зверя, не ведая, кто будет охотиться на нас, и в этой погоне некогда было остановиться и перевести дух, оглядеться по сторонам или назад. Но, когда в самый пик захлебывающегося разгуляя и хлыстовского радения мне неожиданно предложили баллотироваться в народные депутаты от Чагодая и ехать туда за поддержкой, я почувствовал животный страх и словно в миг протрезвел.

Они ведь не понимали, что именно предлагали и какую струну моей души затронули! Они не знали, что это было то, о чем чагодайский выкормыш не смел и мечтать: стать маленьким моисеем с берегов пошехонского Нила и возглавить шествие своего племени через пустыню.

Драматический переход были готовы заснять на кинолентку профессиональные журналисты из-за бугра, я и сам бы мог сотворить политический бестселлер о заговоре против молодой демократии и тем оправдать негаданное членство в писательской шарашке — не важно даже, куда бы мы с моей тихой родиной в результате вышли. Да никто и не рассчитывал всерьез на успех — чего еще от Вандей ждать?

Мой престиж должен был от этого только вырасти, можно было сделать блестящий репортаж или написать книгу о том, как приезжает на родину удивительный человек, которым городу следовало бы гордиться, но который оказывается никому не нужен, снять горький фильм о нынешней России, где ничего не переменялось. Судьба давала мне шанс, но воспользоваться им я не смог.

Быть может, то были просто предубеждение, провинциальная интеллигентская мнительность или запойная блажь, но не укладывалось в голове, как в маленький, тихий, туманный городок, где иностранцев сроду не видывали, приедут чужие белозубые люди в ярких одеждах, поселятся в убогой гостинице, станут ходить по пыльным улицам, по проложенным вместо асфальта дощатым мосточкам, беспрестанно щелкая дорогими аппаратами потрескавшиеся, ссутулившиеся дома, покосившиеся храмы с продырявленными куполами и отсутствующими крестами, крашенные заборы, водокачки, обмелевшую речку, пустые витрины магазинов, очереди за водкой, шелудивых собак, народный хор, круглые лица чагодайских жителей и маленького Ильича на торговой площади, как потянутся к приезжим жалобщики и плакальщицы, а те с вожделием наведут камеры на обывателей и начальников и заснимут на качественную кинолентку зрелище русского кулачного боя и полоскания грязного белья. Жадные, любопытные, до всего охочие вообразят, что это и есть настоящая Русь, которую нигде, как в таком вот Чагодае, не сыщешь, да еще полезут париться в баню и бу-

дут пить самогон, громко хохоча и толкуя о загадочной славянской душе, а потом с похмелья станут совать иностранные купюры за лифчики горничным и в карманы грузчикам, поварам и банщикам, а им будет невдомек, что с этими фантиками делать.

Даже если приехавшие в Чагодай люди будут дружелюбны и негорды, если не вызовет у них презрения и насмешки убогое существование моих земляков, все равно хорошо воспитанные чужеземцы станут смотреть на чагодайцев, как на таинственных зверьков из резервации, и удивляться тому, что они, оказываясь, тоже люди-человеки, тоже заводят семьи, рожают детей, пьют чай, едят варенье, смотрят телевизор и читают книги, и таковыми преподнесут их любопытному миру.

Я не знал, чего было больше в моих чувствах — оскорбленной гордости или стыда, но, как бы далеко я ни отстоял от Чагодая и сколько бы обиды ни испытывал, как ни стремилась к реваншу и торжеству моя душа, я не хотел выставить его напоказ и на поругание. Я не мог соединить две части моей жизни — чагодайскую и московскую — и оттого не послушал умного Васю, утверждавшего, что готовностью поехать в Чагодай меня проверяют и испытывают. Я не верил ему, да только с того момента, как я отказался показать чужеземцам дорогу, а без меня они бы ее никогда не нашли, а может быть, это было лишь совпадение и просто переменялись неверные времена, но в моем восхождении снова что-то нарушилось, как если бы в некоем месте, мистическом или чересчур земном, меня вычеркнули из тайного списка как не оправдавшего доверия и неперспективного кандидата.

(Окончание следует.)



Владимир САЛИМОН

Веселые плясуны

* * *

Бескрайни зимние просторы.
Когда б не семафоры,
у трех вокзалов поезда
вновь не сошлись бы никогда.

Но машинист летит
на свет зеленый,
как воробей влюбленный,
который клюнуть норовит.

Он сердце выклевать мне хочет.
Щебечет, пыжится, хлопочет,
но прочь бежит, поджавши хвост,
поскольку — к сердцу путь не прост.

От воробья до машиниста
дорога долгая терниста.
Она
опасна и трудна.

* * *

Двусмысленность — в смешении любом:
оранжевое тонет в голубом.
В осеннем небе солнце тает.
День жухнет, блекнет, выцветает.

Прозрачная ложится тень
и застывает тонким слоем.
Так тень наводят на плетень.
Так на холсте мы лаком кроем

шероховатые мазки.
Во избежание тоски
и скуки,
спеша запудрить вам мозги,
прикладываем руки.

* * *

*...И с бои сделаемся прежние веселые плясуны,
а не печальные инвалиды с палками.
Из письма Евг. Попова*

Господь соскучился по самым лучшим
веселым плясунам.
Вновь потакать придется нам
сим громовержцам всемогущим.

Как под их дудочку плясать
мне надоело.
С утра до ночи то и дело
чертог небесный сотрясать,

выделявая кренделя-коленца
и так и сяк,
скакать вприсядку на костях
с упорством новообращенца.

На милость Божью без нужды
не уповая,

все получу сполна я,
по полной мере за труды:

и кнут, и пряник,
и лёд, и пламень,
путь крестный и надгробный камень,
билет счастливый на «Титаник».
В увеселительный поход
готов отправиться народ.

* * *

В прошедшем времени берет
теченье осени начало.
Где лодка бьется у причала,
скот переходит реку вброд.

Зеленоватая вода
едва касается коленей,
щекочут скопища растений
низ живота.

Коровьи туши над водой
плывут неспешной чередой,
качают тучными боками,
перемежаясь с облаками.

Чьи отраженья налегке
чуть свет плескаются в реке —
не судоходной —
пугливой,
робкой,
мелководной.

* * *

Избыток воды, как и должно,
был выпарен вмиг.
Мгновенно критической массы достиг,
которой в природе достичь невозможно,
напиток богов.

Единственным смертным я был промеж них.
Стакан был один — на троих
мужиков.

Тяжелый, ядреный
граненый
стакан.

Чудовищный Орк, отвратительный Марс,
безобразный Вулкан.

* * *

Поутру отлетела
ночь,
как от тела
душа отлетает прочь.

По оврагам —
туман,
а кто сыт, а кто пьян
расползутся чуть свет по баракам.

Там их
ждут,
спать ведут,
на перины кладут
беспробудных сограждан моих.

Колыбельная песня слышна
из открытого настежь окна.
Из окон, из дверей
льется песня отчизны моей.

* * *

Хитросплетенье рук и ног —
паучьих лапок.
Друг дружку валят с боку на бок
Гог и Магог.

Уединенные во мгле,
в глубоких норах,
они вот-вот сгорят, как порох.
А с ними — все живое на земле.

От заячьей губы до волчьей пасти.
За исключением пожарной части.
О ней доподлинно известно мне —
в воде не тонет,
не горит в огне.

* * *

От фиговой культуры,
от культовой фигуры в стороне,
что вижу я во сне —
металлолома сбор
и сбор макулатуры.

Сей праздник жизни,
он, как Первомай,
он — средоточие любви к отчизне —
кипит и хлещет через край.

Вновь сердце переполнено мое
любовью,
но всякий раз любовь мою сыновью
направить норовят на вторсырье.

* * *

С. Ш.

1

С предметом неодушевленным
соотнесясь
и тайной связи устрасясь,
прикинулся умалишенным...

Как ни крути,
и это — выход,
и если ты не ищешь выгод,
не жаждешь славы впереди,
сойти с ума, ума лишиться
все ж лучше, чем переродиться
в ничтожный овощ,
жалкий фрукт,
гнильцой попорченный продукт.

2

Поочередно заглянули.
Как если бы стоящим в карауле
охота караульщикам пришла
полакомиться с барского стола.

В господских креслах посидеть
из любопытства,
отринув всякое бесстыдство.
Мы собрались, чтоб поглазеть

на нечто вроде —
непротивления природе,
на видимый круговорот,
и я смотрел, разинув рот.

Работа спорилась, кипела.
Гробовщикам-то что за дело,
но чтоб душа не отлетела,
посоветавшись — прямо в кость
забили гвоздь.

* * *

Из путешествия на край
земного диска:
здесь — сущий рай
среди вереска и тамариска.

А облака плывут так низко,
что их похлопать по бокам
нередко удается нам,
сошедшим на берег высокий.

Но миром правит рок жестокий.
Неумолимая судьба.
От телеграфного столба —
крива, нелепа, несуразна —
тень на снегу крестообразна.

Как будто в гору тянет крест
не богоравный назарянин,
тощей и махонький крестьянин —
укромный житель здешних мест.

* * *

На кончиках ветвей,
на пальцах,
как на пальцах, —
тончайших паутинок клей.

Затейливый узор,
на кружево похожий,
мой остановит взор
расхожий,

разменянный на пустыки
и только:
ушанка, кепка, куртка, койка.
Чудовищная новостройка
на берегу Москвы-реки.

На москворецком побережье
я чувствую медвежье
объятие родины моей
всего сильней.

* * *

Присутствие дождя
нисколько не уместно.
И так в квартире тесно.
Хотя

он хлещет за окном,
и стулу со столом
дождь — не помеха.
Ну разве что для смеха

на подоконник вскочит —
запляшет, затопочет.
Обрызнет с горем пополам
водой живую — мертвый хлам.



Игорь КЛЕХ

Смерть лесничего

ПОВЕСТЬ

Возраст заставлял теперь считаться с возможностью смерти. Пока не своей — и тем не менее. Вынуждал включать безносую на правах погрешности во все жизненные расчеты. Потому он и ответил накануне по телефону: «Да, да, конечно, я приеду», — не успев прикинуть даже, остается ли на поездку время. Теперь следовало найти его, отсрочив предстоящий отъезд — куда более дальнюю и длительную командировку в «навсегда». Было ощущение, что чего-то он не доделал в этом оставляемом им краю, имевшем странное, не вполне понятное право на его сердце. «В горах мое сердце»: «Май ха-ат ин зэ хай-лэнд, май ха-ат из нот хи-э», — твердил школьником заданное на завтра наизусть стихотворение, выдохнутое вместе с перегаром лет двести тому назад шотландским поэтом-забудьгой. Очень скоро стихи выветрились из памяти, но прошли годы, десятилетия — и все сбилось, о чем в них говорилось. Разве можно учить такому в школах детей??

Вероятно, поэтому уже наутро — все еще не вполне отчетливо понимая зачем, — он сидел с молодой женой, как в зале ожидания, на жесткой скамье неотопливаемой электрички, чтобы спустя три часа утомительной дороги очутиться в том поселке в горах, в котором он не был — подсчитав, не поверил — двадцать пять лет. Так получилось, что носило все эти годы мимо и сквозь. И не то чтоб доступ в этот поселок был заказан для него, но не было в нем необходимости, что ли. Сойти на железнодорожной станции, отпустить поручень вагона, и обступят знакомые всё места — тихая заводь, где время охотно берет на живца. Но находились постоянно более насущные дела, поездки предпринимались также в новых, не изведанных покуда направлениях. И был еще какой-то тормоз: только сейчас, уже сидя в вагоне электрички, когда за окном пошли мелькать голые рощи и заснеженные поля и потянуло на сон, он вдруг смутился подозрением, что торможение наличествовало. Наряду с вытеснением.

Пот стыда проступил у него на затылке, когда неожиданно он сообразил, что именно в этом населенном пункте, отмеченном только на самых крупномасштабных географических картах, он впервые, что называется, «познал женщину», но произошло это так давно и так бесследно кануло. Да и уместно ли заурядную дефлорацию всерьез полагать познанием женщины или утратой невинности — какой к черту?! Скорее избавлением от невинности как от постыдного недостатка — необсохшего молока на губах, юношеского пушка на подбородке и щеках и молочной пенки-пленки, налипшей между ног. Выросшие дети, торопящиеся повзрослеть, — в вымороженном «газике» с брезентовым верхом, на ледяной дерматине заднего сиденья, похрустывающем в полумраке, будто снежный наст, — онемевшие, бесчувственные половые губы, бесстыдство, испуг, вина, нежность. Пока подгулявшие родители во весь голос и с чувством коверкали тягучие украинские песни в освещенных окнах второго этажа. Лишившись наконец девства, его подруга сделалась сразу ощутимо старше его. Конечно, простудили её тогда. Выносил за ней на рассвете тайком кружку подогретой воды и до-

жидался, перетапываясь на утреннем морозце под дощатой стенкой сортиров. На следующий день уехали в соседнюю область, в город на равнине, в месте слияния горных речек, приводящих себя на его околицах к общему знаменателю. А вскоре он уехал из того города в другой, оказался неожиданно в третьем — ну и так далее.

Дело, однако, было не в этой неликвидной, хранившейся на складах памяти истории, обладавшей между тем когда-то всеми признаками одержимости и сопровождавшейся неизбежными эксцессами, сопутствующими первой любовной связи, как-то: сопротивление среды, изоляция вдвоем, симптомы удущья, бегство, осуществление свободы на путях предательства и т. п. Дело было не в его юной подруге, чье цветение пола вслед за дефлорацией ошеломило его и всех вокруг, как душный запах черемухи или обломанного сиреневого куста в знакомом дворе. Все это скорее имело отношение к прорастанию дикарских душ и тел, чем к тому, что случается иногда с человеком позднее. Его проблема состояла в запутанности отношений с той внеличной силой, которая заранее все решила за него. Он с изумлением понял, что попался, еще только находясь в преддверии самостоятельной жизни, — как муха на липучку в кухне с распахнутым окном, где женщины варят варенье. И тогда, называя вещи своими именами, герой сделал ноги — спасся бегством.

Разогретая воспоминанием память сама предложила ему теперь неожиданное отвлечение сюжета. Задним числом куда более важным ему представилось, что еще до того, как разыгралась упомянутая история, в окрестностях той же местности он нечаянно расстался с другого рода невинностью. Горланящей подростковой компанией слонялись они с рюкзаками и палаткой по горным дорогам и тропам, переходя вброд речки и переноса по очереди на закорках, как приз, взятую с собой одноклассницу, в которую все были отчасти влюблены, — бдительно при этом присматривая друг за другом. Покуда у той не начались — очень скоро — месячные. Тогда вывели ее к ближайшей автобусной остановке и, снабдив в дорогу раздобытой ватой, отправили домой к бабушке. Сами продолжили путешествие в порожных товарняках, промахиваясь мимо узловых станций и прыгивая на ходу — просиживая затем с разбитыми коленями и ссадинами в пристанционных буфетах и только что возникших привокзальных барах с «дзубоксами» чешского производства, в которых вызванный монеткой голос Чеслава Немена, срываясь на визг и переходя в ультразвук, будто алмазная пила в возвратно-поступательном движении, нарезал антрацитовыми дисками музыку поколения. Стояло лето 68-го года. Интенсивно, как никогда, шли через Карпаты из Чехословакии и в Чехословакию возвращались груженные железнодорожные составы. На белых гофрированных стенках чешских вагонов привлекало внимание и интриговало выведенное внизу красными литерами слово «Pozor!». Как позднее выяснилось, оно имело технический смысл и означало как раз «внимание».

Между тем в воздухе повисло ожидание вторжения. Неизбежность его ни у кого не вызвала сомнений, расхождения в разговорах встречались лишь относительно сроков. Отцов вызывали в военкомат и забирали на все лето в лагеря на переподготовку. Возникли проблемы с летними отпусками. Даже школьникам было известно, что с весны еще передислоцирован под Мукачево танковый корпус, а госпитали и городские больницы прилегающих областей без излишнего шума в спешном порядке готовятся к приему большого количества раненых. В газетных киосках, однако, по-прежнему можно было купить из-под прилавка, переплатив или взяв «нагрузку», добрый десяток чешских и польских газет и журналов — опяняюще раскованных, незнакомых. Упоительно было рассматривать за столиком, передавая по кругу, карикатуры в них — хмелея от легких белых вин соседних стран, от первых сигаретных затяжек и дегтярного кофе в крошечных чашечках, плаваясь в беспредметности желаний, готовности в немедленной драке отстоять свою суверенность и особость — в чувстве долгожданно-

го освобождения от власти отцов; дивясь нереальности происходящего, головокружа от первых свиданий с «дырявыми хлопцами», или «двухстволками», — как называл *снятых* ими девчонок дядя-лесничий, подтрунивая над неумелой конспирацией племянника с его товарищами. Все это происходило у самого подножия гор — на этот счет имелись, кстати, свои песни.

К тому времени дядин племянник сподобился однажды холодным утром забраться на сосну на вершине соседней горы. Не совсем ясно, что погнало его наверх, — надо думать, общее стеснение организма пресловутым девством. Но именно оттуда и тогда он увидел впервые над сплошным лесом ВСЕ ГОРЫ.

Изгваздавшись в сосновой смоле и оцарапавшись, прободав наконец головой хвойный покров с засевшей в нем сыростью, он прикипел к стволу, чуть покачиваясь вместе с верхушкой дерева, постанывая и поскрипывая с нею заодно над дымящейся поверхностью мироздания. Ночной дождь на рассвете закончился, небо постепенно расчищалось. Над дальними горными цепями еще стояло несколько дождей. Угадывалось солнце в дымке, откуда скрытое за облаками, но уже начинавшее то здесь, то там прожигать в небе световые тоннели и шахты, беспорядочно переставляя их затем со склона на склон, будто утверждаясь на гигантских ходулях.

Он не смог рассказать внизу, что увидел там наверху *такого*. И все же этот нечаянный ракурс — вида сверху на военную тайну творения — отпечатался в нем глубже всего до той поры пережитого. Испытанное ощущение безопорности, открытости по всем осям и направлениям не раз впоследствии навещало его в снах, заставляя просыпаться то с замирающим, то с бешено колотящимся сердцем, раз — несчастным, другой раз — счастливым до слез.

Подросток, побывавший на вершине древа omnipотенции и навсегда запомнивший это, заурядный случай фаллокрации. Легкий ответ — и потому неверный. В том опыте не было воинственности, не было покорения вершины и жажды господства. Но было нечто вроде вестибулярного открытия, на зов которого влекутся все летуны и плавунуны — все писуны в постели в детстве, все моряки и летчики, все сновидцы и часть альпинистов, все, кому не сидится и не растется на месте. Этот опыт не поддается пересказу, и на земле его по-хорошему следовало бы забывать немедленно, иначе не сможешь передвигаться, ходить.

В тот раз на дерево за ним следом полез его друг. Он покрикивал сверху, подбадривая себя по мере подъема, и забрался, видимо, выше Юрьева. Потому что вниз он спустился с трофеем — красным полотняным галстуком, пропитанным сосновой смолой, как носовой платок, — и надоедливо дразнил затем им Юрьева: уж не наш ли герой-первопроходец привязал его на верхотуре сосны? Не потому ли, что не оказалось в кармане трусиков дамы сердца? И не сдать ли по возвращении эту тряпицу совету пионерской дружины для передачи в школьный музей? Особым шиком в их школе считалось чистить на переменке ботинки пионерским галстуком и носить его скомканным в кармане штанов, отвечая на приставания учителей, что не успел погладить или забыл дома. Еще прошлым летом они выбыли по возрасту из пионеров и пока не торопились становиться комсомольцами. До получения аттестатов зрелости и подачи документов в институты еще оставалось время.

Чтобы понять дальнейший ход событий, важно знать, что над краем, где все они в силу разных причин жили, распялено было наподобие пододеяльника другое небо. Много позже Юрьев узнает еще, как разительно может меняться характер неба в зависимости от местности, а тем более страны. Небо Карпат и Подкарпатья было особым, оно изолировало край даже от ближайших соседей — гулкое и пустое внутри. Горы притягивали к себе и удерживали облака — они-то и создавали это особое небо, этот сырой атмосферный карман, обращавший все население в потенциальных пациентов врачей-ухогорлоносов. Сырость натягивалась камнями, которые остужались при этом, передавая свою остуду дальше — возвращая ее подземным ключам и непо-

дородной и вероломной кладбищенской земле. Горько пожалеет тот, кому вздумается присесть отдохнуть на камне или полежать на этих постных глинах, поросших травой. Все звуки еще с дальних подступов звучат здесь чем отчетливей и громче — тем невразумительней, паузы тянутся невыносимо долго, резонанс блуждает, отражаясь от препятствий, словно бильярдный шар от бортов. Здешние членораздельные только по видимости ландшафты измучивают всякого человека, прибывающего сюда с великих равнин.

В этих горах проживал четвертый уже десяток лет юрьевский дядя-лесничий. И все это время он мечтал уехать отсюда — поселиться на равнине, переменить климат, купить дом где-нибудь на родной Проскуровщине, над рекой, с левадой и садом, и чтобы в речке были раки. В горном поселке он был уважаемым человеком и на работу в управление лесничества на центральной улице поселка ежедневно ходил в форменном кителе наподобие прокурорского. За десятилетия, проведенные им здесь, поселок сильно переменялся. При советской власти он превратился поначалу в горнолыжную спортивную базу, а затем в зимний курорт. Пансионаты, турбазы, рестораны разрастались в нем, как грибы в удачный сезон. Летом он также оставался оживленным местом отдыха, пансионаты переполнены были большую часть года. Но не так давно все неожиданно пресеклось и пошло на убыль. Нет ничего меланхоличней и тоскливей курортного местечка в мертвый сезон, — все тянущийся и тянущийся, покуда не растянется окончательно и не покроет собой все остальные сезоны.

Давно уж прекратились цекистские охоты — то золотое время стабильности, когда за коронным советским гетманом следовала повсюду его любимая молочная корова в специальном прицепном вагоне, и за две недели до прибытия гостей егеря начинали прикармливать медведя, приучая его выходить ровно в полдень к кормушке на лесной поляне. Пуля в лоб, посланная вельможной рукой, свидетельствовала об успешном окончании мишской курса косолопых наук. В лесничестве выдавались тогда премии, делилось грубое, жесткое мясо убитых зверей, распределялись излишки оленьих и козлых рогов, без которых немислимо житье никакого уважающего себя обывателя, не говоря уж о работнике лесничества.

Зверья в Карпатах еще хватало, несмотря на то, что горные склоны оплели сразу после второй мировой войны. Сталин завалил, как лося, низкорослого бога этих мест. Древесина здешних лесов пошла на восстановление разрушенных заводов и шахт на востоке. Поэтому позднее, в шестидесятые — семидесятые годы, строительный лес приходилось везти сюда из Сибири или даже из Северной Кореи, что не могло не возбуждать в особо ретивых головах подозрений о заговоре и о вредительстве.

В те годы дядя по путевкам леспромхоза объездил все соцстраны, включая заокеанскую тропическую Кубу, один раз даже побывал с делегацией в капиталистической лесистой Финляндии. Юрьев хорошо запомнил — отчасти благодаря фотографии из семейного альбома — себя дошкольником, держащимся за огромную руку представительного дяди, начальника над лесом, в городском дендропарке на лужайке, утыканной табличками с названиями деревьев и подстриженных кустов. Дядю отличала незаурядная природная любознательность. Особо уважительно он относился к систематичности познаний, одобряя обстоятельность в любом роде занятий и органически не вынося торопливости. Он являл собой тип послевоенного красавца, с крупным широким лицом и зачесанными назад выюющимися волосами, с той беспешностью движений, что так импонировала женщинам и могла сойти — и сходила — то ли за свидетельство близости к власти, то ли за признак породы.

Во взрослой жизни Юрьеву редко доводилось встречаться с дядей, поддерживавшим между тем весьма обширные родственные связи. И потому, навестив его в областной больнице года два назад в свой очередной приезд к родителям, он немало удивился, когда дядя заговорил с ним неожиданно о собственной жиз-

ни. Таким своего дядю ему еще не приходилось видеть. Задрал край больничной рубахи и показав Юрьеву необъятный, кабаний какой-то почти бок с красными лунками от пиявок, поговорив недолго о болезнях и операциях, дядя вдруг разволновался безо всякой видимой причины. Ему досаждал и его обескураживал сегодняшний день. Его слегка заторможенный от природы ум переставал ориентироваться в стремительности перемен, и он сам готов был вчинить иск времени, обращаясь почему-то с этим к нему, своему племяннику. По-хохлацки всегда будучи немного себе на уме, избегая открытых столкновений и споров, привыкнув поддерживать ровные отношения с людьми и соблюдать правила приличия, он неожиданно ощутил себя обобраным, обведенным вокруг пальца. Его на каждом шагу окорачивали теперь в собственной семье, ставя ему каждое лыко в строку, родная сестра с мужем наезжали с прямо противоположной стороны, а какие-то взявшиеся ниоткуда *нарванские* люди, переделавшие власть и позанимавшие все места, открыто третировали, лишая его права судить о чем бы то ни было на свете. Воздух вырывался из его легких с сухим старческим присвистом, вынуждая отхаркиваться и часто переводить дыхание, что делало его речь сбивчивой:

— Я расскажу тебе обо всем, как оно было на самом деле, — коллективизация, голод, война, люди — и после войны! Я такое знаю, я никогда ни с кем не говорил об этом. Приезжай ко мне в гости, я тебе все расскажу.

Юрьев вовсе не стремился узнать нечто новое о людях вообще, еще меньше его интересовала политическая правда событий. Он не прочь был только покопаться в собственной корневой системе с материнской стороны — заглянуть в историю семьи, узнать некоторые подробности выживания своей родни в крайних условиях, в которых многие другие люди тогда не выжили. И потому два года спустя, с ходу поверив в неслучайность совсем необязательного звонка и состоявшегося почти по недоразумению телефонного разговора, он ехал теперь в электричке на встречу, подвергая испытанию сумасбродством свой застарелый фатализм, как и положено этой душевной подагре. Проснувшийся в нем браконьерский азарт, дрожь загонщика говорили ему, что ловчие ямы и силки прошлого не могут оказаться пусты, что в них трепещется уже и рвется чья-то жизнь.

Железные дороги пришли за последние годы в полный упадок. Рельсы, изредка все же поступающие с востока, немедленно перепродавались западным соседям, а теми — еще дальше. Шпалы поизносились и расшатались, насыпи обратились в косогоры. Опасно кренясь и то растягиваясь, то сокращаясь в длину, поезд протягивал свой грохочущий состав по мостам над незамерзающими, часто мелеющими, трупными гальку и подгрызающими берега речками. Берега в местах разлива речек больше не выкладывались бетонными плитами в шашечку. Не только давно безжизненные доты и дзоты, но и будки охраны мостов теперь пустовали, хотя охранные зоны вокруг них по-прежнему обнесены были колючей проволокой. Разрозненные часовые стали попадаться только уже в горах, на въездах в тоннели. Вагонные окна, впрочем, давно перестали мыть, и потому о существовании или несуществовании все большего числа вещей в законном мире оставалось только гадать. Юрьев выходил несколько раз покурить в тамбур с выбитыми дверными стеклами и снежными заносами по углам. На торцевой стенке лущились и шелушились наросты пересошей краски. Непроизвольная имитация осени — изнаночная и наружная стороны красочных чешуек и струшье различались не только оттенком, но и кое-где цветом. По тамбуру гулял сквозняк. Морозный воздух продирает легкие при глубоком вдохе и приятно бодрит. Юрьеву уже приходилось как-то ночью ехать в плацкартном вагоне со снятыми боковыми полками — купейных вагонов в том поезде просто не оказалось. Ощущение было резким и восхитительным и оттого запомнилось. «На полпути к теплушке — уют хлева», — подумал он, оправившись от первого впечатления, прибегнув для этого к испытанному средству меланхолии, и боль-

ше уже ничему не удивлялся. Разве что остаточному наличию кое-где дверей в разоренных поездных сортирах, пользоваться которыми все равно уже было нельзя. Поговаривали, что потрошат вагоны и растаскивают их по частям сами железнодорожники во время отстоя составов на запасных путях и в вагонных парках. Ничего неправдоподобного в этом не было. Он помнил, как в небывало лютую зиму 75-го от съехавших с кольцевой автодороги в поле и опрокинувшихся грузовиков и автобусов к утру оставались одни чернеющие остовы. То была законная добыча окрестных сел, небезопасный промысел рукастых и хозяйственных мужиков.

В Карпатах молодой гуцул признавался как-то:

— Если кто посягнет на моих овец — убью, кто бы ни был. В овраг спущу, так что ручей весной только кости вымоет.

— Кто бы ни был, даже родич? — спросил тогда Юрьев.

— Родич этого не сделает.

— Убьешь человека за овцу?

— Да.

— За кражу — убийство?

— Да.

— Но ты же в церковь ходишь?!

— Убью.

На этом держался еще и сохранялся относительный порядок вещей в селах — на правосознании господарей. Быстро укоренившийся рэкет пыльным цветом цвел на районных базарах, но грабеж по селам отсутствовал. Еще в пору недолгого кооперативного бума дряхлый дедок в Косове полез на чердак, за якобы спрятанными там сбережениями, и расстрелял оттуда из припасенного с войны, а может, и с времен «партизанки» шмайссера банду налетчиков, побоями и пытками вымогавшую у них со старухой деньги. Поучительная история молниеносно разошлась по Карпатам. Людей не трогали. У всех, с кем Юрьев сходилась здесь достаточно близко, оказывался рано или поздно припасенный где-то ствол, — нередко еще с первой мировой, несуразной своей длиной приводивший на ум оружие куперовских охотников, но чаще обрез или просто незарегистрированное гладкоствольное ружье — Юрьеву и самому доводилось стрелять из такого, были бы патроны.

Поезд все глубже втягивался в горы. Пошли тоннели.

Юрьев столько раз за последние десятилетия проскакивал эту станцию без остановки, что и на этот раз, несмотря на ожидание, едва ее не пропустил. Сойдя с женой на перрон, он огляделся. Высыпавший из вагонов народ быстро рассредотачивался, исчезая в узких, щелеобразных проходах, заснеженных улочках и калитках. В некотором отдалении виднелось несколько поставленных вразброс, как попало, пяти- и даже девятиэтажных домов. В одном из них лет десять назад его дядя получил квартиру с телефоном. Нумерации домов, как скоро выяснилось, никто не знал, а на расспросы «к кому приехали?» отвечать не хотелось. Поэтому Юрьев с женой дважды прошли мимо нужного им дома, покуда не выскочила из-за одного и уже бежала к ним с криками наперерез дядина жена. А в противоположном конце улицы показался и сам смущенный дядя, выходящий на станцию встречать их, но не распознавший в быстро рассосавшейся толпе. Теперь жена вовсе его стыдила. Юрьев с дядей расцеловались. Юрьев и сам, возможно, не сразу бы узнал себя, покажи ему в молодые лета его теперешнюю фотографию. Как будто несколько человек, не сильно между собой схожих, пожило за это время под его фамилией, меняя фотографии, адреса, конспирируясь и начиная каждый раз с нуля. Усы прилетали и садились на верхнюю губу, прицеплялась, меняла форму и слетала без следа борода. Уличить можно было, только проверив документы, да выдавало, может, самое в человеке предательское — походка. Дядя за прошедшие годы поседел окончательно, почти превратившись в альбиноса, еще более раздался вширь, а всегдашняя его степенность приобре-

ла теперь характер экономной стариковской медлительности. Его напористая бойкая жена, много моложе его, напротив, будто вынута была из колоды галицийских пиковых дам, ведьмовски красивых и туго поддающихся старению. Она продолжала работать завучем в интернате, расположенном в нескольких шагах от дома на той же улочке.

Вполне городская квартира, в которую они поднялись, производила из-за деревенских видов из окон впечатление несколько странное. Городские удобства сымитированы в ней были весьма умело. Но днем в краях отсутствовала вода, батареи отопления оказывались не теплее трогающей их руки, от ведущего на кухню коридора ванная комната и санузел отделялись только порттьерами, а в двери всех комнат вставлены были большие оконные стекла без всяких занавесок на них, так что из прихожей вся квартира, исключая некоторые дальние углы, просматривалась насквозь. Как не без гордости объяснили гостям, дядин сын после работы сам, не торопясь, вот уж второй год облицовывал плиткой стены кухни, ванной и туалета, тщательно примеривал и заменял сантехнику импортной, заказывал новые двери. Очевидно, труды и хлопоты по благоустройству квартиры вносили в души ее обитателей успокоение — так стоило ли жертвовать комфортом, доставляемым ощущением целесообразности, ради скорейшего окончания ремонтных работ? Все это очень мало походило на ремонт. По профессии дядин сын был врачом-стоматологом, недавно закончившим медицинский институт и имевшим практику в одном из соседних сел. В этот день он оказался дома и по праву родства сразу, с порога перешел с гостями на «ты».

Юрьев едва успел освободиться от городских гостинцев — сетки апельсинных шаров, обязательного, как «отче наш», батона вареной колбасы, еще чего-то кондитерского к чаю, — как очутился вместе с женой за столом. Все оказалось плотно не ко времени, сытно — под охлажденную водку с маринованными белыми грибами и прочими консервированными разносолами домашней закатки. Общий разговор повелся на «мове», что дядины родные сумели оценить. К своей жене Юрьев обращался по-русски, как и она к нему. Дядя поначалу заговаривал с ними раз по-русски, раз по-украински — их приезд задал ему задачу. После обеда дядя, выпивший несколько рюмок водки, прилег на диван в той же комнате. Жена его, исполнив свой долг хозяйки, заторопилась и, набросив на плечи платок, побежала через дорогу в свою круглосуточную школу к оставленным ею детям. Юрьев с женой вышли прогуляться.

Недвижное пасмурное небо над головой напоминало разобранную постель. Путаные и едва намеченные в этой части поселка улочки больше походили на проложенные тропы и были почти безлюдны. Редкие прохожие передвигались и скатывались по неразличимым издали траекториям, то ли следуя за рельефом местности, то ли подчиняясь зову какой-то другой неясной логики, и при приближении как проваливались сквозь землю. Заглянув в несколько открытых магазинов на центральной улице, Юрьев с женой поразились запустению в них, напомнившего о недавнем прошлом, — с той разницей, что теперь в них отсутствовали не только товары, но и рыщущие в их поисках покупатели с туго набитыми кошельками. Магазиновые витрины и полки пусты были в прямом смысле и при этом уже как бы не смущались собственной подчеркнутой голизны, бравируя показным продовольственным нудизмом. Зато повзростали повсеместно в поселке деревянные остекленные будки, набитые импортным алкоголем и готовые впустить внутрь не более трех собутельников одновременно, — своими размерами и пропорциями будки сильно напоминали нередкие здесь придорожные часовенки Божьей Матери. «Импортный» алкоголь, как нетрудно было догадаться, почти весь производился в ближайшем райцентре, а любимый горцами праздничный «Амаретто» прямо в селах, по хатам — из спирта и контрабандного экстракта. Жизнь в поселке приобретала все более химерическое измерение. Дядин сын успел за обедом им рассказать, как кто-то из преуспевающих торговцев где-то купил и установил у себя в доме швейцарский лифт, курсирующий

между погребом и чердаком с остановками на двух этажах. Минувшей же весной какой-то, видно, разорившийся цирк или зверинец ссадил с вертолета на одной из ближних горок нескольких взрослых медведей, и те долго в растерянности бродили по округе в поисках пропитания, пугая население, пока не ушли южнее. Дядин бывший сослуживец принял одного из них на ночной дороге за прохожего и даже успел обрадоваться попутчику, да вовремя спохватился. Между тем купить в поселке что-то съестное можно было теперь только у закарпатцев, для которых при станции построили крошечный двухрядный рынок под дощатым навесом из некрашеного дерева. Закарпатские крестьяне, у которых климат мягче и все растет на грядках, добирались сюда разбитыми вдрызг поездами четыре раза в неделю. В остальные дни здесь орала музыка, торговали водкой, сиропной водой и какой ни попадя мелочевкой нанятые местными торговыми боссами продавцы и слонялись цыгане. Цены повсюду были примерно одинаковы — несколько выше, чем в областном городе и крупных райцентрах, — разница в цене приблизительно соответствовала стоимости поездки в оба конца. Сэкономить можно было только на тратах мускульной силы и времени, но того и другого, как и застарелой привычки к выживанию, имелось здесь по-прежнему в избытке.

На краю поселка дорога ныряла под открытую эстакаду, по которой положены были рельсы. Они вели к переброшенному невдалеке через горную речушку железнодорожному мосту. На одной из бетонных опор эстакады бросалось в глаза выведенное поперек белыми буквами загадочное слово «ЩЕК». Здесь им впервые повстречалось несколько лыжников, скатывающихся небрежным коньковым шагом один за другим по дороге в направлении центра поселка. Пластмассовые лыжи скрежетали на скруглениях и громко постукивали по убитому и местами обледеневшему насту проезжей части. Расположенные на околице местечка пансионаты пустовали, большинство из них не отапливалось теперь, и все же кто-то еще ездил сюда кататься. Судя по хозяйственной сумке, болтавшейся в руках одного из лыжников, эта группа приезжих направлялась в магазин за очередной порцией «горючего» для согрева. Словно лазутчики где-то теплящейся потаенной жизни, они растормошили омертвелый пейзаж. Сразу за ними следом погнался груженный лесовоз, громыхая и позвякивая цепями, намотанными на колеса, оставляя за собой висеть над дорогой, как белье, мерзлые клубы выхлопов. Тут же отозвался свистом локомотив из-за ближней горы — и несколько минут спустя уже прогрохотал по мосту над речкой и ничем не огражденным мосткам над автотрассой, отпечатавшись на мгновение на фоне неба испачканным маслянистым брюхом травоядного колосса, пересекающего тропу. Миновав мостки, он гуднул еще и еще разок, сообщая на станцию себе подобным о своем приближении.

Назад возвращаться покуда не хотелось, и Юрьев с женой, сойдя с трассы, пошли вдоль берега речки, решив вернуться кружным путем. По пути несколько раз им попадалось на глаза все то же назойливо и невразумительно пощелкивающее словцо: «щек-Щек-ЩЕК». Оно нанесено было той же белой масляной краской на приметные, но не вполне подходящие для писания предметы и поверхности: на сгруженные у дороги бетонные балки, на штакетины забора, а на перила пешеходного моста через речку — уже в виде лозунга: «Щека президентом!» Вот оно в чем дело — видать, в поселке не так давно кипела нешуточная политическая борьба. «Выборы в правление местного совета, что ли?» — лениво подумалось Юрьеву. Хотя что-то и кольнуло его при этом, но он никак не мог сообразить — с какой стороны? и в связи с чем?

Юрьев с женой прошли по мосту и поднялись на пригорок, откуда просматривался весь поселок, растянувшийся вдоль железной дороги. В двух противоположных концах светлели выходы из горной теснины. Одна из вершин на другой стороне прободала ненадолго туман. Прореха поползла по склону, обнажив лыжный подъемник с колесом наверху наподобие шахтного, которое, казалось,

можно было взять только пинцетом часовщика. Почти отвесно вниз вела трасса слалома, и на ней наблюдалось еле приметное движение также в муравьином масштабе. Но не получившие поддержки, рассогласованные усилия погоды никак не смогли помешать туману наскоро затянуть образовавшуюся щель.

Юрьев несколько раз щелкнул «мыльницей» жену под разлапистыми елями. Лицо ее раздумянилось за время прогулки, от легкого мороза кожа на щеках стала яблочной — на ней недоставало, может, только застывшей слезы или горячего следа от поцелуя. Раз-другой щелкнув — на этот раз уже зажигалкой, он затянулся властью табачным дымом. Уводящая вверх тропа упиралась в ограду местного кладбища. Внизу под обрывистым склоном распластался церковный двор, крест над куполом церкви достигал уровня подножия елей. На берегу речки высился торговый центр под островерхой деревянной крышей, с рестораном, занявшим весь второй этаж. Перед ним на пяточке столпились дощатые распивочные и ларьки с натянутыми между крышами самодельными гирляндами из грубо раскрашенных электрических лампочек. Это место с протоптанной к торговому центру тропой можно было бы даже назвать людным, если учесть запустение, царившее в поселке. Местные жители развлекались разглядыванием нескольких приезжих, определяемых издали и без лыж — по деталям экипировки, а еще более — по манере держаться. Эка невидаль, человек!

Юрьев замерз немного и продрог и предложил жене согреться чем-нибудь в баре ресторана. С предосторожностью они стали спускаться с пригорка, держась за руки,— было скользко.

За четверть века поселок переменялся сильно, но при этом совершенно поверхностным — чтобы не сказать «бутафорским» — образом. Внешние перемены не в состоянии изменить структуру местности, ее акустику и атмосферу, а значит, и людей. Во все время прогулки Юрьев, если бы умел, прядал ушами, будто конь, узнающий звуки, и принимался, как пес, припоминающий запахи. И звуки, и запахи оставались теми же, ушло только куда-то их значение. Переживание этих произвольных ощущений не столько тревожило его, сколько слегка интриговало, и если бы он захотел конкретизировать свое самочувствие, то не больше, скажем, чем развязка шаблонного кинофильма, то есть способ, каким зрительское удовлетворение может быть достигнуто.

Наутро он намеревался расспросить дядю и записать с его помощью кое-что на диктофон с единственной целью — прояснения для самого себя некоторых вещей. Ведь он застал еще краешком то время клятв в угрюмо-легкомысленной стране, где каждый ребенок не мог не задаваться всерьез вопросом: а выдержал бы он пытки врага, как пионер-герой имярек? Недвусмысленного ответа на тот изуверский вопрос у него так и не появилось с тех пор, если не считать само собой разумеющегося неудовлетворительного.

Тем временем надвигались сумерки. Небо над горами оставалось еще довольно светлым, плотная облачность транслировала свет скрытого за ней светила. Но по дну долины уже начинали ползти разведенные чернильные тени, их пятна сливались в рукава. Перекрасив снег, они принимались карабкаться по стенам. По тропке, протоптанной в призрачно синеем снегу, Юрьев с женой подошли к гигантской двустворчатой приоткрытой двери, скрывавшей вход, надо полагать, в питейное заведение. Бар на первом этаже оказался заперт, внушительных размеров висячий замок не оставлял на этот счет сомнений. Широкая лестница вела на второй этаж, откуда не доносилось ни звука. Поднявшись по ступеням и толкнув громоздкую резную дверь, они, к своему удивлению, оказались в абсолютно пустом, вымороженном и неосвященном зале ресторана на несколько сотен мест. Побродив в потемках, они обнаружили людей, собравшихся на кухне около самодельного «козла», обмотанного краснеющей в сумерках спиралью. Им отвечали, что имеются только холодные закуски и напитки — нет посетителей, кухня не работает, и не только обогревать, но даже освещать та-

кую громадину из-за одного-двух или даже дюжины посетителей никто не станет, да и тем самым же будет лучше, если они отправятся подыскать себе другое место. Не вступая в препирательства, Юрьев потребовал спиртного. Только тогда одна из женщин неохотно поднялась, дивясь их настырности, чтоб не сказать самоотвержению, в чем Юрьев и сам вскоре убедился, проведя первые четверть часа в ресторанном зале. Они сели у окна с западной, более светлой, стороны. Количество темени, впрочем, по обе стороны стекла очень скоро уравновесилось. Официантка, подобрав, зажгла над их столом люстру в виде тележного колеса, но тусклого света нескольких лампочек достало только, чтобы подсветить балки каркасного перекрытия и теряющиеся в темноте остроугольные своды гигантской корчмы. Мерзли руки, нещадно стыли зады на деревянных сиденьях неподъемных стульев. Уже через пять минут такого сидения, когда б не коньяк, у них не попадал бы зуб на зуб. Было, однако, нечто мрачно притягательное в завораживающей бесполезности этого покинутого людьми ковчега, поднятого над поселком. За окном стало черным-черно. Между тем к официантке постепенно возвращались профессиональные навыки. Она сказала, что попросит буфетчицу не только приготовить горячий кофе, но и сварить для них глинтвейн — это было, во всяком случае, много больше того, на что они могли рассчитывать. В ожидании обещанного Юрьев спросил жену:

— Ты, кстати, не обратила внимания на эти надписи повсюду «Щек», «Щека — президентом»? Маловероятно, конечно, чтоб это оказалось то, о чем я думаю, но знаешь, в тот год, что я отработал после университета в селе подо Львовом — я тебе немного рассказывал, помнишь? — Марусин жених, контуженный сорокалетний плотник, в письме директору школы подписался однажды так — «князь Щек». Слишком невероятно, чтоб это был он. Мне в голову тогда не приходило, что это, может, и не прикол, а прозвище или фамилия. Тот тоже был откуда-то отсюда, из Карпат. Когда вернемся домой, надо будет расспросить дядю — они же здесь все должны друг друга знать. А вдруг мы с тобой узнаем здесь, чем вся та история закончилась?!

Жена невозмутимо отвечала, что еще на станции обратила внимание на на-малеванное метровыми буквами на дебаркадере это слово или прозвище и, конечно же, заметила, что, попадаясь в разных местах, оно сопровождало их в течение всей прогулки. Она подумала на подростков, но, кажется, получается интереснее.

По мере разогрева выпитым возможность подобного невероятного совпадения им обоим казалась все менее невероятной, а юрьевское допущение ему самому представлялось все более оправданным и, если повезет, бьющим в самую «десятку» его неоформленных ожиданий — в желание стянуть одним узлом и попробовать оторвать от земли прожитую здесь, в этом краю, жизнь. Юрьеву очень не хотелось комкать свою часть той истории, и он отложил сколь-нибудь связанное ее изложение на потом. Тем временем последним великодушным жестом официантка отвела жену Юрьева в туалет для персонала, единственный во всем заведении куда еще действующий. Рассчитавшись, Юрьев спустился вниз и дождался снаружи, где также, зайдя за угол, легко справился со ставшей нестерпимой от холода нуждой без посторонней помощи.

Время было вечернее, еще не позднее, но казалось, на тысячи километров кругом залегла глухая полярная ночь. Небо затянуло косматыми облаками, из которых посыпался снег. В полынью света, будто глазунья, шипел фонарь на столбе. Переливалось вниз и бликовало в промоинах льда маслянистое тело речки. От мысли о студеной речной воде мураши бежали по ребрам и голова непроизвольно втягивалась в плечи. Весело заскрипела жужелица под ногами, щедро сыпанутая кем-то из ведра перед въездом на деревянный мост. В отдалении светились окна домов и тускло освещалась центральная улочка, ведущая к железнодорожной станции. Потемки размывали границы тел и вещей, увеличивая их взаимную восприимчивость. На холоде окончательно вышли из легких остат-

ки комнатного воздуха. Смута оставленного и задвинутого на сутки города, в который предстояло завтра возвращаться, чтобы еще через день оставить его бесповоротно, подступала, чуть зазеваешься, то к груди, то к горлу, то к животу, путала мысли и чувства. То же ли испытывала его жена? Решила ли она для себя то, что должна была?

Они наполовину скатились, наполовину сбежали в подобие неглубокого оврага за задними фасадами главной улочки. Минуя едва освещенные складские постройки, частные сараи и огороды, вышли наконец к темнеющему на возвышении торцу пятиэтажной коробки. В ближайшем от подъезда сарайчике, мимо которого они поднялись по тропе, что-то завозилось и обеспокоенно хрюкнуло. Это было все же село, а не местечко.

Юрьеву вспомнились дрессированные дядины куры, забравшиеся в курятник по узенькому трапу высотой в рост человека, громко кудахтая при этом — по привычке преувеличивая свое головокружение и деланный страх перед петухом. Каждый вечер дядя захлопывал за ними дверцу дня. Ему приходилось еще пилить и колоть на дворе дрова, носить из колодца воду ведрами на второй этаж двухсемейного дома у речки, где жена его вечерами, когда отключали по каким-то причинам свет, опустившись на колени, проверяла кипы ученических тетрадей у открытой дверцы кафельной печки.

Дядина жена пела когда-то в школьном учительском хоре. Лесничество выделяло хору автобус, возивший местных артистов с гастролями по району, но главное — на смотры самодеятельности и торжественные вечера в райцентр. То было золотое, чудное время — когда пелось — веселья, приключений, ускользающей молодости, ожиданий, флирта и даже некоторого успеха. На одном из таких концертов они и познакомились: обстоятельный и солидный лесничий с замечательным густым певческим голосом — как выяснилось еще по пути домой, в автобусе — и бойкая учительница географии с ямочками на щеках (с годами — райскими яблочками на скулах) и глазами горячими, как жареные каштаны, какими торгуют ранней осенью только на улицах Мукачева и Ужгорода в соседнем Закарпатье. Она народила ему таких же, как сама, скороумных, все схватывающих на лету детей. Обоим ему пришлось устраивать в мединститут в областном городе, находя связи, не считаясь со средствами, и поддерживать их по очереди все десять лет учебы и жизни вне дома. Беда его, однако, заключалась в том, что сам он относился к соображающим не столь быстро, а поскольку в войну защищал и отвоевывал ту страну, которую полагал своей родиной, то в старости, когда силы стали иссякать, ему и достались все шишки и палки — за все сразу. Его лишили в семье права голоса, и он действительно его почти потерял. Тот стал ломаться у него, как уже происходило однажды в подростковом возрасте, и был то по-бабьи высоким, то сиплым и еле слышимым, с присвистом и одышкой. В минуты слабости тела и духа он подумывал даже уехать отсюда один, бросив дом, семью, в которой все прекрасно между собой без него ладили. Нимало не отдавая себе отчета, что муж и отец являлся для них всех как раз тем, что их объединяло. Несколько раз в году он отправлялся погостить в различные места, где благо еще имелись родственники. Возвращался всегда в состоянии более угнетенном, чем уезжал. Тот мужицкий счет, что сидит, откладывается и растет в затылочной части головы каждого пожившего человека, говорил ему, что он пропустил нужный поворот, разогнавшись, прозевал съезд с трассы на проселок, ведущий в родные края, что развернуться не позволял теперь правила движения и запрещающие знаки и что не осталось уже решимости и сил нарушить правила. Что умереть остается либо приживалом у кого-то, что недостойно хозяина, либо предпочесть истаять среди своих, обложившись ватой глухоты, уйдя в старческую несознанку перед лицом семейных попреков и все более чувствительных щипков. И в пору не о вате для ушей подумать — да и где набрать-то ее столько? — а о пошиве деревянного костюма и о приобретении места для ямы на лесистом подъеме, где несколько десятилетий спустя только лес и сможет за-

молвить словечко за когда-то облазившего эти горбы и распадки лесничего, чьи кости так и остались в плену Карпатских гор, а имя стерлось.

Догадка Юрьева подтвердилась. Как выяснилось за ужином, Щек оказался тем самым человеком, на которого Юрьев подумал. Под коньяк с лимоном и чай с душистым вареньем родня охотно и наперебой вывалила на Юрьева ворох всего, что было известно о поселковом сумасшедшем и что сумела о нем припомнить. Тот действительно вознамерился в позапрошлом году стать президентом Украины и сам, одновременно с другими претендентами, развернул свою избирательную кампанию в поселке. Щеком он значился по паспорту — это не было ни кличкой, ни неостроумной мистификацией, как когда-то показалось Юрьеву. По этой причине слово, увиденное на бетонной опоре, не сразу связалось в его сознании с той давней историей. Лет двадцать назад он выжал из нее все, что смог, и потому, потеряв последовательно связь и след, утратил и интерес к ней. Сегодня он получал преамбулу и эпилог, наконец получал очевидцев и фактуру, которых так не доставало той истории, чтоб прийти к развязке.

Предыстория, правда, несмотря на видимое здравомыслие свидетелей, отдавала легковерностью мифологии и поверхностной красотой суеверия, по-украински — «забобона». Между лэмками северо-запада и православными гуцулами юго-востока в этих горах жили приземистые и широкоплечие бойки. Нечеловеческая сила их предков, потомственных лесорубов и овцеводов, происходила от того, что они пили — как уже мало кто сейчас здесь пьет — пиво со сметаной. Легкие этих людей были чудовищного объема, и, окажись в этих горах море и жемчуг, они стали бы лучшими в мире ныряльщиками за жемчугом. А не то взлетели бы над своими горами, как дирижабли или метеорологические зонды, и улетели вслед за облаками в другие страны, не будь привязаны за ногу к порогу своей хаты.

Два брата Щека чудили здесь в межвоенное время, соревнуясь друг с другом. Оба были холосты. И если одному удавалось на спор оторвать от земли церковный колокол, то другой, приподняв его, еще и покачивал им. Потому что не сила решает все, знают бойки, но *тяга*. Старший был механиком-самочкой и изобретателем. Раз случившееся в этих горах обречено преследовать человека до конца его дней и после — до тех пор, пока не вымрут последние свидетели. Старшего Щека уже полвека не было на свете, а бойки все еще горделиво припоминали в деталях, как удалось ему на спор завести мотор впервые увиденного им спортивного автомобиля, сломавшегося на горной дороге, введя в остолбенение путешествующих в нем богатых панов. Рассказывали, что он сидел в итальянском плену в первую мировую. На обратном пути повидал Рим, Флоренцию, Венецию, домой же пришел по Карпатскому хребту пешком. Когда в тридцатые годы он сделал из бочки самолет и пролетел на нем несколько километров над горной долиной, младший брат понял, что старшего в этом ему не превзойти, и пошел другим путем. Бочка, кстати, являлась самой правдоподобной деталью этой истории. Юрьеву попала как-то в межвоенном польском журнале статья с принципиальной схемой аэроплана, собранного английским (наверное, все же шотландским) изобретателем из разобранной бочкотары. Старшему Щеку между тем то ли слишком не терпелось взлететь, то ли он и не собирался садиться — до такой степени, что этой частью полета он пренебрег. После приземления передвигаться на ногах он уже не мог. Умереть он также долго не мог, потому что, как рассказывали бывавшие в его хате на горе люди, построил себе поворотную кровать, и, как только Смерть приходила за ним и становилась в изголовье, он, почуяв ее, сразу же разворачивался к ней ногами, и та уходила посрамленной. Ему тогда очень сильно захотелось жить. Он взял *за себя*, как принято здесь говорить, молодку-левшу из нижнего села. Она и родила ему того сына с повернутыми назад ступнями, который на исходе века захочет стать украинским президен-

том. Еще в грудном возрасте перед самой войной во Львове польский профессор сделал ему операцию, развернув ступни в нужную сторону. От той операции остались только рубцы и швы на щиколотках сзади, похожие на шнуровку ботинок. Батько Щек расплатился за ту операцию золотыми дукатами, что быстро стало известно и взбудоражило всю округу накануне прихода *первых Советов*. НКВД, освоившись с обстановкой, выдернул в скором времени старого Щека из его поворотной койки, и назад в нее он уже не вернулся. А польского медицинского профессора два года спустя расстреляли немцы, когда пришли во Львов повторно, — он оказался евреем.

Младший Щек незадолго перед войной сделался проповедником-спортсменом: ходил по перилам мостов над ущельями и речками, освоил технику бега с топориком на плечах, танцующими прыжками одолевая за ночь расстояние до закарпатских полонин, где бойки выпасали овец, и на рассвете возвращаясь домой. Что-то ему хотелось сообщить таким образом соплеменникам. Однажды на краю села он спилил верхушку ели так, чтобы на срез ствола поместились две его стопы, и оттуда, стоя, внушал полдня нечто сбывшимся жителям: и не про Бога, и не про черта, не про политику, но вроде и не для потехи. Никто ничего не понял из его речей, и, поудивлявшись, посмеявшись и опять поудивлявшись, все понемногу разошлись, возвращаясь к своим делам. Для таких людей имелось здесь емкое слово с не вполне определенным значением — «характерник», не паяц и не колдун, а нечто вроде фокусника. При *первых Советах* младший Щек пошел красить с бригадой и расписывать церкви. В «*партизанке*» не участвовал. После войны его отправили вместе с лесом на восстановление донбасских шахт. Оттуда он уже не вернулся. В середине пятидесятых к нему поехал туда в поисках заработка подросток из племени. Возвратился с востока в начале шестидесятых племянник один — последний из Щеков, шириной груди удавшийся в обоих братьев, но с легкими, засоренными смолоду угольной пылью и отравленными метаном. Ему платили по инвалидности небольшую пенсию. Мать к тому времени умерла. Он закрыл хату на склоне горы над речкой и стал ездить плотничать по селам. Как только недавно стало известно его односельчанам, в те годы он готовился к переходу государственной границы, но не здесь, а где-то в Средней Азии или в Закавказье. Он откуда-то проведал, а может, догадался, что настоящая граница на самом деле спрятана и проходит в пяти километрах за той, которая видна. Между ними-то и расположены основные ловушки, в этом все их коварство — только ты пересек, скажем, контрольно-следовую полосу, преодолел хитроумные ограждения системы Степанова — и вот уже расслабился, думая, что ты в свободном мире, как вдруг, словно из-под земли, вырастают пограничники в знакомых фуражках с собаками и наваливаются, и хватают, и отправляют в лагерь до скончания дней. Нет, Щека на такой подставе для простаков не проведешь! Чтобы отбиваться от собак, он купил в спорттоварах рапиру, съездив для этого специально в областной центр. Конец рапиры он обломал, а оставшуюся часть заточил с обеих сторон, так чтобы вся рапира поместилась в небольшой чемоданчик, в который должно было войти все, что может понадобиться при переходе границы. Чтоб укрепить организм, раз в неделю он нагружал булыжниками рюкзак и отправлялся с ним пешком от села к селу, отказываясь от предложений попутков, за рулем которых вполне могли сидеть подосланные органами «шоферы». У него был план: на Западе он собирался обнаружить свой проект пятисотметровой пирамиды с оазисом наверху — символической горы-Пантеона, который прославлял бы героев, боровшихся за свободу Украины. У него имелся — правда, в зашифрованном виде — принципиальный план, а также многочисленные чертежи отдельных фрагментов будущего сооружения, все частности которого что-то означали бы и символизировали, — рассчитан был шаг ступеней, определено, что будет располагаться на каждом из

ярусов, какое количество плит положено будет на самом верху и сколько посажено деревьев и какой породы. Чтобы доставить наверх огромные каменные блоки, понадобятся специальные приспособления, которые попутно пришлось все изобрести и начертить в тетрадах в клетку по арифметике. Он был хитер, упорен и предусмотрителен: уликами смогут послужить в суде в случае ареста школьные тетрадки по арифметике с изображениями причудливых механизмов и вычислениями в столбик, со взятыми от балды коэффициентами, со схемами установки *сетей для ветрогашения* и чертежами каких-то ООК, что означало всего лишь — «окна особой конфигурации»? На деле же это была принципиальная модель Небесной Украины, с построения которой и должно было начаться установление Украины на земле. Когда на последнюю вдруг свалилась с неба независимость в начале девяностых, он опубликовал брошюру о деле своей жизни, где изложил и представил наконец на суд общества десятилетиями вынашиваемый план, с обоснованием, расчетами и чертежами, за который при прежнем режиме не миновать бы ему мест заключения или по меньшей мере «психушки». В районной типографии он издал свой труд за собственный счет тиражом пять тысяч экземпляров и объемом приблизительно в две ученические тетради, на задней обложке поместив свою фотографию, на которой запечатлен был в рост, в клетчатом, чуть великоватом ему пиджаке, держащимся за гнутую спинку тонетовского стула из реквизита райцентровского фотоателье.

Вскоре подобных книг появилось великое множество, и эта позабылась да и вряд ли разошлась бы, но, по счастью, один ее экземпляр задержался в дядином застекленном книжном шкафу. Ее-то Юрьев и взял перелистать перед сном.

Так, значит, вот кто тогда, два десятилетия назад, объявился в том селе подо Львовом, где Юрьев очутился по направлению после университета и где отработал год учителем в местной школе.

Свою часть разыгравшейся там и тогда истории, к которой и сам он имел некое косвенное отношение, он рассказал жене в постели перед сном — ровеснице главной героини тех событий. По ходу рассказа он вынужден был припомнить много чего такого, что уже тогда выводило эту диковатую историю за рамки черного анекдота и из пределов компетенции уголовного кодекса, накладывая на ее участников грубый грим персонажей архаичной драмы, долгое время считавшейся специалистами-филологами утраченной.

Все в той школе располагало и склоняло к кощунственной шутке, если учесть к тому ж возраст молодого учителя. Бывшая четырехлетка, а позднее средняя советская школа занимала здание заброшенной молочарни — кустарного молокозаводика польского времени, с цементными полами и странными уступами и желобами в них, приглашавшими к спотыканию на каждом шагу. С крыльца ее, на которое Юрьев выходил обычно перекурить, отчетливо видны были в ясные дни кучерявые холмы Кайзервальда и возвышающаяся над ними гора Высокого Замка с телебашней, загораживавшие собой въезд в такой близкий и недосигаемый город с этой стороны. Очутившись здесь, начинающий учитель русского языка и литературы оказался вынесен не только за физическую околицу города, но и со знаком вычитания за невидимые скобки. В этой местности он ощущал себя примерно так, как ощутила бы себя, попадая в натуральный ряд чисел, величина мнимая и отрицательная, защищенная только своей временной невключенностью в условия арифметической задачи. Окружность, примерно совпадающая с кольцевой автодорогой, являлась также осью координат, при пересечении которой происходило своего рода превращение величин, и то, что представлялось безусловно ценным внутри окружности, вовне воспринималось вздором, белое оборачивалось черным, черное казалось белым и так далее. Некий пространственный вывих. Но время также вело себя здесь иначе. Оно стояло, и никто не

был на него за это в обиде. Рейсового автобуса дожидались с обреченностью терпения, как казни или Годо, чье имя здесь никому и ничего не говорило. Запыленный горбатый «ЛАЗ» появлялся рано или поздно из-за поворота, что всегда вело к оживлению на остановке, суля ожидающим радость общения в дороге. Любой колесный транспорт являлся для местных жителей разновидностью передвижного клуба, хочешь общаться — надо куда-то поехать. Салон автобуса с азартом набивался пассажирами до костного хруста, особенно в базарные дни. С визгом бегали и толкались под сиденьями, застревающая в ногах, поросята, обгадившиеся в перевязанных мешках. Молодка, наваливаясь лоном на сидящих и оборачиваясь через плечо, стонала не без удовольствия:

— Дядя, та куда ж вы лезете? Баб помнете!

Ввиду тесноты и прихотливого графика Юрьев вскоре приспособился ездить автостопом. В школе он принадлежал к малой части учителей, презрительно называемых в учительской и на собраниях «доезжающими». Как выяснилось к тому же, он единственный в школе из мужчин-учителей не зашлал втихую учеников, в старших классах обращаясь к ним исключительно на «вы», отчего те поначалу мгновенно теряли и без того скудный дар речи. Дисциплина в его классах поддерживалась преимущественно за счет того детского любопытства, которое ученики испытывали в отношении интригующей загадки устройства своего нового учителя, приходящего откуда-то издалека, из другой, известной им лишь понаслышке жизни. Все, о чем бы он ни говорил и что для него *там*, внутри круга, разумелось само собой, они слышали будто сквозь воду, приходящим в одеждах чуждой понятно-непонятной речи. Директор повесил на него классное руководство в самом беспокойном из выпускных десятых классов, но после того, как он принес на одно из занятий обжигающий руки журнал «Америка», немедленно отставил его, перепугавшись не на шутку за свое положение. Учительская походила на образцовый курятник или птичий двор, с насельницами, подмятыми в результате целенаправленных усилий директором под себя, где он — по совместительству парторг здешнего совхоза — безраздельно властвовал. Деревянным утконосом заходилась он на еженедельных собраниях и педсоветах, вдохновенно закатывая бельма и выбулькивая звуки: «Мы живем сегодня в высок-ко-ко-организованном обществе!» — рисуя при этом в воздухе указующим перстом подобие марксистско-ленинской спирали и грозя им одновременно неизвестным покуда высокопоставленным покровителям Юрьева, добившимся для него распределения в школу всего в получасе езды от города. Уже вскоре при одном только появлении молодого учителя, невзирая на многолетнюю привычку не терять самообладания на виду у подчиненных, директора начинало трясти — сдавливало горло, потели ладони, белели костяшки непроизвольно то сжимавшихся, то разжимавшихся кулаков, подрагивали пальцы. Еще бы: асоциален, носит волосы до плеч, самоуверенно держится, не как все, на встрече с латиноамериканскими студентами, перешедшей затем в банкет в школьной столовой, без всякого согласования произнес тост, вынудив всех выпить за каких-то ныне здравствующих «великих латиноамериканских писателей», — назвал несколько фамилий, а поди знай, кто они такие, — разве это не провокация?! Любимым директорским словом было «поръядок» — произносимое именно так, — и никакого его нарушения, тем более вызывающего, он не собирался терпеть. Но до прояснения ситуации терпеть приходилось. Директор был третий лис, столкнувшийся впервые на своей территории с наглым, полубессознательным и оттого тем более возмутительным и бессовестным блефом. Субординация на птичьем дворе оказалась поколебленной еще в связи с появлением в школе другой новой учительницы, в свои сорок оставившей работу на областном телевидении, с талией, туго пережатой ремнем, нацеленным, как две боеголовки, бюстом, — невооруженным глазом видать, оголодавшей по мужику

до того, что у директора при разговоре с ней сводило зубы и садился голос. Так нет же, она вцепилась в молодого, глазки ему строит, от себя не отпускает, вместе с ним *доезжает*, аморалку разведут, — по отношению же к директору заняла такую позицию, что не подступишься, вызывай ее на собеседование, не вызывай, — что ты будешь делать?!

Школа, как и село в целом, просматривалась насквозь из любой точки — жена директора и его невестка являлись confidentками своих учениц, обремененных жгучими секретами созревания. Учителя физкультуры и труда также делились полученной информацией. Молодой географ в первый же день, не сориентировавшись, поделился с Юрьевым нечеловеческой силы желанием вступить в партию — как он выразился, это та крепость, которую он штурмует уже третий год, намеревался даже сходить на несколько лет в армию после института, чтоб попытаться проникнуть с этого хода. Но пройдет полгода, и ворота этой крепости благодаря директорской протекции сами раскроются перед ним, как следом еще одни, и еще, — потому что нет таких крепостей, как было сказано, — ну и так далее. Никто не предполагал тогда, как неправдоподобно близко окажется истечение срока действия этих слов.

Все учителя, как, впрочем, и все ученики, обязаны были нести так называемую «общественную нагрузку». Когда Юрьев выразил желание вести факультатив, ему немедленно предложили готовую программу факультатива. Он предложил взамен набрать литературный кружок — его ознакомили с утвержденной министерством программой литературного кружка, расписанной до мелочей. Он отказался. Тогда его направили прочитать спозаранку лекцию механизаторам, а через неделю дояркам. Один из механизаторов спросил его: сколько зерна Советский Союз закупает ежегодно у американцев? Он не знал. «Никто не знает», — удовлетворенно подтвердил механизатор. Юрьев покинул душную бытовку, в которой тесно было от сельских мужиков в замызганных ватниках, прекрасно понимавших, что учителя к ним направили. К дояркам он не пошел. Стал пропускать еженедельные политинформации, не законспектировал материалы последнего партийного пленума или даже съезда. Не придав значения директорскому предостережению, что отступление от утвержденной программы по каждому предмету уголовно наказуемо и преследуется по закону, принялся делать на своих уроках то, что считал необходимым. Задача сильно упрощалась тем, что ученикам негде было взять обязательные к прочтению книги. Поэтому уроки большей частью сводились к чтению вслух, пересказу сюжетов и попыткам добиться от учеников, что они по поводу прочитанного думают. С этого момента, собственно говоря, и начинается история Маруси Богуславской.

Примерно тогда дезориентированная переменой собственной участи и романтически настроенная телевизионщица принялась жаловаться ему на своих учеников, с уроков она возвращалась в состоянии озадаченном, временами близком к истерике. Все, что было связано с миром чувств, мотивацией, пресловутой «диалектикой души», прославившей классическую русскую литературу XIX века, сельскими детьми Галиции совершенно не воспринималось, будто эта самая душа обладала у них исключительно телесно-осозательными параметрами и полностью покрывалась физиологией. Саму вступившую в опасный возраст учительницу, как можно было при этом догадаться, явно прельщала возможность адюльтера с «психологией», дефицит которой так отвращал ее два десятка лет от романов с напудренными дикторами и липкими редакторами областного телевидения.

Юрьев не торопился с собственными заключениями. Пол-урока он исправно читал вслух принесенные с собой книги, пол-урока задавал вопросы и рассказывал. Горло деревенело и болело при сглатывании к концу занятий. Четыре-пять часов каждодневного говорения — его гортань и слюнные железы не были рассчитаны на прохождение такого количества слов.

Дети затаились. Они слушали. В каждом классе находилось пять-шесть сообразительных учениц, как правило. Как пришлось впоследствии убедиться, из них вышли городские продавщицы. Впрочем, зажиточные родители пристраивали продавцами в городе и отпетых двоечников, хотя куда чаще последние становились экспедиторами или грузчиками. Непонятно зачем, они запомнили своего случайного учителя и еще десяток лет спустя оклика-ли его по имени-отчеству из-за своих прилавков и лотков — пообтершиеся в городе, нарожавшие детей и отравившие невероятные физиономии, — пред-лагали что-то из-под полы, спрашивали неизвестно о чем, что-то вроде: «Ну как вы?». Старательным ученицам и ученикам приходилось завышать оцен-ки, ставить четверки и пятерки, чтобы не загасить в классах едва тлеющий интерес к знаниям и едва теплящуюся способность к обучению. В каждом классе имелось также несколько дебилов, а иногда и имбецилов, родители которых слезно просили не отправлять их умственно отсталых детей в спецшколы, — их можно было понять. Эти во всех классах сидели на пер-вых партах, были послушны и даже старались. Нечаянная учительская по-хвала, казалось, способна была сотворить с ними чудо — как начинали тя-нуть они руки! — если бы Господь, природа или наследственность не спрями-ли что-то безнадежно в их бедных головах. Но к этому средству нельзя было прибегать слишком часто, чтобы не обратить их в посмешище, дав опозо-риться на глазах у всего класса. Достаточно было просто позволить им при-сутствовать на уроках с другими детьми, что-то слушать и время от времени даже записывать что-то в тетрадь. Несколько учеников на всю школу насчи-тывалось таких, кого безнадежно было поднимать для ответа. Учителя мол-ча ставили им тройки за четверть и за год и переводили в следующий класс. Остальная часть учеников знала, что рождена кидать навоз лопатой в совхозе и торговать на городских рынках ранней зеленью — что было специали-зацией и являлось основным источником благосостояния прилегающих к го-роду сел. Надо было очень постараться или оказать совсем уж невезучим лодырем, чтобы остаться малоимущим в этих селах, хотя встречались и та-кие. Поэтому от старших классов и до начальных, от условных «хорошист-тов» до распоследних двоечников во всех классах и со всех парт блестело и светило золото зубов — в Галиции скверная вода, — тем более когда так повально и непобедимо в юном возрасте желание «скалить зубы», смеяться и смешить самому, и еще чтоб никогда не кончалось это дешевое счастье жизнерадостной ржачки.

Параллельно дороге в нескольких сотнях метров от школы посреди поля текла Полтва — канализационная речка со стоками большого города, его фаб-рик и заводов, неустанно трудящихся над перегонкой нефти и забоем скота, про-изводством мыла и трехколесных велосипедов, громоздких телевизоров и тяже-ленных автобусов, корпусов для атомных подводных лодок и прицелов для стра-тегических бомбардировщиков, о чем знали в то время очень немногие. Сразу на выходе из-под земли содержимое городской клоаки перехватывали у крыс свар-ливые белые чайки. Речка паровала по утрам, особенно в пасмурную погоду, и ее зловоние как будто входило в замысел ландшафта. Юрьеву воображалась экологическая байдарочная экспедиция: бюсты в противогазах, поднимающие и опускающие весла, как мишени, беззвучно скользили бы по канавочной проре-зи в поле. Ниже по течению зловонная речка приходила в другое большое село при железнодорожной станции. Оттуда ежедневно добиралась в школу на авто-бусах почти половина учеников. Много было среди них лихих голубятников, что с послевоенных лет отчего-то в одном этом селе во всей округе сделалось биз-несом.

Юрьева, однако, занимало другое. В том же селе у железной дороги в 1920 году располагался штаб Первой конной, прикомандированный к которому про-вел здесь три месяца Бабель, сходя от тоски и безделья с ума и ведя дневник в

ожидании штурма Львова. Расклад был таков, что сумасшедшими более или менее в то время оказались все. За несколько лет до того будущий нобелевский лауреат по литературе Стефан Жеромский застает в Закопане квартиранта Юзефа Пилсудского в одних кальсонах (тогда как единственные свои штаны он отдал в штопку), застает раскладывающим трудный пасьянс, на котором тот загадал, быть ли ему диктатором Польши — той страны, которой нет пока на географической карте! Оттого-то он и потянулся за Киевом при первой же возможности. В ответ Тухачевский двинул армии на оголенную Варшаву и потребовал от Сталина поддержки. Сталин, однако, возмнил о себе после царицынского успеха и заупрямился: направлением главного удара станет Львов, — и туда увел Буденного. Оба они так и не решились за три месяца напустить кавалерийскую лаву на город, где она, несомненно, завязла бы, рассосавшись по каналам улиц и закоулков, что сулило конармии огромные потери, если не славный конец. Тем временем Тухачевскому отвесили под Варшавой, а затем и Буденному и гнали всех скопом назад до Киева, так что граница и вышла аккурат по Збручу.

Юрьева все же занимал исключительно литературный аспект геополитических турбуленций. Говоря проще, его не устраивал не столько большевизм, сколько политика партии в области искусства. И он спрашивал себя: было бы гипотетическое взятие или невзятие Львова конармией Буденного оплачено спустя несколько лет написанием новеллы об этом событии конармейцем Бабелем? Город и конница — какая красивая антитеза! При соприкосновении они аннигилируют, а подтверждением их встречи остается лишь одна небольшая новелла. Та новелла не была и не могла быть написана по причине отсутствия события, а тому порыву остался свидетелем разрушенный польский мемориал на Лычаковском кладбище Львова да один запоздалый советский памятник на спуске от Подгорецкого замка к Олескому, не уступающий своими размерами замкам: в нежное небо Запада, где по палевым облакам ходят розовые голые бабы, неотличимые от облаков, тянется окаменевшими копытами и мордами взбесившаяся конница. Рассказывали, что на постаменте памятника под гигантскими конскими ядрами в вечерних сумерках местные девки любят отдаваться местным же парням.

Из песни слов не выкинешь — таков был строй мыслей молодого Юрьева полвека спустя после тех волнующих событий. Перманентному вчерашнему анархисту, а может, анархо-синдикалисту, всерьез казалось, что искусство авангарда, будто нарисованный на стене от руки кобелек, способно оплодотворить огромную жизнеподобную суку народа, пробудить в его косной массе способность воображения. Тот смысленный обособленный паренек, которому он давал читать книжки Бабеля — а также Булгакова, Олеси, Хармса, Кафки, — исправно все прочитывал и возвращал, на уроках старался, на переменках отмалчивался и вырос в киномеханика с преуздким лбом, сновавшего по городу в поисках приработка и от случая к случаю его находившего. То подростковое чтение осталось непроясненным и смутным эпизодом школьных лет, вскоре забытым за ненадобностью. Как позабылись и те последние в четверти уроки, на которых стоял гомерический хохот и классы помирали поочередно со смеху от новелл Зоценко, Хармса, Жванецкого. Прибегала посланная директором завуч-математичка с заячьей губой, умевшая, кстати, преискусно составлять расписание уроков на полугодие, отмечая и поощряя учителей отсутствием в их расписании «окон» и порицая и наказывая неудобных их изобилием, на голубом глазу навешивая весь их остаток на «доезжающих», чтоб тем не казалась жизнь сахаром. Она картинно застывала всякий раз в распахнутых дверях, но что плохого в том, что дети смеются, когда учитель на месте, а оценки в табелях уже проставлены? — ей ничего не оставалось, как, не очень уверенно самой изобразив подобие улыбки, прикрыть за собой дверь. Интересно было бы знать — не считая безу-

держной ржачки, — застряло ли что-то в головах его учеников от остальных уроков? С мясом вырванный знаменитый вопрос, фраза, строчка стихов? Или хотя бы имя — скажем, Потрясателя англичан с копьём наперевес? Но что им павшие англичане? И не довольно ли праздных вопросов?

Пока поздней осенью того года в одном из его классов не произошло нечто труднообразимое. Осимый посев молодого учителя дал непредвиденные всходы еще до наступления холодов. Маруся Богуславская, дебильная ученица девятого класса, наслушавшись пьес и романов, прочитанных им вслух на уроках, написала сочинение по русской литературе.

Директорская невестка, классная руководительница Марусино класса, еще в начале учебного года предупреждала Юрьева, что ему не стоит тратить на Марусю время, поднимая ее отвечать, поскольку ни на один вопрос она еще никому никогда не ответила. Она бессловесная сирота, живет одна с бабкой в хате с земляным полом. Ее, как рассаду, пересаживают из класса в класс, выводя тройки за четверть и за год, сидит она за первой партой у стены, никому не мешает, глядишь, что-то и услышит, все лучше, чем в разваливающейся хате с сырым земляным полом, — жалко их со старухой, никого у них нет, некому о них позаботиться.

Девочка действительно была заторможенная, стеснительная, с опущенным взглядом, ровно, как тень, переползающим по предметам, оказавшимся в поле зрения. Поэтому для Юрьева полной неожиданностью было, взявшись однажды вечером за проверку сочинений, наткнуться на сданную вместе с другими также Марусину тонкую ученическую тетрадь. Маруся, оказывается, вела записи! Поначалу вялые: дата, ниже — «Классная работа», тема урока, винегрет из названий и имен персонажей в собственной орфографии, малопонятные обрывки учительских фраз и слов. И вдруг — сочинение по «Грозе» Островского: набожная и мечтательная Катерина, кругом нравы скотного двора, проснувшееся чувство, конфликт, речка, суицид. То был путаный и фрагментарный пересказ фабулы, точнее, его попытка, — угарный поток сознания, где все нити были оборваны и смотаны без знаков препинания в клубок, уместившийся на пространстве одного большого абзаца. Какое письмо конармейца из бабелевского рассказа? Какие Беккет с Джойсом?! — ни одному модернисту в литературе такое *ионеско* даже не снилось. Рафинированные хармсовские «Случаи» проглядывали из-за Марусино сочинения, будто отражаясь в треснутом зеркальце, ее письмо заголяло стилизаторский характер фолкнеровского повествования в лучшей части лучшего из его романов и возвращало к первоисточнику, обозначенному божественным Шекспиром, — «повести, рассказанной идиотом, полной... саунда и фурий».

На следующий же день Юрьев побежал по городу. То было время завязки и вызревания нескольких местных артистических школ, впоследствии рассавшихся, ушедших в рассеяние или увядших, но, возможно, просто время полового цветения генерации в отчасти парниковых условиях. Друзья и знакомые Юрьева один за другим в течение недели посходили с ума от Маруси, как в другие времена сходили от Черубины де Габриак. Теперь то, что происходило в его школе, было важнее и интереснее всего, вместе взятого, что мог предложить в этом отношении город, еще несущий на себе следы, а больше шрамы, специфического, чудаковатого центральноевропейского сумасшествия: старые польки в шляпках с вуальками и прибабасами и невероятным количеством кошек в квартирах, трубачи, скрипачи и уличные художники, хиппи, кухонные и подвальные проповедники, нищие, читающие навзрыд стихи в трамваях, — дурдома были переполнены, — все они, вся их порода систематическим образом отлавливалась и изводилась брежневской милицией. Живописная несерьезность в той стране почиталась правонарушением и преследовалась наравне с аполитичностью, не говоря уже о более серьезных преступлениях. Так кем-то было задумано.

Конечно, Юрьеву захотелось побольше разузнать о своей ученице. Поскольку узнать что-либо от нее самой представлялось затруднительным, оставалось положиться на агентурные сведения, в просторечии — сплетни. Классная руководительница отвечала на юрьевские расспросы со смущенным смешком. Как оказалось, в хате с Марусей и бабкой этим летом жил сорокалетний контуженый плотник Иван, пришедший в село на заработки и подрядившийся залатать давно прохудившуюся крышу их хаты. Под это обещание бабка и впустила его в дом. Уже к концу лета односельчане заподозрили неладное — денег у бабки не было совсем, и рассчитаться с плотником она могла разве что телом внучки. Директорская невестка перед началом учебного года наведалься к ним в хату. Маруся сидела в сторонке на краю кровати. Бабка и Иван все отрицали. Директор во избежание неприятностей решил отчислить дебильную ученицу, выдав ей на руки справку об окончании восьмилетней школы. Таким образом он умывал руки. Тем не менее как парторг совхоза он послал к ним участкового. Участковый милиционер тоже не захотел неприятностей. Дело замаяли. Участковый пригрозил Ивану статьей, и тот убрался из села восвояси, назад в Карпаты, откуда пришел, так и не успев приступить к починке крыши. Но перед отъездом он написал и сам занес директору школы письмо, отчасти официальное. В нем доводилось до директорского сведения, что невзирая на большую разницу в возрасте он полюбил ученицу Марию Богуславскую, отчисленную недавно из их школы, и по достижении ею совершеннолетия твердо намерен сочетаться с ней законным браком. До того срока и для ее же пользы он покидает ее, оставляя за собой право изредка навещать сироту. А поскольку он желал бы, чтобы его избранница находилась на высоте современного среднего образования, то он просит руководство школы и даже настаивает, чтобы оно предоставило его будущей жене возможность закончить десятилетку. Внизу стояли дата и подпись: «Князь Щек».

Кий, Хорив, Щек и сестра их Лыбедь! Плотник не просто оказался контуженым — как он говорил, в шахтном забое, — но контуженым что называется в полную голову! Как бы там ни было — неизвестно, на чем поладили Иван с директором и какие тот ему дал заверения, — но слово свое он держал и на протяжении всей первой четверти в селе не появлялся. Марусина бабка поплакала перед началом занятий и попричитала в учительской, затем в кабинете директора, и Марусе разрешили вернуться за парту. Так она оказалась в девятом классе.

От узанного у Юрьева голова шла кругом: несовершеннолетняя Мария и плотник, приходящий издалека, спустившийся с гор, чтоб взять ее в жены, дебилка и «князь». Ему непременно захотелось увидеть и, если повезет, сфотографировать эту странную пару.

Вот, значит, где источник Марусино письма, вот в какой ситуации и в каком состоянии она вошла в контакт с русской классикой, слушая пересказ сюжетов и чтение отдельных фрагментов и глав! Все смешалось и спуталось в ее бедной вытянутой головке! Проснувшееся в ней женское, взволновавшее все ее естество, пробудившее от спячки ее ум, пробило завесу морока и апатии, в которые было окунуто ее сознание. Литературных героев, их переживания она примеряла теперь на себя, душой отбирая только то, что ей годилось и что могло пойти в топку ее смятенных чувств. Внешне она оставалась совершенно невозмутимой, глаза ее ничуть не потемнели, не наполнились живостью и блеском или влагой, хотя бы животного свойства, — напротив, взгляд ее застенчиво опустил на долу. Иногда в уголках ее губ Юрьеву мерещилась летучая тень той ни на что не похожей улыбки, какой женщины улыбаются своим тайным мыслям.

Следующее сочинение Марии его просто потрясло. Хозяйской, не ведающей сомнений рукой она перекроила сюжет «Отцов и детей». Главной героиней его становилась социально близкая ей Фенечка. Это была история ее трагической любви к Базарову, прошлаяплненной русским писателем. Какой к лешему Павел Пе-

трович Кирсанов, какая Одинцова, какие нигилисты?! История любви служанки к барину, — возможно, князю, в любом случае, принцу, — вот что это был за роман, «вчитанный» ею в тургеневский. С полным основанием его можно было бы назвать так: «Фенечка».

«Сочинение».

Базаров человек с умным мнением. Его очень любила Фенечка. Когда она призналась ему в любви он очень был рад ей. Фенечка это молодая женщина которая влюбилась в Базарова. Когда он ее поцеловал в губы она была спокойна. Базаров очень понравился ей. Фенечка приехала к нему в дом. В доме был Базаров. Она очень обрадовалась и обняла его своими руками за шею. Она была рада что он ее любит и не забывает о ней. Базаров относился к Фенечке хорошо и она тоже хорошо. Фенечка любила очень его. Базаров думал что она его не любит. В доме у Базаровых был беспорядок. Фенечка была очень хорошая Базаров зато ее полюбил. Взгляд Базарова был очень спокойным. Базаров думал что он будет на ней жениться. Базаров умер а она повесилась. Базаров был нигилист а она была простая женщина которая была спокойна о нем и очень рада. Фенечка думал оженится на нем но такое получилось что она не оженилась с ним. Фенечка очень любила Базарова. Базаров попадает в беду и забывает о ней».

За оба сочинения, это и по «Грозе», Юрьев поставил Марусе первые в ее жизни четверки. Когда он перенес оценки в классный журнал, к нему подошли по очереди Марусина классная руководительница, затем бесцветная преподавательница украинского языка и литературы, уязвленная тем, что на ее уроках Марусина тетрадь оставалась по-прежнему девственно чиста, и наконец жена директора, входящая во все, что происходило в школе и ее окрестностях, и полагавшая за собой редкое сочетание огромного житейского опыта с педагогическим талантом, а следовательно, «право имевшая». Ее влияние в школе, а тем более в селе, имело характер скорее психического давления, чем реальной власти, поскольку для своего номенклатурного мужа она давно была как кость в горле. Он старался даже не глядеть в ее сторону, сохраняя на людях подчеркнутую корректность — на свой лад, как все здесь, то есть вынужденно обращаясь к ней, водил глазами по стене за ее спиной. Партийный дятел и оплывшая невостребованная сирена — семейного дуэта из них не вышло. Еще и потому оба были сладострастниками власти, мучениками и соперниками, старательно блюдущими свои права и территории.

Наставления Юрьев пропустил мимо ушей. Остальные учителя предпочли до поры не вмешиваться: ну поставил молодой неопытный учитель четверку дурочке за неожиданное прилежание — и ладно, система отметок от этого не рухнет. На взгляд Юрьева, Маруся, конечно, заслуживала высшего балла, но Юрьеву не хотелось до поры дразнить чудище наробраза, вступая в конфликт с системой по пустякам. Ему попросту не дали бы продолжить полевые наблюдения. Четверка была временным компромиссом на том поле сражения, каким являлась ничего не подозревающая Маруся.

Тем временем Юрьев принялся возить с собой громоздкий фотоаппарат с подпружиненным зеркальцем, срывающимся при спуске с таким стуком, словно это был отпущенный нож гильотины. Он стал снимать им на переменах и после занятий все подряд, поскольку не сомневался, что место событий в разворачивании любого сюжета играет далеко не последнюю роль.

Этот край казался ему до такой степени забытым Богом, вытесненным на задворки, наказанным и поставленным в угол, что он не понимал, как жители его могут не уповать и не дожидаться прихода Спасителя со дня на день — не дожидаться хотя бы ангелов во сне, которые, склонившись, могли бы нашептать на ухо: «Нам все известно, надо немного потерпеть, мы на твоей стороне, все кончится хорошо...» — или если не их, то на худой конец посланного небом изба-

вителя от такой жизни. Подобные мысли двадцать лет спустя могли показаться Юрьеву смешными, если бы и теперь в них, тогдашних, не проглядывала неотменимая правда чувства.

Незадолго перед началом последней мировой войны где-то здесь, в одном из ближних районов, под Судовой Вишней, отмечен был последний по времени случай стигматизма, определивший заодно восточную границу его распространения. У девицы Насти Волошин на ладонях, на ступнях и под сердцем раскрылись тогда бутонами раны Христовы. Позднее, на излете советской империи, в другом, отдаленном и глухом, районе прогремело «грушевское чудо» — случай массового видения Богородицы, что в один голос было опровергнуто партийной прессой, а само село оцеплено милицией. Где-то в промежутке между этими двумя локальными сенсациями, ближе ко второй из них, и уместилась нелепая история дебильной школьницы Марии и карпатского плотника. Никем из ее свидетелей не была она воспринята провиденциально, за исключением, может быть, Юрева.

На школьном дворе он фотографировал Марусю, прислонившуюся спиной к стволу безлиственного дерева, с опущенным взглядом и тяжелым портфелем дожидавшуюся жениха, что придет за ней и отведет домой. Снимал на черно-белую крупнозернистую пленку угрюмую молочарню, прикинувшуюся школой. Кое-кого из учителей с неизменно напряженными в кадре лицами. Спившегося, вороватого повара школьной столовой — с половником и в грязно-белом колпаке. Сделал коллекцию фотопортретов приветливых, отзывчивых даунов и всегда жизнерадостных двоечников — ветреных детей природы, чье настроение не в состоянии были надолго испортить ни скверные отметки, ни непогода. Юрев фотографировал тоскливые и голые ландшафты вокруг села, пустынный отрезок шоссе, ведущего к кольцевой дороге, сваленные горой в углу школьного двора переломанные, разбитые парты, трехногий комод на чьем-то огороде посреди желтеющих неубранных тыков, себя в галстук, раздвинув локти торчащего из квадратного люка на скате школьной крыши и оттуда пляшущегося зачем-то в небо. Снял бы и чудовищные, размером с кофейные блюда, поросшие волосом сосцы телевизионщицы, да кто-то помешал. На этом неотснятом кадре его память запнулась, начала сбивать и пошла дальше листать воспоминания вне всякой связи, будто подчинившись их собственной гипнотической воле и выбору.

Взрыв прогремел в школе, и, когда все повысыпали из здания, сгрудившихся на дворе школьников и учителей обволоч тяжелый, едкий запах химии, смерти, битого стекла. Молоденький лаборант собирался развести в огромной бутылке серную кислоту до нужной концентрации, но перепутал и позабыл, что во что следует вливать. Взрывом высадило окно. Кто-то из проходивших в это время мимо школы по дороге успел даже увидеть, как облизнулись в оконном проеме языки пламени, однако были тут же удушены повалившимися белыми клубами пара. Когда примерно через час прибыла машина «Скорой помощи», лаборанта вывели под руки на школьное крыльцо с головой, замотанной мокрыми вафельными полотенцами, с руками, поеденными глубокими язвами, на одной из которых уже отсутствовало несколько пальцев. Самый завидный жених на селе до злополучного взрыва, он находился в состоянии шока. Летописцы, описывавшие связь событий и наступление любых перемен по принципу «вдруг», знали толк в своем деле и понимали природу жизненных явлений. Так же вдруг и внезапно Юрьеву припомнился мрачный человек, едва видневшийся из-за университетской кафедры, обескураженный навсегда собственным предметом, целый семестр читавший зачем-то на филфаке курс техники безопасности, словно поехавшая мозгами Шехерезада с тысячами историй в жанре производственного черного юмора.

Поперек этого ряда воспоминаний проплыл рождественский вертеп, нечаянно увиденный из окна рейсового автобуса. Растянувшаяся группка ряже-

ных пересекала наискосок бескрайнюю пашню, припорошенную снегом, выворачивая ноги на смерзшейся комьями земле. Смерть в белом саване с косой, черт с испачканным лицом в вывернутом наизнанку черном полушубке, две девочки-ангелы с марлевыми крыльями, царь Ирод в короне из зеленой станиоли и латники с толстыми деревянными мечами, обмотанными серебряной фольгой, Иосиф с Марией и волхвы, за ними пейзажный *жид* и, наконец, поводырь с рождественской звездой на шесте, похожей на морскую и также обернутой цветной фольгой. Коммунисты вели беспощадную борьбу с вертепом. Сельская парторганизация выслеживала вертепы по хатам, стремясь обезвредить их еще на стадии приготовления, — партийцы врываются в хаты, ломали реквизит, грозили родителям и взрослым милицией. Директор школы самолично принимал участие в этих карательных операциях и добивался того же от своих подчиненных. На педсоветах он на манер исландских саг повествовал об одержанных с его участием победах над позорным пережитком и мракобесием, особенно нестерпимыми в стране, где введено обязательное среднее образование. Затем садился строчить отчеты в райком. Маленькие зародыши иуд, доносители, всегда имелись в распоряжении этого могучего врага изначального «беспорядка». Это была ведущаяся с пресерьезным видом странная игра. Директор занимался тем, что организовывал из учителей кордоны, ночные дежурства и засады на Рождество и Пасху у входа в церковь, превращая учителей в отверженных и изгоев, в чужаков, живущих попереk сельской жизни. Детям-колядникам директор не раз выдавал мзду из собственного кармана с тем, чтобы они расходились по домам и не шли колядовать. Воистину это был странный и, вероятно, несчастный человек. Партии он был нужен таким; и ему нравилось быть таким...

В остальное время года здесь стояла поднятая машинами пыль до небес либо грязь да лужи по щиколотку и глубже. Много сил и внимания отнимал сам процесс ходьбы — если, конечно, попытаться обходиться без сапог, которые назывались здесь «гумаками», от «гума» — резина.

Еще другие люди стучались в его память, и двоих он впустил. Одна была учительницей младших классов. Посреди ее комнаты в выстуженном и недостроенном многоквартирном учительском доме стоял гигантских размеров картонный ящик с годовым запасом женских гигиенических пакетов. Из прочей мебели были только кровать да стол с двумя табуретками на кухне. Учительница эта заинтересовала Юрьева советом лупить учеников: она и сама это проделывала, и другим рекомендовала. В пятом классе, классной дамой которого она являлась, она раз в четверть устраивала общую порку и порола — для профилактики и, вероятно, из чувства справедливости — всех поголовно, отличников наравне с отпетыми двоечниками. Она уверяла, что такое мероприятие повышает усердие на время занятий и соответственно успеваемость. Родители с пониманием относились к такому педагогическому приему. У учительницы имелся покровитель в облоно, а также одна не слишком смешная в силу частой повторяемости шутка. Уже после второй рюмки ее тянуло декламировать, и со словами: «И тогда Данко вырвал из груди свое сердце!» — она неизменно вытаскивала рукой из декольте левую грудь и, повременив, с грубоватым смешком прятала назад: мое, дескать, нечего зариться. Она туго соображала, все ее реакции несколько запаздывали, отчего, общаясь с детьми, она легко впадала в раздражение — у них были разные скорости. На уроках, надо полагать, они стоили друг друга. Юрьеву казалось временами, что даже кровь в этой молодке находится не в жидком, а в твердом состоянии, загустевшая, как в колбасе-кровянке. При всем том она была достаточно добронравна. Так получилось, что личное ее, интимное, пространство практически не превышало площади кожного покрова. Поэтому, когда ей хотелось, чтобы ее послание гарантированно дошло до получателя, она имела обыкновение понижать голос и едва не языком заталкивать свои слова в ухо собеседнику. Если собеседник оказывался

противоположного пола или просто чувствительным к щекотке, происходили недоразумения. Сама она щекотки не боялась совсем. Во всяком случае, наружных ее видов. Юрьев не исключал, что во время секса она вполне могла бы что-то напевать, или плести венок за плечами любовника, или чистить ногти, не беря в голову, что может травмировать этим партнера. Впрочем, это было всего лишь смелым допущением, проверять справедливость которого не входило в намерения Юрьева.

Вторым был старик-хромоножка со своей историей об отпуске из немецкого концлагеря. История была настолько несуральной, что у Юрьева не возникло никаких сомнений в ее подлинности.

— Я же говорил им, что не могу воевать. Два раза пробовал — и всякий раз ровно через неделю оказывался в плену. И в третий раз, говорил я им, будет то же самое, — рассказывал школьный уборщик, отставив метлу, вытянув хромоногу и угостившись сигаретой из юрьевской пачки.

У Юрьева не было урока, и они устроились перекурить в углу школьного двора на завалинке, составленной из разбитых школьных парт. На старике был синий технический халат. Уборкой во всех школах обычно занимались женщины, это была женская должность. Что старикам нужно? — чтоб их готовы были выслушать. И он неторопливо повел свой рассказ.

В начале лета 44-го дальновидный эсэсовец, узнав, что у одного из заключенных имеются родственники за океаном, стал уговаривать его вместе в конце войны сделать ноги. Он поможет заключенному выжить, а тот доставит его за это в Новый Свет. Эсэсовец уверял, что поодиночке шансов у них нет. Заключенный думал-думал и согласился. Под диктовку эсэсовца он написал родственникам в Канаду письмо, и эсэсовец переслал его. Однако, уже решившись на скитания и туманную неопределенность, заключенный затосковал. Три года не видел он родных мест, а теперь, может, не увидит уже никогда. Он поставил условием, что хочет повидаться с родными напоследок. Как ни отговаривал его эсэсовец, он стоял на своем. У эсэсовца не оставалось выбора. Взяв с заключенного страшные клятвы, что по прошествии двух недель он вернется в лагерь, эсэсовец каким-то образом выправил для него документы, выдал командировочное удостоверение, дал денег на дорогу. Умолял только не задерживаться, поскольку восточный фронт трещал уже и неотвратимо приближался к его родным местам. Обойдя всю родню, немного откормившись, вдохнув полной грудью нездоровый прикарпатский воздух, вернуться назад в концлагерь заключенный уже не смог. Все обещания и клятвы выветрились из его головы. Он забрался в подпол и вылез из него, только когда канонада прокатилась, как гроза, над его головой. Двухнедельный срок он превысил всего на несколько дней, хотя теперь это не имело уже никакого значения. Едва выйдя из подпола на поверхность, он попал в руки русских вербовщиков. Это к ним он взмолился: не могу, мол, воевать, хоть на куски режьте!

— Как так не могу?!

— Да потому не могу, что не больше чем через неделю в плену оказываюсь, — планида у меня такая. Так было в сентябре тридцать девятого, когда мобилизовали в Войско Польское, так было в июне сорок первого, когда мобилизовали в Красную Армию, и сейчас толку от меня не будет, отцом небесным клянусь, опять попаду в плен! И я ведь не сам, я каждый раз вместе со всей частью оказываюсь в плену. Не получается у меня больше недели воевать, не моя на то воля, видит Бог!

Отсмеявшись, вербовщики сказали:

— Воевать не получается, а горилку сумеешь достать? Тогда тащи! Еще раз все сначала по порядку расскажешь.

Спасибо, родственники пособили. Притащил самогона столько, что пришлось и самому три дня пить вместе с вербовщиками. Перед уходом они сказали ему:

— Ты вот что, парень, врешь ты складно, но теперь полезай-ка назад в греб и сиди там тихо, как мышь. Потому что фронт уходит, следом придут смершевцы, а эти хлопцы шутить не любят. Так что лучше тебе им на глаза не попадаться. Сиди в подполе, пока все не закончится.

Так он и досидел до самой победы. И все обошлось вроде. Да вот не так давно земляки стали в село наведываться, из тех, что сидели с ним в войну в одном лагере. Лагерь, оказывается, попал в американскую зону оккупации. Оттого и очутились они после войны, кто в Австралии, кто в Канаде, а кто и в Америке. Получается, что из них всех он один только и вернулся в родные края, да и то благодаря эсэсовцу. Все, что теперь приезжают сюда, обзавелись там семьями, собственными домами, разбогатели. Спрашивают его: «А ты как?»

— Как-как? Зарплата семьдесят рублей, но им говорю — сто. Они спрашивают: в неделю? Отвечаю: в неделю. Они головами качают: да, говорят, мало вато. Но ничего, жить можно. Ты, говорят, к нам приезжай погостить.

Хотя, когда пить стали, от стола к столу из хаты в хату переходить, они через день-другой и говорят:

— Получаете мало, а столы накрываете повсюду такие, что мы бы с нашими доходами в трубу вылетели, если бы так всех гостей принимали. Мы себе что-то такое не больше раза в году можем позволить, а так, как вы это делаете, никаких денег не хватит!

С тем и уехали. А я вот уборщиком работаю в школе и сторожем. Знать бы наперед, может, и призадумался бы тогда, а так что!.. Такой вот у меня отпуск получился.

— А с ногой-то что, это не с войны? — поинтересовался Юрьев.

— Какой там с войны! Два года назад полез *лямпочку* в классе свернуть и со стола упал, ногу сломал. Старый стал, голова закружилась, кости хрупкие — с той поры и *шкандыбаю*.

Подавляющее большинство галицийских историй вызывало у Юрьева острый приступ немедленного желания выпить. Но эта оказалась по-своему забавной. Прозвенел звонок, выбежали во двор дети. Пора было собираться на урок.

...Память звонка и теперь словно вывела его сознание из дрейфующего состояния, освободив от власти бесконтрольных воспоминаний. Другие персонажи еще волновались, шумели, канючили и требовали, чтобы их впустили, будто под дверью закрывшегося на перерыв учреждения, уже понимая, что никто их не впустит и что на этот раз им остается подчиниться.

Это они явились зрителями и немым от рождения хором той драмы, что, переместившись на горный склон, могла бы прорасти зерном нового карпатского мифа, если бы... Если бы. Но лучше по порядку.

В конце долгой и небывало теплой осени того года в селе неожиданно объявился Марусин жених. Каждый день он приходил забирать ее из школы после уроков. Юрьеву удалось наконец подстеречь их и сфотографировать вместе. Самозванный «князь» был одет в черный костюм, широкие в заду брюки резко сужались книзу и упирались в преувеличенного размера лакированные полуботинки. Через плечо перекинут был на манер португепи ремешок включенного транзисторного приемника. Нельзя сказать, чтобы он производил впечатление нездорового человека. Некоторая чрезмерность жестикуляции и резкость телодвижений вполне могли проистекать от того всеобщего пристального внимания, которое он, несомненно, ощущал и которое было приковано к ним с Марусей. Он был коренаст и издали походил на опрокинутую черную пирамиду, Маруся же вытянута была в длину — из коротких рукавов пальто торчали зябнувшие на ветру руки, на ней поддеты были под школьную форму простые физкультурные штаны, растянувшиеся в коленках и заправленные в высокие *гумаки*. Свой портфель она несла сама. Они удалялись вдвоем по сельской улице, идя по краю канавы, тянущейся вдоль забо-

ров, не оборачиваясь, чтоб не встретиться взглядом с провожающими их десятками пар любопытных детских глаз.

В учительской вновь забеспокоились. Отрядили завуча-математичку с заячьей губой, и она вечером наведалась в Марусину хату. Иван сидел на корточках на столе в одном исподнем и из такого положения разговаривал с гостьей, не подумав ни слезть со стола, ни накинуть что-либо на себя. Свое пребывание на столе он объяснил неотложностью своего дела и заявил, что сам намерен подтянуть Марийку по математике и некоторым другим предметам. Он водил пальцем по разложенным на столе тетрадам, бубнил что-то себе под нос и чертил огрызком карандаша на полях газетного листа — это были какие-то вычисления в столбик. Бабка поглядывала с печи. Маруся сидела на краешке единственной кровати. Не сходя с порога, завуч напомнила Ивану об условии, при котором Маруся принята была назад в школу, пристыдила бабушку, покачала осуждающе головой и поскорей покинула эту хату с земляным полом и единственной свисающей с потолка тусклой лампочкой, под которой угнездился Иван на столе, будто спустившийся с потолка по крученому шнуру электропроводки паука.

Наутро Иван покинул село, но рассказывали, что несколько дней спустя он опять появился. Из школы после уроков Марусю он больше не забирал. Говорили, будто бы кто-то видел его на автобусной остановке — раз в соседнем большом селе, другой раз в городе. Марусе должно было вот-вот исполниться шестнадцать. И все, может, обошлось бы, если смотреть с позиции статьи уголовного кодекса о половой жизни с несовершеннолетними.

Гром грянул в феврале. После небывалых январских морозов и снежных заносов, подобных которым никто не мог и припомнить. Сутками напролет мело. Кольцевая дорога покрылась ледяными наростами и колдобинами и сделалась непроходимой. По краям дороги валялась, словно падаль, брошенная техника. Торчали из сугробов задние мосты грузовиков, лежало на боку несколько пузатых обледеневших рейсовых автобусов. Местные жители входили во вкус мародерства. Псы прибежали погрызть окоченевших, вмерзших в лед собратьев. Когда бедствие, наконец, миновало, установился привычный в этих местах февраль, уже чреватый мартовской оттепелью. Снег осел, перешел понемногу в гранулированное состояние, но поля по-прежнему были придавлены его слежавшимися перинами в многокилометровых пододеяльниках. Юрьева поразило когда-то в студенчестве, что люди спят здесь в жестких дощатых кроватях с бортами, нередко облюбованных мышами, а перинами укрываются. Ты можешь привести подружку и кувыркатся с нею в постели до утра — никого это не трогает, — но если утром вдруг выяснится, что вы легли на перину, а не накрывались ею, хозяева твердо вас предупредят на первый раз, а при попытке повторить укажут на дверь. Это одно из тех правил, что не подлежат здесь обсуждению.

Как-то в одно февральское утро, добравшись на перекладных до школы и едва войдя в учительскую, Юрьев сразу ощутил взвинченное состояние всех присутствовавших. Каждый делал что-то с отсутствующим видом — перебирал содержимое своего портфеля или перекалывал что-то с места на место на столе, но все до единого напряженно вслушивались в содержание директорского телефонного разговора — говорил он один. Бывшая телевизионщица решительным шагом подошла к Юрьеву и сценическим шепотом, показывая глазами на окружающих, сообщила:

— Иван похитил вашу Марию!

Чего-то такого Юрьев в принципе ожидал — как вся школа и все село. Директор, сидя за столом у окна, разговаривал по телефону с начальством районной милиции: дескать, первый поднял тревогу, обратился в органы за помощью. От Юрьева не ускользнули подобострастные нотки в интонациях директора, как и грубая лесть, на которую он пустился:

— Голос у вас как у светлой памяти покойного Поля Робсона! Так бы слушал и слушал. Да, у баса негритянского, да...

Никто не хихикнул. Одна телевизионщица изобразила удушье и поспешила спрятать лицо, уткнувшись в бруствер стоящего на столе портфеля.

Как выяснилось в этот день из разговоров на переменах, приехавший позавчера вечером Иван пообещал Марусиной бабке отвезти внучку, жаловавшуюся на недомогание, в поликлинику в соседнем большом селе. Но люди видели их вчера утром садящимися в автобус, идущий в обратном направлении. Кто-то предположил, что Иван мог повезти Марийку в областную поликлинику. Но вечером того дня ни Мария, ни Иван в село не вернулись. Наутро, еще на рассвете, Марусина бабка была уже в школе, где, дождавшись директора и выслушав директорские нотации и укоры, с готовностью кивая и поддакивая, просила только одного — помочь вернуть ей внучку. Утром в переполненной учительской Юрьев не сразу разглядел примостившуюся на стуле под директорским локтем сторбленную старуху в резиновых чеботах, замотанную головным платком поверх прохудившейся фуфайки, заискивающе и не без тревоги вслушивавшуюся в разговор своего заступника с незримыми небесными силами. Прозвевший звонок вымел учительскую подчистую, оставив в ней только директора и старуху наедине с суровым и не слишком любезным инкогнито на другом конце телефонного провода.

Два последующих дня прошли в неопределенности. Юрьевские друзья при встречах или вечером по телефону спрашивали его об участии никем из них не виденной ученицы — кто с праздным любопытством, кто с сочувствием к драме сельской жизни и нравов, кто с глупым литературным восторгом, тем самым требуя то ли от жизни, данной им в прочтении, то ли от Юрьева дальнейших фабульных поворотов. Вполне при этом допуская, что самое существование Марии, равно как и тексты ее сочинений, могли быть мистификацией — плодом филологического досуга и игры. Но уже к концу наполненной драматическим ожиданием недели сомневающиеся и малoverы получили в руки документ такой силы, что разом развеялся их скепсис и слетело все высокомерие, пусть даже в виде сочувственного отношения к дебильной деревенской девочке. Все, включая Юрьева, поняли, что заигрались.

То была объяснительная записка Марии Богуславской, найденной в Карпатских горах и усилиями милиции возвращенной в родное село и школу, — написанный под давлением директора школы отчет Маруси о своем похищении. В этом новом сочинении просматривались и угадывались щепы и обломки потерпевших крушение директорской логики и устроенного им Марусе «промывания мозгов». Темные воды Марусинога ума сомкнулись над ними и утянули на глубину поглубже Мариинской впадины.

Юрьев вынужден был признать, что директор в сговоре с низкой действительностью добился от Марусинога пера большего, чем он сам в союзе с классическими образцами русской реалистической литературы. К сожалению, текст Марусиной «Записки» практически непереволим, особенно на родственные языки, и какое-то представление о содержании «Записки» для русского читателя может дать только неизбежно приблизительный и бледный подстрочник, выполненный Юрьевым.

«Объяснительная записка.»

Я ездила в Карпаты и спала на вокзале я думала что он меня отвезет в Борщовичи в больницу а он меня завез в Славск. Я была больная. Он ездил за радио в Карпаты. Я теперь его не хочу за то что меня бил а Иван говорит что он меня не бил теперь говорит неправду он меня бил за то что я не хотела мяться а я уже помылась он не имел права меня бить. Я боялась с ним спать. Иван не хотел приходить в школу потому что сказал придет когда я кончу школу. Иван надо мной издевается. Он пишет по газете в моей хате любовь. Иван говорил что в нашей хате сырость и это вредит моей болезни. Иван на праздники привез коньяк и сказал мне пить. Я не хотела пить, а

он сказал пей. Я ему этого не прощу. Пусть он мне голову не морочит. Он говорит чтоб я десять классов кончала. Ты говорит должна десять классов закончить. Иван говорит что если его не захочу то он меня истолчет. Я бы этого не хотела. И я этого не хочу. Мне очень тяжело учиться дома некому помочь. Баба думала что он нам хату поставит. Он еще заранее бьет а что дальше будет. Иван не говорит мне пить лекарства говорит это отравя. Что мне делать? Чем вы можете мне помочь. Баба немного с ним ругалась а он не хочет слушать. Пусть он меня не бьет и не возит в Карпаты. Иван сказал в другой раз едем за батарееками для радио в Карпаты а я не хотела слушаться. Пусть он от меня отцепится а то худо будет. Он сказал что никого не боится. Я больше коньяк пить не буду я не знала что он мне наверно навредил а как же иначе. Он меня не любит а говорит что любит. Он ничего делать не хочет только бы целый день радио слушал. Огорода копать не хочет сажать картошку не хочет. Я бы говорит Иван тебя вылечил забрал бы в Карпаты там другой климат. Иван наверно еще приедет потому что оставил у нас радио чтобы я слушала. Я Ивана не хочу. Я прежде его любила а теперь не люблю. Иван ездит во Львов в столовую обедать каждый день. Иван очень нервный. Иван меня ударил по лицу рукой я аж отлетела к печке. Баба говорит что я не видела. На что он мне сдался. Не надо мне его. Иван говорил что должен жениться на мне. Если Иван бьет и еще будет бить то зря за него выходить замуж».

Этим исчерпывающим бесстрастным высказыванием, собственно, и завершается недолгий период Марусиного литературного развития, оказавшегося стремительным, как искра, отскочившая от серного бока спичечного коробка. Отныне ничьи чужие, а равно и собственные тексты ее больше не занимали. Своей объяснительной запиской она довершила то, чего так опасался и от чего в свое время предостерегал *буревестник чайку*. Тогда московский таганрожец выхаркал и похоронил с собою рядом критический реализм. Маруся теперь завалила реализм как таковой, вогнав в его домовину осиновый кол. После чего, уйдя в себя целиком, в прежней манере Маруся закончила девятый класс и переведена была в десятый.

Летом, по окончании учебного года, Юрьев с неожиданной легкостью добился открепления и уволился. Директор отпустил его с нескрываемым облегчением. Они пожали впервые друг другу руки. Юрьеву при расставании даже грустно сделалось от мысли о растрчиваемых впустую директорских силах, о бесплодности его власти и эфемерности дела — даже если отмерено ему окажется еще полтысячелетия.

Уходя, Юрьев прихватил тетрадку с Марусиними сочинениями по русской литературе. Еще прежде, отчасти в шпионской манере, ему удалось снять копию с Марусиной объяснительной записки, ненадолго оставленной директором для ознакомления на общем столе в учительской.

Жизнь уволенного учителя в дальнейшем двинулась в совершенно ином направлении, переместившись внутрь концентрических кругов города, из которых так трудно окажется потом вырываться. До третьей попытки фокус считается удачным, утверждают поляки. Тогда ему было уже не до Марусиных тетрадок, не до тех кислых почв и заторможенных пространств, где время впадало в ката-tonию и мерялось расстояниями.

Последнее, что довелось узнать о Марии, было рассказано Юрьеву кем-то из случайно встреченных на улице учителей, бывших коллег. Новые сведения ошеломили его, но ненадолго, поскольку как бы уже не имели к его работе и жизни непосредственного отношения. В десятый класс Маруся так и не попала. Перед самым началом учебного года Иван забрал достигшую совершеннолетия Марию и увез к себе в горы. Он взял ее в жены, хотя никто не мог сказать наверняка, были ли они расписаны и обвенчаны или жили так. Как бы там ни было, он заявил вскоре Марусе, что поиздержался за время

ухаживания и теперь пришла пора ей отработать истраченные на нее средства. Иванова хата находилась на склоне горы, и Иван придумал трудовую повинность для своей жены. Она обязана была ежедневно поднимать на гору тачку собранных у ее подножия гладких речных булыжников, какие идут обычно на фундамент при строительстве. Но даже не эта сизифова расплата явилась венцом Ивановой изобретательности. Главное, что Мария должна была — это родить ему сына, и он поставил условие, что роды у нее примет сам. В таком виде дошел до бывшего учителя словесности жутковатый отголосок сконструированного им самим подкарпатского квазибогородичного мифа: дебилка, катящая в гору изо дня в день тачку речных камней (что за стройка — уж не крепость ли замыслил соорудить Иван на своем пригорке?), и ее муж-маньяк, вознамерившийся подстеречь — подкараулить и выведать — тайну человеческого рождения у ворот самой жизни, захлопнув перед всем миром двери своей хаты. Это могло закончиться чем угодно. Выведав у жизни ее тайну, Иван мог с легкостью перейти сразу же к исследованию загадки смерти. Маруся с ее будущим ребенком были предоставлены самим себе, своей судьбе, расположению звезд над головой и приливам раскалывающего голову полнолуния. Тщетно взывать было к людскому хору, оставленному на далекой равнине, к закону кесаря и к еще более холодному и неверному свету бесконечно удаленных звезд. Получалось, что никто и никому в этой ситуации ничего не был должен. Учителя в ответ на Юрьевские опасения сразу сворачивали разговор и растворялись в уличной толпе.

И вот двадцать лет спустя оказалось, что Юрьев спешил, сам того не зная, на randevу с эпилогом той позабывшейся истории, вытесненной на задворки сознания. Отсюда, из гор, со стороны жениха — а точнее, со стороны знающих его односельчан, — дело выглядело следующим образом.

Щек привез откуда-то молодую жену и поселился с ней в хате на горе. Их нечисто видели в селе. В тех редких случаях, когда они спускались вдвоем за покупками, рассказывают, что Иван всегда вел ее за руку. В разговоры с односельчанами вступал один Иван. О его семейной жизни нельзя было сказать ничего определенного, тем более не знал никто о каких-то его особых намерениях. Женщина, если не с тачкой камней, то с мешком на плечах, словно выносливая гуцульская лошадка, прущая в гору, здесь привычное дело. Что-то знали обо всем и ужасались на словах только в далекой Марусиной школе, — ей удалось как-то переправить небольшое письмецо бабке, для которой с отъездом внучки померк последний свет дня за окном.

Как и обещал, роды у жены Иван принял сам. Позднее выяснилось, что Иван завел отдельную ученическую общую тетрадь, в которой описал для человечества и сопроводил собственными поясняющими рисунками принципиальную схему устройства женского организма, используя для этого свою жену в качестве наглядного пособия. О появлении у Ивана ребенка здесь узнали только по развешенным однажды, как флаги на горе, детским пеленкам, а уж потом от самого Ивана во время ежеутренних его походов в село за молоком. Надо полагать, юное и недоразвитое Марусино тело не смогло вырабатывать грудное молоко в нужном количестве, если вообще оно у нее появилось. Походы Ивана, однако, продолжались недолго. Вскоре пеленки на горе исчезли так же внезапно, как появились. Покуда в селе сообщали, что к чему, и пришли наконец с милицией, устанавливать что-либо достоверно было уже поздно. Иван объяснял, что ребенок докучал ему в последнее время своими криками, мешал спать, а потом взял ни с того ни с сего да и умер. Он показал место под развесистой грушей рядом с хатой, где закопал ребенка. Милиция и понятые подозревали, что ребенок мог покинуть белый свет не без помощи родителя, но заводить дело, назначать экспертизу было для милиции слишком хлопотным, не говоря о том, что подобное дело могло сильно подпортить отчетность по району, даже если бы удалось раскрыть и

доказать факт детоубийства. Кто-то в результате мог потерять свою должность, если не в милиции, то в местном руководстве. И поскольку Иван в показаниях не путался и твердо стоял на своем, от его немотствующей отупевшей жены добиться каких-либо показаний не представлялось возможным — цветочный горшок мог бы больше рассказать, а свидетели отсутствовали во все, уголовное дело возбуждать не стали. Составили акт, припугнули на всякий случай Ивана — и покинули хату на горе. Через несколько дней Мария оставила Ивана навсегда и возвратилась в родное село. Никому не известно, пытался ли Иван вернуть ее, куда-то, во всяком случае, он время от времени исчезал.

Внешне он заметно постарел после ухода жены, но по-прежнему был крепок телом. Занимаясь как-то травосбором на окрестных склонах, юрьевский дядя повстречал его загорающим на лесной поляне. Иван был наг, но ничуть не смутился и легко повел с дядей разговор на вполне нейтральную тему. Дядю поразило тогда его атлетическое сложение.

Вскоре Иван вырыл на горе рядом со своей хатой пруд и запустил в него рыбу. Берег пруда он выложил речными камнями, поднятыми на гору Марией в начале их совместной жизни и сложенными ею в пирамидки на его участке. Рыбный пруд понадобился Ивану для кошек, которых он держал теперь не менее полдюжины, не считая котят. Зимой не успевающая вырасти за лето рыбешка вымерзала в нем, и тогда он вынужден был спускаться, как прежде, раз в несколько дней за молоком в село — теперь уже для своих кошек.

Однажды, поссорившись с зашедшим к нему на огонек гостем, он ударил его ножом, точнее, заточенным обломком спортивной рапиры, позднее найденным в его хате при обыске и задержании. На этот раз Ивана доставили в райотдел милиции, затем поместили в районный психдиспансер, но продержали недолго. Несколько месяцев спустя он вернулся в пустую хату к своим отощавшим за время его отсутствия кошкам. После того случая охотников проводить его, а тем более ссориться с ним более не находилось.

Спускаясь в село, Иван охотно вступал в беседы с односельчанами, но возникавшие споры всегда вел по касательной к теме, так что в несколько приемов сбивал с толку и запутывал неискушенных сельских полемистов, выставяя их на посмешище перед слушателями. Еще и поэтому отношение к нему в селе было по большей части заглазное.

То были странные времена пандемии всенародных прений, когда, казалось, сама природа зашевелилась и поползла из-под корневищ собственных растений, выставяя на кон вчера только обученные речи креатуры, еще с боками в комьях приставшей глины и ртами, полными камней, настоятельно требуя их устами своей доли участия в исторической жизни людей. Есть точка зрения, что Карпаты — молодые горы. Может, так ко всему происходящему здесь и следовало относиться — как к тектоническому процессу.

После поражения в бурной предвыборной президентской кампании — не вышедшей, впрочем, за пределы небольшого отрезка железной дороги и Богом позабытого местечка в горах, — Иван Щек вдруг сник, осознав, что не овладеть ему престолом Украины и ее стольным городом, основанным, не исключено, кем-то из его славных предков, если верить фамилии.

Теперь каждое воскресенье его можно было видеть на паперти сельской церкви, поскольку — в числе других — ему прекратили выплачивать пенсию. Деревенские женщины раз в неделю жалели его и подавали кто сколько мог, чаще едой, потому что какой-то частью своих душ они были все же повернуты к своему Богу невзирая на все тяготы жизни на этой вздыбленной древним неудовольствием, унавоженной телами и засеянной костями их родни, скудной — и такой неожиданно праздничной, искупленной участием земле.

Наутро, заслышав спозаранку шум на кухне и в прихожей, Юрьев с женой поднялись, чтоб проститься с торопящимися на работу хозяевами. Сами они собирались уехать полуденной электричкой. Дядина жена завела их на кухню и указала на выставленные на столе ответные гостинцы, отказавшись от которых не было никаких ни сил, ни возможности. Судите сами: консервированные белые грибы со сливочными подпалинами на шляпках, погруженные в рассол и увеличенные выпуклым стеклом банки, варенья из душистой лесной ягоды, хрящеватая тушонка, утопленная в застывшем белоснежном смальце, и большой полиэтиленовый мешок травяного сбора из десятков карпатских трав и соцветий, собранных дядей каждая в положенный ей срок. Отнекивающийся Юрьев, насильно сунутый головой в распахнутый кулек, будто токсикоман, сразу потерял дыхание от концентрата лета, от затолканного в прозрачный куль сушеного луга — смущенный и обезоруженный жестом грубоватой родственной щедрости, позволяющей дарить нечто такое, чему нелегко подыскать точное название.

Громко стукнула входная дверь, и на пороге прихожей возникли дядя с оцинкованным ведром в руках, в накинутом поверх пиджака шарфе, и его сын, выдыхающий пар из-за плечей отца, — оба взбодренные инъекцией утреннего заморозка. Они выходили на двор обиходить подсвинка в сложенном ими кирпичном сарайчике. Это он, свинтус — подспорье и почти что член дядиной семьи, — подавал в сумерках голос, когда вчера вечером Юрьев с женой возвращались с прогулки.

Прошание с родней прошло в ускоренном, отчасти даже бравурном темпе, осадив в душе смутное, теплое и одновременно виноватое чувство, чем-то напоминавшее отбродившие, умершие дрожжи. Ощущение такого послевкусия, во всяком случае, осталось почему-то у Юрьева.

Наскоро умывшись, позавтракав и наотрез отказавшись от выпивки, Юрьев с женой перешли в гостиную, куда дядя позвал их. На столе разложено уже было несколько стопок фотографий изображениями вниз, идентичных, как карточные колоды. Отдельно лежали туристические проспекты и прочая полиграфическая продукция. Дядя прохаживался по комнате. Теперь на нем надеты были отороченная мехом безрукавка и войлочные белые сапожки. Дядя потрогал рукой батарею отопления, в комнате от силы было градусов пятнадцать. Надев очки, он снял показания с градусника за окном и занес их в прикрепленный на стене разграфленный лист. Юрьев поинтересовался: зачем? Вместо ответа дядя извлек из ящика серванта несколько общих тетрадей, заполненных погодными записями. Уже много лет им велся дневник погоды, куда он заносил ежедневные показания температуры за окном, сопровождая их иногда короткими замечаниями, например, когда выпал снег или град, и когда прошли дожди и какой силы. По нему легко было сосчитать количество погожих дней в месяце или сравнить один год с другим в погодном отношении, но главное, синоптический метод позволял отставному лесничему расподобить дни, нашарить их слабый пульс, обнаружить в их смене пусть хотя бы метеорологический смысл. К тому, что это занятие ему интересно, дядя ничего не мог добавить. Судя по всему, это была созданная им для собственных нужд натурфилософия отчаяния — практика отслеживания симптомов того тревожного новообразования, что зовется у людей временем, помогавшая ему как-то справляться с потоком жизни на протяжении последних полутора десятков лет.

За дневниками последовала очередь фотографий. Это были кипы поеденных химикалиями и подернутых вуалью отпечатков с пленок, снятых в туре по победившей островной социалистической стране. Похожим образом тропические красавцы и красавицы, сходя с тропы размножения и соперничества, утрачивают свои полосы и яркую расцветку, успокаиваясь в колышущейся серости чередующихся приливов и отливов. То же происходит с людьми, у которых по мере нарастания усталости от жизни блекнет постепенно радужка глаз.

Но дядя-то, глядя на отпечатки, по-прежнему видел все отснятое в цвете! Это Юрьев оказывался вынужденным дальтоником, о чем беспристрастно свидетельствовали снимки.

Разговор не клеился. Юрьев включил сначала диктофон, затем выключил и больше не включал. Уже сидя в поезде, Юрьев понял, что дядя остро нуждался в его помощи, той помощи, которую он не сумел ему оказать. Да и как это было бы возможно? Дяде его хотелось не рассказать что-то, что он знал, но, наоборот, самому узнать, что именно он знает: чем является тот ворох пережитых им впечатлений и накопленных сведений, добытых на протяжении долгой жизни? Неужто смысла в них не больше, чем в той пачке любительских черно-белых снимков 9×12, призванных удостоверить факт туристической поездки на остров Свободы в одна тысяча девятьсот каком-то советском году? Он желал, и стремился, и всячески избегал одного и того же — ему страстно хотелось получить разъяснение и отпущение грехов без суда и оценок, оставаясь в человеческом мире. Возможно ли было помочь ему в разрешении его неразрешимого пасьянса? Вероятно, не более чем помочь дереву сойти с места, на котором оно выросло.

Перед Юрьевым сидел старший брат его матери, в чьем теле похоронено было глуще знание огнестрельных ранений, знакомство накоротке с голодом, отнимающим рассудок, когда сфинктер уже не держит, а от прикосновений на опухшем теле остаются топки побелевшие вмятины, не собираясь выпрямляться, будто время для него уже остановилось. Внутри себя этот человек еще помнил, как болтался на броне танка, пристегнувшись ремнем и страшась смерти под гусеницами, во время последнего марш-броска на Вену, когда танкам был отдан приказ не останавливаться, — пытаюсь заснуть и забыться в таком положении. Слово осколки, сидящие в теле, лишённые средств их передачи факты, которые сознание стремится упрятать, как дерево следы ненастий в своих годовых кольцах. В тридцать третьем на Украине семья их выжила благодаря корове. Еще весной тридцать второго их отец откуда-то знал, что будет голод. Каждый день он носил с маслобойни отработанный жмых, сколько мог унести. После трудоемкой обработки, размягчающей его, жмых годился в корм корове. Вся семья, подчинившись железной воле отца, трудилась все лето над переработкой жмыха — малейший брак мог нанести вред коровьему пищеварению, и тогда прощай молоко и вместе с ним жизнь семьи. Всю страшную зиму тридцать третьего отец спал в коровьем хлеву. Поперек двора натянуты были им веревки с подвешенными жестянками, бутылками, худыми жестяными ведрами и прочими грохоталками, заслышав шум которых вся семья обязана была выскакивать на двор с громкими криками, вооружившись чем ни попадя и подымая невыносимый гвалт. Так на коровьем молоке выжили все десять детей, братьев и сестер, младшей из которых, матери Юрьева, исполнилось той зимой пять лет — как раз тогда, когда на улицах стали появляться трупы крестьян, пришедших в городишко умирать из окрестных сел со своими женами и детьми.

Никогда так не глуха в человеке интуиция смерти, как в сорок лет.

Юрьева все еще занимал вопрос «откуда?» — его дядю уже только «куда?» В вагонном стекле перед глазами Юрьева мелькало по-детски безутешное дядино лицо в проеме ванной, залитое слезами, которые он безуспешно пытался скрыть, стыдясь их, перед самым выходом из дому. Только отделившись от них стеклом, уже трясаясь на обратном пути со спящей на плече женой, Юрьев не столько даже постиг, сколько отозвался телесно, собственными железами ощутил разъедающий смысл этих слез.

По скрипучему снегу дядя проводил их до станции. Пощипывал за щеки морозец. На платформе толпились люди, направляясь кто в райцентр, а кто в областной город. Мало кто ехал с пустыми руками, большинство нагружено было нечеловеческих размеров поклажей. Выделялась русскоговорящая группка из нескольких человек, мужчин и женщин, с упакованными горными

лыжами — кто-то прощался, кого-то провожали, шумно разливая водку по одноразовым пластиковым стаканам. Льющаяся с неба, словно сепия, и растворяющаяся мыльная серость дня придавала всему происходящему ирреальный характер черно-белой фотографии. Юрьева преследовал узнаваемый резкий запах провятеля.

Поезд запаздывал. Дядя сказал, что это дело обычное.

Юрьев с удивлением заметил только теперь, что вся станция размалевана была чьей-то щедрой кистью, будто агитпункт. В глаза лезли лозунги: «Щека — президентом!», «Папа Щек», «Право, сила, порядок — Щек!»

«...дыр, бул, щыл...»

Неожиданно дядя дернул Юрьева за рукав:

— Вон он стоит.

— Кто?

— Да Щек же!

В десятке шагов от них на платформе внятно разговаривал с кем-то мужичок в ушанке с торчащими в разные стороны ушами, в телогрейке и валенках, с парой котят на руках и жестяным бидоном у ног. Юрьев ни за что не узнал бы его без дядиной подсказки. Щек рассказывал о вымерзшей рыбе в пруду и о том, у кого берет молоко для своих котят и кошек. Повстречавшись с буравчиками его глаз, глядящих поверх неряшливой, сектантской какой-то бороды, Юрьев вдруг понял, что с самого момента их появления на станции тот за ним наблюдает и разговор со своим знакомым ведет только для отвода глаз, ссылаясь тем временем волевым усилием овладеть недающим-ся воспоминанием, ускользающей связью между ними двумя. И, кажется, по взгляду Юрьева Щек почувствовал, что он не ошибся, что где-то они встречались и что чужаку известно о нем нечто такое, что обеспечивает ему преимущество перед ним покуда неясного свойства. Он отвел глаза несколько в сторону, продолжая наблюдать за чужаком искоса и готовясь дать отпор, кем бы тот ни оказался.

В Юрьеве разыграл ненадолго азарт, вскоре, впрочем, погашенный доводами рассудка, ленью, еще чем-то, наконец просто нежеланием изменять позиции следопыта, принимая позу участника, отдающую к тому же поганым душком «журналистского расследования». Слишком много малых трудностей и экстравагантных неловкостей повлек бы за собой перенос отъезда, скажем, еще на день. Да и нуждалась ли в отвлекающих подробностях, в переписывании близящаяся к своему завершению, уже закончившаяся фактически история?

Их бесы обнюхались, ангелы-телохранители за плечами переглянулись. Пора было ставить точку.

Она не заставила себя ждать. Между гор показался, будто обрубленный лопатой червь, железнодорожный состав, состоящий из тепловоза и четырех покореженных вагонов. Подхватив вещи, народ повалил на дальнюю третью платформу, куда прибывал закарпатский поезд. Обернувшись, Юрьев успел заметить удаляющуюся спину Щека, спустившегося в этот день с горы с котятами и молочным бидончиком, чтоб потереться на станции о людей, так и не пожелавших разглядеть в нем своего президента.

Юрьев расцеловался с дядей, жена его тоже, и они полезли вместе со всеми на приступ ближайшего к ним тамбура. При этом Юрьев слегка направлял и подталкивал перед собой жену, одновременно ограждая ее от толчков сбоку и в спину.

Нескольких событий или, точнее, сведений о событиях все же недостает пока в этой истории, похожей на раздвоенный змеиный язык, чтобы она смогла наконец прийти к своему естественному завершению. Более уместным, может, было бы сравнение ее с расщепом царпающего бумагу стального, похожего на женский торс, пера, но такие перья уже навсегда вышли из употребления — заодно с чернильницами, перочистками, пришивными белыми воротничками и многим дру-

гим. Люди обречены умирать не в тех странах, в которых родились, даже если всю жизнь они не трогались с места.

Первое из сведений до такой степени нарочито и несуразно, что его только и можно принять к сведению. Города то выдавливают людей из себя, будто обмылки, то тянут их в свои сны, преследуя по всему свету. Покидаемый Юрьевым город был как раз из таких, наделенных женским характером, любящих послать нечто вдогонку. Накануне отъезда Юрьев столкнулся на его улицах с миниатюрным учителем физкультуры из той школы, где училась Маруся и где они вместе работали, и с которым за последние два десятка лет они не повстречались ни разу. Физрук оказался председателем торгового кооператива, возившего из Польши товары и продававшего их на стадионе, превращенном теперь в вещевой рынок. Юрьева восхитила новость, что несмотря на все перемены последних лет школьный директор удержался на своем посту. Бывший физкультурник слегка удивился интересу, проявленному Юрьевым к судьбе Маруси Богуславской, но виду не подал и, изобразив припоминание, бойко рассказал о ее дальнейшей участи. После возвращения в село и бабкиной смерти Маруся долго прожила одна в полуразвалившейся хате. Покуда в прошлом году на ее голову не свалилось наследство из Америки. Она не стала строить, а купила сразу большой дом со всей обстановкой, в котором и живет теперь, по-прежнему одна, из дому почти не выходит, односельчане видят ее редко.

«Какой бред!» — подумалось Юрьеву. «Морковь с косой, темница, терем...» Вышестоящий кто-то намылил шею волокитчикам из небесной канцелярии, так что вынуждены были спустить, наконец, на землю гонорар за Марусины сочинения. Видать, нагоняй инстанции получили серьезный, потому что они же, надо полагать, подстроили Юрьеву эту встречу на улице — с известием, что расплата, мол, с его ученицей произведена и долг, дескать, погашен, искупления пока не состоялось, а вся постановка проведена по платежной ведомости в качестве «творческой неудачи».

Хотя это вполне могла быть и плата за право на либретто, в котором излагалась бы история обручения сельской школьницы с отпрыском древнерусских князей и последовавшей гибелью необыкновенного ребенка. Американцы.

Юрьев поспешил распрощаться с осторожным и осмотрительным в выражениях учителем физкультуры. Ему запомнилась его маленькая ручка и выражение на лице, как у агента похоронного бюро. У Юрьева до отъезда оставались считанные часы, а ему предстояло еще переделать тьму дел.

Другое известие полгода спустя почерпнуто было им из газет — о неожиданном наводнении в Карпатах в разгаре лета. Дозвонившись до родителей, он узнал от них, что центральная часть того поселка в горах, в котором проживал его дядя, затоплена, но вода не подымалась выше порогов и окон первых этажей да и держалась недолго. Наибольшее неудобство, что дяде с сыном пришлось поднять на несколько дней в квартиру поросенка, — хвала Богу, квартира у них на втором этаже. А в остальном можно считать, что все обошлось.

В Юрьеве это известие пробудило воспоминание забывшегося наводнения 69-го года в тех краях, на следующий год после введения войск в Чехословакию. Тогда залило все Прикарпатье и были жертвы. Город, в котором он тогда жил, превратился в остров. Вода вступила на его улицы, края города опустелись. Как во сне, вода текла поперек проезжей части, переливаясь из затопленного парка в городское озеро. Девчонок из их класса, живущих в окраинных девятиэтажках, приходилось перевозить на лодках, чтоб они могли сдавать экзамены. Садясь из окон первых этажей в лодку, они задирали и без того коротенькие, вошедшие в моду мини-юбки и демонстративно повизгивали, привлекая к себе внимание одноклассников, которые перетаптывались на суше, дожидаясь, чтоб проводить их в школу. За фасадами домов видно было, как бурая вздувшаяся лента реки стремительно пронесит мимо, поигрывая ими, будто спичками в пальцах, вырванные с корнем деревья, бревна, раздутые коровьи трупы, пустые бочки, раз-

нообразный хозяйственный хлам. Это была текущая с гор речушка, которая в другое время легко переходилась вброд, местами — не снимая штанов. Было весело и жутковато. Где-то сидели люди на крышах. Летали вертолеты. Из-под Киева переведен был авиадесантный полк для спасения людей. Вода держалась почти месяц.

Позвонив родителям в другой раз, уже в конце лета, Юрьев неожиданно узнал, что дядя умер. Родители собирались ехать на его похороны. Инфаркт — в районную больницу доставили мертвое тело. Это произошло меньше чем через месяц после злополучного наводнения. Последний летний месяц, начавшийся с наводнения в горах, заканчивался смертью лесничего. Подъем воды вымыл грунт, обнажил его корни, и он упал, как падает старое, грузное дерево, которому больше не за что держаться.

Следующей ночью Юрьеву приснился сон. Ему снился кабан в серых яблоках, поджарый, с нежно-розовым рыльцем. Кабан в его сне беспокоился — его тревожили звуки где-то хлещущей воды, рокот валунов в отдалении, отчетливо нарастающий непонятный шум. Его насторожило появление сырости под ногами, поднимающей испражнения с пола и вскоре уже щекочущей брюшко. Люди думают о себе во время наводнений — спасают свои семьи, забывая чаще всего открыть защелку хлева, им просто не до этого, их можно понять. И тогда свиньи, коровы, козы поднимаются, как люди, на задние конечности, опираясь передними о стенки хлева, — в смеси чувств ужаса и надежды, в позе, напоминающей позу молящихся, ожидая, пока все прибывающая, поднимающаяся вода вместе с последним бляньем, мычаньем, хрюком не отнимет у них их последний шанс.

Юрьеву продолжал сниться этот запертый — чувствительный, ухоженный, с фривольно завернутым хвостиком — кабан, стоящий на задних ногах, изо всех сил тянущий вверх голову и раздвоенные копытца. И он чувствовал во сне, как студеной вода плещется, щекоча его небритое, покрытое трехдневной щетиной горло, и ласкает его задранный вверх подбородок.



Жизнь проливается, как вода...

* * *

Красные, с черными сучьями, сосны
плачут, и слезы на иглах повисли,
мокнет трава, дело близится к осени,
и отсырели случайные мысли.
Только что било в нас солнечным током
в сети высокого напряжения,
только что яростной силы потоком
были пронизаны все воплощенья.
Жизнь моя, жизнь, из пределов к пределам,
кончиком нерва припасть к Абсолюту,
все, что назначено, переделав,
в точке застыть и запомнить минуту,
и из сухого огня сотворенья,
рвущего с треском души сухожилия,
жар остудить в мокрых листьях сирени,
молча устать и оставить усилия.
Дождик сечет, омывает минувшее,
молча в остатке сухом заблуждается.
Тихо, не плачь и не жалуйся. В сущности,
жизнь наша в водах и зарождается.

Отзыв

О. Ч.

О как я понимаю вас,
до слез, вдруг брызнувших из глаз,
когда меж стрехой и строкой
нить ссучена живой тоской:
в ней дождь, и ведро, и темно,
и сбудется, что суждено,
и смолоду вечерний свет,
как вешний след, вишневый цвет.
Порок? Но в чем же тут порок?
Порог? Пожалуй, в каждый срок.
Срока огромные. Трясет
страну. А тот же ход работ.
Работа сеять и пахать,
работа печь, стихи писать,

работа огурцы солить,
работа бражничать, и жить,
и видеть утренней росой,
как птица тянет по косой,
уходит, зябко ежась, тень,
и будет полноценный день.
А тот, кто кровник и двойник,
к прозрачной пустоте приник,
меж небом маясь и умом,
его возьмем с собою в дом,
слегка добавим маяты
и отогреем у плиты,
накормим и положим спать,
дадим блокнот — блокнот марать,

а сами тихо выйдем вон,
чтоб дом обжил получше он,
большой, и малый, и любой,
где урожден и где живой.
И вот однажды, в некий час,
когда я понимаю вас,
у человечества в крови
больной восстанет ген любви.

Тот род единственный восстания
приму на площади Восстания
в зареванный морковный час,
когда я думаю о вас.
Минуют сроки. Все пройдет.
А что без нас произойдет —
открой страницу сорок пять,
прочти. И будешь знать опять.

* * *

Жизнь проливается, как вода,
туда и сюда, сюда и туда,
струится под дверь, под порог, под лоток —
легкий поток под тяжелый каток.

Струенье живого дождя, обождая
явление тирана, борца и вождя,
даст слабому силы и, раны омыв,
прольет сокрушительно-нежный мотив.

Вода, голубое ведро H₂O,
ценою не стоит почти ничего
в ненастье и ведро, почти задарма,
и небо, и небо чисты от дерьма.

Я жизнью умоюсь, и жизнью напьюсь,
и с жизнью собою соединюсь,
и благо, как влага, и в нечет, и в чет
слезой из глазницы ручьем протечет.

Наш организм состоит из воды
на девять частей, на одну — из беды,
и девять несут в океан мировой
беду, как ребенка, вперед головой.

* * *

Сливочное, теплое и желтое —
дерево, и детство, и яйцо.
Проступает ласково и шелково
молодое в зеркале лица.
Сарафан, корзинка и вязание,
скрип под пяткой голой половиц,
бьют из подсознания в сознание
жест невольный или взмах ресниц.
Девочкой босой, простоволосою
прыг из дома в яблоневый сад,
гордая, упрямая, с запросами,
только яблоки в зубах хрустят.
В росную траву и оком в небо,
вниз сосками маленькая грудь,
кто он, тот, кто рядом был и не был,—
все равно, не важно, кто-нибудь,
кто-нибудь, послушай, время близко:
дерево, и детство, и яйцо —
подступает тайно материнство,
девочка ступает на крыльцо.

* * *

Не открывайся, дитя,
 защити свою голую шейку не локтем, но словом и взглядом.
 Впиться, шутя,
 каждый захочет, кто рядом, с голодной слюной и в слюне скрытым ядом.
 Противоядие, знай,
 в тайне, в серебряных трелях, что льются серебряным горлом.
 С ранней зари допоздна
 звук и звучание жизни над смертным молчанием пробуй, и пробуй, и пробуй.

* * *

Вот смотри: акулье мясо —
 штука нежная какая,
 между тем тебе известно,
 что за птица эта рыба.
 Или вот людская масса,
 напирая и толкая,
 с чувством злобы повсеместной
 жить готова за спасибо.
 А соседка удалая,
 заполошная, в навозе,
 плод выращивает тонкий,
 чтобы жизнь себе украсить.
 Пес ее, давясь от лая,
 враз смолкает, если возле
 видит мелкого котенка,
 и дрожит от отчей страсти.
 Ты, дитя мое, все то же:
 нежное, а зубки острые,
 и разрушить и построить —
 неумеха и факир.
 Все в гармонии, положим,—
 люди, ангелы и монстры.
 Потерпи — и Бог откроет,
 как устроен этот мир.

* * *

В три часа закричал петух.
 На крыльцо деревянное вышла.
 Одинокий огонь потух.
 Ночь темна. Никого не слышно.
 Одиночества тонкий звон
 за ушами, в ушах — послушай:
 я и тьма, я и свет, я и Он,—
 и молчания не нарушу.
 Я замру, как замрет вода,
 в озеро наплывая с дождями,

чтоб потом уйти навсегда
 в почву с ягодами и грибами.
 Почва что? Я на ней стою
 и глазею в пустое небо,
 в дом войду, и воды поплюю,
 и засплю эту невидаль-небыль.
 А назавтра, найдя в обед
 петушиный в бульоне гребень,
 я поймаю призрачный след
 и вернусь в реальное время.



Какими вы не будете

РАССКАЗ

Свежий номер нашего невероятно популярного еженедельника выходил в свет по субботам. Уик-эндом суббота в те годы не считалась, кажется, лишь на два часа раньше можно было «слинять» в этот день с работы. Мы же являлись на работу по субботам часа на два, на три, а то и на все четыре позже условно принятого времени, поскольку накануне, после подписания номера, покидали редакцию далеко за полночь.

По субботам практически не работали. Листали только что вышедший номер, отыскивали ошибки и опечатки разной степени скандальности, ругали начальство, травили анекдоты и, разумеется, выпивали. Или же собирались выпивать в каком-либо из близлежащих заведений общепита. Некоторые из них, между прочим, весьма престижные и модные в те времена, проходили у нас под кодовыми названиями: «парткабинет», «шахтерка», «библиотека». Впрочем, библиотекой, помнится, в конспиративных целях называли баню.

Не так уж велики были наши газетные заработки, и не такими уж пьяницами мы были, нас пленяла богемность репортерской, литературной жизни, а обходилась она по тем временам совсем недорого. Тем не менее денег время от времени на соответствие ремарковско-хемингуэвским героям не хватало. Не близок был гонорарный день, и главбух Борис Степанович, помнивший еще светских львов из «Русского слова», отказывал в кредите. Мы сидели на редакционном диване, сквозь стеклянную перегородку провожая расчетливым заискивающим взглядом проходящих в буфет сотрудников. Кредитоспособным, по разным соображениям, не выглядел из них никто. Зрелище вечерней Москвы за огромным редакционным окном обостряло ощущение напрасно проходящей жизни. В момент критического его всплеска с дивана поднимался Володька Шуцков, человек несомненного дарования и еще более явного цинизма, и, оглядев нас с насмешливым презрением, направлялся в дальний конец огромной, как в американских редакциях, комнаты.

Там за желто-голубым зыбким столом, подвернув под себя ногу, сидела и грызла копейную школьную ручку Наташа Галимон. Серые листы газетного срыва, исписанные размашистыми каракулями, свидетельствовали о напряженном творческом процессе. Точно так же, как пухлый обтрепанный блокнот, набитый вчетверо сложенными листками, записками, программками, приглашениями, служил признаком неутомимой репортерской деятельности.

На присевшего в круглое современное кресло Шуцкова Наташа поглядывала с недоверием, ожидая подначки и розыгрыша. Язвительный шуцковский ум и ехидный характер были ей хорошо известны. Игривостью, однако, не светились нагловатые шуцковские глаза, напротив, сквозила в них неподдельная грусть, подобная благородному отчаянию.

Закурив «Шипку», Шуцков по-мужски обаятельно прищурился от едкого дыма.

— Кранты, Наталья...

Галимон встрепенулась. По свойству природы она постоянно ждала от жизни неприятностей, болезней, катастроф и как-то парадоксально успокаивалась,

то есть приходила в согласие с самой собой, только получив известие об очередном несчастье.

— Кранты,— повторил Шуцков, избегая более выразительного слова.— Рассыпали повесть...

Где рассыпали и кто совершил это необратимое пагубное действие, можно было не уточнять в те времена обострившегося противостояния культуры и начальства. О том же, что повесть принадлежит талантливому перу Шуцкова, опять-таки не имело смысла распространяться. Благородная мужская скорбь позволяла рельефно вообразить все художественные и гражданские достоинства этого никогда не существовавшего в природе сочинения.

Горькое сообщение, как всегда, благотворно подействовало на Галимон. Привело ее в состояние благородного жертвенного воодушевления. Воспламенило духом безотказного сострадания.

— Как же ты теперь, Володька? — подавленно пролепетала Наташа. Подобно всем мифологическим героиням великой эпохи, она обладала способностью переживать чужие горести с большей полнотой выражения, нежели свои собственные.— Как же ты теперь?

Наташину отчаянию не было предела. Все ее идеальные представления о подвижничестве литературного труда, о высшем его предназначении и о неизбежном столкновении с чиновной грубостью бюрократов получили неожиданно конкретное подтверждение.

Шуцков глубоко затаился «Шипкой», сосредоточенно помолчал, будто бы и впрямь прикидывая безрадостные варианты своей злополучной судьбы.

— Не знаю, Натали... Не имею представления...

В обреченном его тоне Наташа расслышала тем не менее нечто вроде намека на возможность конкретного, хотя и обманного выхода из положения. Во всяком случае, неосознанно потянулась к своей скорее школьной, нежели дамской сумке, болтавшейся на спинке современного стула. Шуцков сделал вид, что не заметил этого безотчетного порыва. Помолчав с полминуты, он раздавил окурок в пустой картонной коробочке из-под скрепок.

— Сама понимаешь, Натали, душа просит...

Почти счастливая от того, что может хотя бы отчасти утолить душевную муку, Галимон поспешно вытряхнула на пластиковую поверхность стола свои мятые, жеваные-пережеванные пятерки и трешки.

— Вот все, что у меня есть...

Шуцков, преодолев желание тотчас сгрести их в карман пиджака, деликатно собрал по одной и разгладил четыре бумажки. Одну из трешек благородным жертвенным жестом пододвинул к хозяйке.

— Это уже лишнее, Натали, мне ведь много не надо. Сама знаешь... В среду верну.

Он вставал и, не выдавая походкой ликования, направлялся в тот конец редакционного пространства, откуда приятели почти с эстетическим волнением зрителей наблюдали за его безотказным номером.

— Володька,— вдогонку Шуцкову Галимон протягивала ветхую трешку,— возьми еще!

Почти умоляюще звучал ее голос.

Шуцков, однако, не оборачиваясь, предупреждающе-гордо подымал руку.

— Лишнее, Галимон. С меня довольно, ты меня знаешь.

На оставшуюся трешку Наташе предстояло просуществовать до ближайшего гонорара. По меньшей мере еще неделю. Об этом со смехом вспоминала спустя полчаса компания, пировавшая в «шахтерке» или в «парткабинете». Впрочем, беззлбно вспоминала — слишком уж легко, прямо-таки со счастливой готовностью покупалась Наташа на все провокации и розыгрыши, чтобы за глаза уязвлять ее злословием. Тем более что строились каверзы не на одной только Наташиной доверчивости, беспрестанной юмористической эксплуатации подвергался ее пламенный энтузиазм. К началу моего рассказа, то есть к ранним шестидесятым, он давно уже превратился в анахронизм, однако в сере-

дине пятидесятих еще полновластно владел молодыми сердцами. Многими из них, выражусь более осторожно.

Во всяком случае, в те годы никого не удивило, что хрупкая арбатская девочка, даже не попытавшись хоть как-то устроиться в Москве, презревши «грошовый уют» и причитания интеллигентной мамы, отправилась по распределению в районную газету степного шахтерского поселка. На попутных полуторках и в распутицу, и в мороз, и в пыльную донбасскую жару моталась Наташа по командировкам; в скрежещущей клетке, набитой здоровенными хмурыми дядьками-шахтерами, сквозь адскую духоту и ливень подпочвенных вод спускалась в забой, штреки и лавы, среди полуголых, покрытых угольной въедливой пылью, яростно матерящихся навалоотбойщиков отыскивая «хороших» людей. Ранняя хрущевская оттепель стояла на дворе, вызвавшая потепление и в газетном безличном стиле, уже не просто железных передовиков требовали редакторы, но именно «хороших» советских людей. Должно быть, не нашлось бы во всем необъятном Союзе газетчика, которому эти установки до такой степени пришлось бы по душе. В сущности, все люди представлялись Наташе «хорошими». Простыми советскими хорошими людьми, творящими чудеса, достойными если не очерка, то по крайней мере теплой зарисовки на газетной полосе. «Доверие к людям», которое было в те годы пафосом официальной пропаганды и в некотором роде указанием сверху, вдохновляло многих литераторов, газетчиков, режиссеров и сценаристов. Но вряд ли кто из них воспринял это благое начальственное пожелание с такой совершенной адекватностью, как Галимон. Надо ли уточнять, что эта святая вера в людей не могла не сделаться в редакции предметом розыгрышей и подначек.

Тот же Шуцков, вернувшись из «парткабинета» в состоянии благодушного вдохновения, любил подсесть к Галимон с выражением крайнего сарказма на своей и без того иронической, чтобы не сказать блудливой, физиономии.

— Что за подлая у нас профессия! Мотаешься, спешишь, на край света прешься! И главное, ради кого? Ради дебилов, не способных оценить даже твоего эпитета, не говоря уже о том, что у тебя на душе! Подручные партии! Подручные, между прочим, бывают у палачей! Вот кто мы такие. Режем кого прикажут! А за повышенный гонорар матери родной не пожалеем.

При этих беспощадных словах Галимон вспыхивала:

— Володька! Перестань! Ты же на самом деле не такой!

Трепливый журналистский скепсис причинял ей искреннее страдание. Что же касается цинизма профессии, то она его не замечала, поразительным образом отделяя трескучие передовицы, лживые международные комментарии, подловатые фельетоны о бездельниках, карабкающихся на Парнас, от того служения «хорошим» людям, которое она считала своим призванием и обязанностью.

Вообще-то восхищение мастерами, специалистами, особенно теми, кого называют людьми мужественных профессий, по определению свойственно молодым журналистам. И тем более журналисткам. Сколько моих сверстниц и соучениц, взяв интервью у какого-нибудь землепроходца-геолога или у физика-теоретика, досаждали своим мужьям и женихам упреками: ну почему ты не такой? В том смысле, что почему не улетаешь на полгода в далекие экспедиции, не бродишь по тайге с рюкзаком и кайлом и не поешь у костра мужественные песни об оставленной в Москве любимой? Или отчего не склоняешься над каким-нибудь, Бог его знает, синхрофазотроном, упрямо сжав узкие бескровные губы?

Тем не менее со временем такая непомерная восторженность испаряется из журналистских сердец и статей, уступая место трезвой, а иногда и занудливой проблематичности. То есть желанию разобраться во всех на свете профессиональных конфликтах и дрызгах, теориях и завиральных идеях, сделавшись в каком-то смысле большим геологом, чем все на свете землепроходцы, и большим физиком, нежели любые теоретики и экспериментаторы.

Что касается Галимон, то она восхищенную преданность своим героям сохраняла столь же надежно, как и свое девичество. Геологи и ученые, разумеется, внушали ей должное уважение, но истинный трепет, переходящий в молитвенный экстаз, она испытывала перед летчиками. Это объяснялось причудами ее газет-

ной судьбы: после шахтерской районки она поработала еще в каком-то нечерноземном издании, потом в «молодежке» заполярного городка, откуда возвратилась в Москву только в результате крупозного воспаления легких с многочисленными тревожными осложнениями. В Москве кто-то из бывших соучеников определил Наташу в полувоенную газету «Советская авиация», некогда известную под названием «Сталинский сокол». В этом на державную ногу поставленном издании Галимон пережила свои звездные часы. Только о летчиках полагалось в ней писать — пилотах, штурманах, испытателях, ветеранах и курсантах, все они покоряли Наташу своим мужеством, преданностью долгу и еще верностью в дружбе, которую Галимон по обыкновению своего поколения, а также по крайней ограниченности своего любовного опыта ценила больше всего на свете.

Впрочем, любовь одарила ее своим вдохновением тоже под гул авиационных моторов. Я узнал об этом апрельским ярким днем, когда Москва со счастливым изумлением, с восторгом обожания встречала первого космонавта. По замыслу нашего ответственного секретаря — в нашем популярном еженедельнике особые замыслы, ходы и повороты появлялись на все случаи жизни, в том и сказывалась наша свобода, что всем свыше спущенным указаниям, предначертаниям и командам мы находили якобы творческое привлекательное воплощение, — итак, в соответствии с задуманным «ходом» вся трасса следования героя была поделена между нашими репортерами. Каждый обязан был воспеть народный энтузиазм именно на своем участке города. Скажем, между улицей Строителей и Ломоносовским проспектом. Потом все эти вдохновенные свидетельства должны были слиться в единый эпический репортаж.

Нам с Наташей достались соседние участки, потому после проезда кортежа, возбудив в себе приличествующий восторг (по юношеской искренности я считал способность возбудиться неизменным свойством профессии), мы вместе двинулись к метро «Университет». Шли просторными зелеными дворами, возникшими среди свободно распланированных корпусов, казавшихся в те годы провозвестием четкой, лаконичной архитектуры. И вообще обещанием каких-то новых неясно волнующих времен. Возле одного из этих краснокирпичных домов с едва заметными остатками излишеств Наташа остановилась и со смущением особой доверительности показала мне на три окна на девятом этаже под самой крышей.

— Там! — Будто заветный пароль она мне сообщила, не требующий пояснений и комментариев.

По тону я догадался, что речь идет о чем-то лично важном, но все же выразил некоторое недоумение:

— Там кто-то живет?

— Ну, конечно, — закивала Наташа, счастливая от того, что может поделиться заветным знанием.

Оказалось, что за этими окнами проживает известный летчик-испытатель И., герой, самый молодой в СССР генерал, интеллигент, собиратель книг и вообще настоящий человек. Человек с большой буквы. Наташа брала у него интервью для авиационной газеты и могла в этом лично убедиться.

Я, конечно, догадался, что Наташа влюбилась в знаменитого летчика восторженной платонической любовью школьниц и молодых журналисток. Тем не менее потаенно-счастливый взгляд на далекие, недоступные окна не показался мне такой уж блажью, я сам в эти годы во всякую свободную минуту старался пройти под окнами, одному мне на целом Арбате светившими особенным светом.

О Наташином признании смешливым своим приятелям я ничего рассказывать не стал, они сами догадались о ее возвышенном увлечении, заметив, как часто по всякому поводу старается она обратиться за интервью или просто за откликом к прославленному И.

— Это почтовый ящик тринадцать девяносто? — спрашивала Наташа своим слегка занудным голосом трубку редакционного телефона посреди гулкого, как в бане, редакционного галдежа. — Это КБ девяносто? Позовите, пожалуйста, Владимира Александровича. Кто спрашивает? Скажите, что Наташа Галимон.

Благородную эту слабость к героям коллеги, естественно, тут же превратили в повод для новых розыгрышей и подначек.

— Вот кретин! Вот уроды! — занятый решительной правкой репортерских заметок, в сердцах восклицал Эдуард Белоцерковский, сам неистовый репортер, хваткий интервьюер и романтический пьяница.

Его редакторское злословие, особенно по утрам, «после вчерашнего», никого не удивляло и не настораживало, а он между тем распался:

— Нет, какие же все-таки идиоты!

— Ты про кого это, Эдька? — не выдержав, сочувствующим, заранее страдающим тоном спрашивала Наташа.

— Да про летчиков, про кого же еще, — чуть небрежно и уже спокойно отвечал Белоцерковский, удовлетворенный сознанием, что ловушка все же сработала.

Выдержав секундную паузу, он начинал добродушно хохотать, радуясь осуществившейся покупке, будто удачной фразе. При всем своем пьянстве, мнительности и несносном характере натурой он был, несомненно, творческой. То есть призрачность, выдумку, поворот хода ценящий порой дороже каких-либо осязуемых благ.

Не расслышав в нашем ржании злорадства, Наташа тоже принималась беззвучно и счастливо смеяться. Юмор был ей отчасти свойствен, однако высокая патетичность природы несколько мешала его проявлению. В любой ситуации Галимон изначально была готова к потрясению и лишь потом, потрясения не испытав, соглашалась улыбнуться. И даже подшутить над самой собою. Этому способствовала, разумеется, атмосфера нашего чрезвычайно популярного еженедельника. В «Советской авиации», откуда ее не закрыли в связи с сокращением армии и прочими хрущевскими мирными демаршами, Галимон общалась в основном с немолодыми майорами и полковниками, людьми основательными и солидными. У нас же под вошедшей в моду вывеской собралась веселая голытьба, вольная и нечиновная газетная братия. Как весело мы жили в те ранние шестидесятые! Собирались в редакции ни свет ни заря и расходились лишь поздним вечером, понукаемые бдительными отставниками из вневедомственной охраны. И при этом еще мотались по городу, по фабричным цехам и строительным котлованам, по лабораториям, мосфильмовским павильонам и конторам самого разного типа — от сталинских еще министерств до новейших современных внешнеторговых объединений. И в командировку провожали друг друга, будто на фронт или на Северный полюс, распивая последнюю бутылку прямо на перроне или же в кафетерии у самого выхода на взлетную полосу.

Никакая газетная гонка, никакое сочинение репортажей прямо в номер, никакая нервотрепка, вымучивание оптимистических заголовков и занимательных заметок, неизбежно сопровождающие выпуск каждого номера, не примиряли нас с обыденностью, не истощали нашего кипучего воображения. А потому, едва сдав сто раз переписанную, переклеенную вдоль и поперек статью, мы нередко тут же принимались сочинять какую-нибудь капустную стенгазету к тридцатилетнему юбилею приятеля, мистифицирующее объявление или же пародию на чрезвычайно уважаемого в редакции по причине высочайшего его самозащиты музыкального критика.

В газете, как и в жизни вообще, я уже тогда это заметил, ценят тех, кто ценит самих себя. К Наташе Галимон это наблюдение относится как бы в обратном смысле. При всей самоотверженной вере в свое призвание воспевать «хороших» людей каждую заметку она производила на свет путем нечеловеческого напряжения, исписывая размашистым и одновременно как-то подетски неустоявшимся почерком пачки листов шероховатого газетного срыва. Подозреваю, что мешала ей в сочинительстве все та же страдающая положительность ее психического устройства, отягощенная к тому же неизбывной романтической приподнятостью. Наташу все время тянуло на красоту в духе послекультавого комсомольского энтузиазма, к тому же она страдала от несоответствия самых заветных своих метафор и эпитетов духовному совершенству избранных ею героев. Все они представлялись ей

светочами бескорыстия, самоотверженности, верности и прочих несбыточных совершенств.

Как говорится, идя навстречу потребностям ее патетической природы, Галимон поручили вести в нашем еженедельнике рубрику, посвященную всякого рода природным катаклизмам, землетрясениям, кораблекрушениям и, естественно, борьбе с ними. Из тассовских сводок, из провинциальных газет должна была она выуживать сообщения о разгуле стихий, о мужественном им противостоянии и придавать этим заметкам оригинальную, захватывающую форму.

С чувством высокой гражданской ответственности отнеслась Наташа к этому поручению. Переписывала от руки информацию об извержениях, тайфунах, пассатах и муссонах, досадуя иной раз на деловую скупость сообщений агентств.

Ей хотелось красочных подробностей, ярких чувств и больше всего — самопожертвования и верности. Понятно, мы решили соответствовать этим ожиданиям. Раздобыли чистый лист с грифом телеграфного агентства и сочинили на нем фальшивое тассовское сообщение о совершенно неслыханном и невозможном происшествии. О том, что новейший по тем временам реактивный лайнер Ил-18 совершил вынужденную посадку на склон Эльбруса. Заметка была выдержана в суховатых агентстских тонах, сквозь которые пробивались то там, то здесь непривычно восторженные, даже чувствительные похвалы героическим пилотам и их чувству товарищества.

В стопе прочих «тассовок» данная самодельная легла на галимоновский стол. Как всегда, подвернув под себя ногу, Наташа изучала хронику мировых катаклизмов, катастроф и крушений и по невольному газетному недомыслию досадовала на отсутствие особо сенсационных событий. Даже ей в эту минуту недовольство редактора представлялось большей бедой, нежели страдания оставшихся без крова граждан каких-нибудь неведомых Антильских островов. Что поделаешь, такова специфика этой профессии, так часто приходящей в противоречие с общепринятой моралью.

Исподволь, каждый из-за своего стола, мы следили за безнадежно изучающей «тассовки» Галимон. Стоп — цыплячья Наташина рука, разочарованно откладывая агентстские листки, застыла в воздухе. Затем вернула подхваченный лист на место. Подперев кистями свою немного овечью, унылую физиономию, Наташа еще раз перечитала заметку. Потом покорность судьбе сменилась на ее лице чрезвычайным возбуждением. Лихорадочные пятна запылали на бескровных Наташиных щеках. Так переживается удача, успех, в который давно уже надоело верить, а еще точнее, долгожданное совпадение прекрасной мечты с опостылевшей реальностью.

Снабдив заметку собственным, надо думать, более живым и романтическим заголовком, Галимон побежала к заместителю ответственного секретаря.

Это был хороший мужик и отличный газетчик, однако натура грубоватая и прямолинейная.

— Ты что, Наталья? С ума съехала? — усмехнулся он, пренебрежительно смахнув героическую заметку в классическую редакционную корзину. — На склон Эльбруса и У-2 не съедет, а не то что Ил-18. Ты на аэродроме-то хоть раз бывала? Болван какой-то писал!

— Думай, что говоришь! — вспикела Наташа, оскорбленная подозрением в своей авиационной некомпетентности, но еще более — сомнениями в героизме славных авиаторов.

Она вытащила заметку из позорной корзины и направилась с ней к редактору, в кабинет которого в другой раз опасалась войти даже по вызову. Редактор, как всегда в таких случаях, от категорического решения уклонился.

— Не делайте из меня третейского судью, — такова была его любимая отговорка.

Вполне разумная, как понимаю я теперь.

Потрясенная этой уклончивостью, этим неверием в лучшие свойства человеческой природы, Галимон металась по редакции в поисках сочувствия. Надо заметить, что в моменты, когда требовалось встать на защиту каких-либо высоких

идеалов, весьма отдаленно связанных с ее собственной жизнью, Наташа из сущности покорного и робкого превращалась в личность неприятно заносчивую и агрессивную, в тоне ее, обычно неуверенно-просительном, возникали высокомерные, оскорбительные нотки. И уж, как водится, чем доказательнее звучали аргументы скептиков, не верящих в такие чудеса и подвиги, как посадка огромного лайнера на крутой кавказский склон, тем язвительнее объяснялась она с самыми терпеливыми из них.

Кому-то, судя по всему, настоящему профессионалу, знатоку авиации, может быть, даже заслуженному летчику, она нагрубила по телефону, хотя минутой назад, набрав его номер, умоляла не сердиться на нее за беспокойство. В конце концов образумила Наташу лишь еще одна липовая «тассовка», в которой тем же безлично пародийным стилем публиковалась поправка досадной ошибки, случившейся по вине редакции.

Во-первых, не Ил-18, а ГАЗ-2, во-вторых, не самолет, а грузовик-полторка, в-третьих, не на склоне Эльбруса, а на склоне Сукиного пригорка, в-четвертых, не приземлился, а потерпел аварию.

Галимон долго вчитывалась в это издевательски подробное уточнение, вопреки обыкновению всепрощающая улыбка так и не появилась на ее оскорбленно-унылом лице. Как видно, на этот раз восхищение мастерством авиаторов коснулось таких тайников души, что поправка, не менее фальшивая, нежели сенсация, представила истинной катастрофой.

Все эти воспоминания о розыгрышах, на которые неизбежно покупалась наша окрыляемая энтузиазмом внештатная сотрудница, могут создать впечатление, что в редакции нашего чрезвычайно популярного еженедельника ее третируют. Между тем это далеко не так. Не скажу, что ее любили, но относились тепло и по-дружески. Особенно мужчины. Причем все без исключения: и отзывчивые добряки, и, что характерно, патентованные циники. Вот с женщинами дело обстояло сложнее. Некоторые из них, кого трудно было заподозрить в злобности натуры, явно не испытывали к Наташе симпатий. Во всяком случае, фыркали, когда речь заходила о снисхождении к ее одиночеству и нелепости.

Я долго не понимал, в чем тут загвоздка, и склонен был сделать далеко идущие выводы относительно моральной неточности женской природы вообще. Но потом сообразил, что, будь наша нескладная восторженная Галимон мужчиной, самые высокомерные наши сотрудницы не отказали бы ей в сострадании и в душевном тепле. А так женским подспудным инстинктом безотчетно боялись они хотя бы мимолетного, хотя бы в незначительных мелочах отождествления с этой нелепой старой девой и потому бессознательно ее отвергали. Лишь бы только не дать повода подумать — никому и самим себе в том числе, — что она из их племени, из их рода. Впрочем, повторяю, в принципе к Наташе относились хорошо. Хотя бы как к постоянному объекту шуток и розыгрышей, без которого в обществе станет не то чтобы скучно, но как-то пусто. Опять же чисто газетная ее безотказность пользовалась спросом. То есть каких-либо выдающихся, ответственных заданий ей не стоило поручать, но что касается рутинных, формальных, соответствующих моменту, из которых на девяносто девять процентов состоит журналистика, то тут на Галимон вполне можно было положиться. Особенно придав какому-либо чисто советскому, тупому заказу, спущенному с неведомых партийных верхов, ореол чрезвычайно нужного людям журналистского подвижничества. Бессонную ночь могла Наташа провести в аэропорту «Домодедово» ради идиотско-романтической идеи начальства задать пассажирам только что приземлившимся дальневосточных самолетов вопрос о чувствах, с какими встречают они предстоящий съезд партии.

Господи, на какую хреновину тратили мы лучшие силы нашей молодости!.. Одно утешение, что на сотворение летучих, скоропалительных праздников их тоже хватало.

Один из них остался в памяти как день рождения Наташи Галимон. Вот тоже интересно: сколько юбилеев, приемов, премьер, вернисажей, по-новому выражаясь, презентаций посетил я за свою длинную и разнообразную утомительную газетную жизнь, но вот вполне заурядную, казалось бы, редакционную вечеринку в

комнатушке возле Кропоткинских ворот помню отчетливее всех холявных застолий, слившихся в сознании в одну надоедливую хмельную церемонию.

Проживала Наташа в огромной коммуналке, образованной, так надо понимать, из апартаментов какого-нибудь пречистенского адвоката или приват-доцента. Комнатка ее возле кухни в прежние времена предназначалась, видимо, для прислуги, а в начале шестидесятых представляла собой убогое — даже для тех небогатых времен — обиталище неприкаянного, безытного интеллигента. Колченогий стол, покрытый клеенкой, тахта в виде обыкновенного матраса, поставленного на кирпичи, дрожащая допотопная этажерка с небогатым выбором книг в картонных суровых переплетах, типичных для издательской практики сороковых — пятидесятых. В принципе в этой комнатушке даже двоим людям средних габаритов было тесно. Гостей же набралось не менее тридцати человек. В основном, конечно, наша редакционная бражка, младшие литературные сотрудники, внештатные репортеры, практиканты, стажеры. Две-три Наташины однокурсницы накрывали на стол, «девчонки» вполне семейного вида, одна еще, помнится, работала в отделе писем «Красной звезды» и писала заметки, как уверял Эдик Белоцерковский, под рубрикой «В зарубежном родном гарнизоне». Но самое удивительное, что студенческий Наташин праздник посетили мужчины ответственно благополучного вида, тоже товарищи по факультету, сделавшие к этому времени неплохую карьеру, дошедшие до степеней ответственных секретарей, заместителей редакторов, а то и сотрудников известного дома на Старой Плясади.

— Это ЦК партии? — временами звонила одному из них Наташа по щербатому, захватанному редакционному телефону. — Позовите, пожалуйста, Вадика Торшина...

Если не ошибаюсь, Вадим Александрович Торшин, в то время референт товарища Черненко, лично пришел поздравить Наташу с тридцатилетием. Остались в памяти редкий в те годы териленовый костюм и полосатый галстук, который можно было увидеть разве что на элитном фарцовщике из «Националя».

Почему запомнился этот вечер, не затерялся в калейдоскопе многих других дней рождения, юбилеев, свадеб, прочих семейных праздников, устроенных на самую что ни на есть широкую ногу? Может быть, по случаю небывалого веселья? И то правда, хотя в других домах бывало и веселее... Было хорошо, сердечно, вольно — вот в чем дело. Давно известно, что счастье — это состояние, не зависящее впрямую ни от материальных условий, ни от достижений, так сказать, духовного свойства. Деньги, слава, продвижение по службе — это все вещи вполне конкретные и планомерно достижимые, а счастье вдруг нахлынет теплой волной иной раз в совершенном противоречии с обстоятельствами момента... Впрочем, в тот раз обстоятельства к этому накату весьма располагали. Разумеется, не угощением, не винегретом, не студенческой колбасой, не водкой в граненых стаканах и не румынским вином в дешевых рюмках, а взаимной приязнью, так сказать, братством по профессии, которую все мы, даже циничный Володька Шуцков, воспринимали исключительно с романтической стороны, и еще предощущением каких-то неясных, но волнующих перемен в нашей судьбе. Забегая вперед, сообщу, что данное ожидание, как уже не раз случалось в отечественной истории, оказалось иллюзорным. Ничем ослепительно радужным наши судьбы так и не озарились. Что не умаляет, естественно, того ощущения счастья, какое охватило нас в тот вечер в галимоновской каморке. Помню, усевшись кое-как по периметру скудной жилплощади — кто на зыбком стуле, кто на корявой табуретке, кто на приволоченной Бог знает откуда скамье, — мы зажгли на пиршественном столе толстую стеариновую свечу и решили, что при ее неверном мигающем свете каждый по кругу прочтет свое любимое заветное стихотворение.

Может, кто не поверит, но в те времена оно нашлось у всякого гостя. «Девчонки» из числа сокурсниц декламировали Пастернака и Есенина, Эдик Белоцерковский, не стесняясь традиционности, — Симонова, я без намека прочел «Некрасивую девочку» Заболоцкого, чем доставил хозяйке глубочайшее удовлетворение, всех удивил Вадим Александрович Торшин превосходным знанием мудрого и лукавого Омара Хайяма. Кстати, я потом не раз замечал у близких к верхам ответственных работников эту слабость к Хайяму, Рудаки, Низами и прочим пиитам Востока: должно быть, в их насмешливой снисходительности

есть нечто отвечающее уклончивому мироощущению политиков. Володька Шуцков со страстью и искусством тогдашних всесоюзно обожаемых витий обрушил на приятелей поток эффектной прихотливой версификации:

— Я сегодня дождь!..

На восторженные требования назвать автора этой симфонии образов колхозающе усмехнулся, давая понять, не слишком, правда, определенно, что истинным его призванием является отнюдь не писание заметок и репортажей, пусть даже и не вполне казенного содержания. Я, впрочем, уже знал, что в компаниях и особенно в общении с девушками он, как говорится, пользуется служебным положением. То есть выдает за свои стихи непризнанных гениев, нестриженных и небритых, хотя иной раз аккуратно причесанных и даже трезвых, которые в те годы толпами шатались по редакциям. Между прочим, по-настоящему талантливые среди них тоже попадались. Именно их опусы и присваивал с честолюбивым расчетом Шуцков: вкус у него, ничего не скажешь, был отменный.

Расхотелись за полночь, ничуть по этому случаю не тревожась: жили мы в те годы в пределах пешей досягаемости, и пошляться по ночной Москве никому не было в труд. К тому же и такси в те времена покорно причаливали к тротуару, стоило вам только поднять руку. Господи, ведь и о том, куда ехать, вы сообщали лишь в тот момент, когда по-хозяйски устраивались на сиденье! Впрочем, это все попутные рассуждения. Теперь же речь о том, что при воспоминании об этом наивном и бедном празднике теплели самые прозаические сердца. Разумеется, Наташа в последующие годы пыталась повторить это вдохновенное братское творчество — ничего из этого не получалось. Менялась время, и мы менялись вместе с ним, не улавливая в воздухе пленяющей воображение новизны, становились суше, прагматичнее, корыстнее. Идея общего дела не то чтобы полностью сошла на нет, но в очередной раз обнаружила свою призрачность, да и несомненное некогда братство обернулось обыкновенным учрежденческим приятельством. Выпить на скорую руку, позлословить, составить какой-нибудь незначительный профсоюзный комплот — не более того. Из всех нас только Наташа Галимон сохранила в полной неприкосновенности энтузиастическое бескорыстие первых лет нашего еженедельника. И то сказать: ей не грозило ни продвижение по службе (она так и оставалась внештатным сотрудником с временным удостоверением на обычном затертом бланке), ни улучшение жилищных условий, ни командировки за рубеж... Кому и сохранять энтузиазм, как не лицу, ни к каким благам не причастному! Кому еще хранить верность заветам незаметно рухнувшего братства, как не человеку, ничем на свете, кроме этого братства, не располагавшему?

Что и говорить, понятия о верности у Наташи были самые ортодоксальные. Она, например, подвергла остракизму родного отца за то, что он давным-давно, еще в годы Наташиной юности, разошелся с ее матерью и женился на другой женщине. Буквально в течение десяти лет Наташа с ним не разговаривала и не виделась. Мы пытались на нее воздействовать, терпеливо объясняли ей, что жизнь взрослых людей — вещь сложная, запутанная и, как говорится, неоднозначная. Мужчина, любивший другую женщину, по одной лишь этой причине не может считаться монстром. Наташа и слушать не хотела. Из-за ее непримиримости неверный папаша представлялся коварным, сластолюбивым Казановой. А когда через несколько лет принципиальная дочь все же согласилась на контакты с отцом, мы были поражены тем, каким скромным, застенчивым и милым оказался этот невысокий человек, похожий на гоголевского персонажа, на уездного чиновника или старосветского помещика. За совершенную некогда измену дочь казнила его ревностью и мелкими подозрениями, которые он сносил безропотно и стоически. Впрочем, все это случилось много позже, а в ранние шестидесятые Наташа в совершенном соответствии с комсомольской этикой считала нарушение верности непристойным грехом. Почти преступлением.

В ответственные командировки Галимон не посылали, подозревая, что несолидным своим видом она скомпрометирует наш еженедельник перед каким-нибудь провинциальным сановником. Между тем ездить она любила, особенно на Украину, откуда родом был ее отец, выбившийся

в столичные преподаватели бухгалтерского учета из сумских или полтавских крестьян.

Так вот, однажды из командировки на Западную Украину, в окрестности Косова и Коломыи, Наташа вернулась в состоянии счастливого возбуждения. Сначала мы не придали этому никакого значения. Откуда только Наташа не возвращалась, потрясенная благородством и бескорыстием «хороших» людей! И в заметке под названием «Чудейский доктор», повествующей о подвижнической деятельности земского, как сказали бы прежде, врача в закарпатском селе Чудей, не разглядели ничего удивительного. Галимон и нас самих, приведись ей сочинять заметку о нашем еженедельнике, совершенно искренне изобразила бы бессребрениками-подвижниками. Через некоторое время, однако, незаметно выяснилось, что заметка о докторе являет собой новый этап не только в Наташином творчестве, но и в личной ее жизни. Вернее, в той умозрительно-платонической сфере, которая служила ей личной жизнью.

Короче, Наташа, очевидно, влюбилась в этого закарпатского сельского эскулапа, последователя героев Антона Павловича Чехова и Михаила Афанасьевича Булгакова. Примерно раз в неделю, стесняясь, заплетая ногу за ногу, Галимон прибредала в кабинет заместителя ответственного секретаря и как бы невзначай клала ему на стол много раз правленную, исчерканную, вклейками и вставками украшенную заметку:

— Сашенька, посмотри!

Сашенька, уже упомянутый здоровенный грубоватый мужик, поклонник спорта, собаководства и материалов о деятельности советских разведчиков в тылу врага, наспех пробегал Наташино сочинение.

— Откуда репортаж? Из Закарпатья? Из глубин народной инициативы? Молодец, Наталья!

Географический фактор непременно учитывался в центральной печати, заметкам с периферии предоставлялась зеленая улица. Безотчетно пользуясь этим преимуществом, Галимон ухитрилась несколько раз протащить имя обожаемого доктора на страницы нашего издания. Писала репортаж о плотогонах, о народных косовских мастерах и в середине текста незаметно соскальзывала в дорогую ее сердцу Чудей, в сельскую больничку, где проводил свои чудодейственные операции завладевший ее сердцем земский врач.

— Слушай, Наталья, — опомнился наконец замсекретаря, — я это уже читал! Побойся Бога! Ты что, про своего доктора сагу, что ли, сочиняешь?

Оскорбленная, Наташа гордо удалилась. Справедливость замечания только растравляла ее авторское самолюбие. И спустя какое-то время тема закарпатских чудес вновь оказывалась на каком-либо из редакторских столов. Кажется, одну из отвергнутых у нас заметок она пристроила аж в «Красную звезду», через ту самую подругу, которая вела там рубрику «В зарубежном родном гарнизоне». Если кто-нибудь из наших авторов или просто гостей, каких в те годы захаживало к нам немало, ненароком, вскользь упоминал о Западной Украине, о Львове или Мукачево, не говоря уж о Коломыеи или Косове, Наташа расцветала или же покрывалась гимназически жаркими алыми пятнами.

— Ах, вы тоже там были! — восклицала она. — Я же на эти места молюсь!

Впрочем, молитвы эти на газетные страницы больше не изливались. Мы объясняли это действием своих классических подначек, но кое-кто из редакционных наших дам намекал на нешуточную любовную драму. Причем не такую уж придуманно-платоническую, как привыкли мы полагать, а вполне реальную, житейскую. До сих пор мне трудно в это поверить, однако вспоминаю, что речь шла о вполне нормальных отношениях между мужчиной и женщиной, хоть и мимолетных, естественно, об обещании приехать в Москву и, быть может, даже изменить судьбу... Не знаю, не знаю, все возможно. Хорошо помню лишь то, что в определенный момент Галимон как бы замкнулась, поутратила былой свой энтузиазм и даже свою легендарную веру в «хороших» людей.

— Какое ты все-таки барахло! — говорила она кому-нибудь из совсем уж обнаглевших грубых шутников. Которые, само собою, объясняли дурные изменения в ее характере причинами известного физиологического свойства.

Однажды в начале лета в страшной коммуналке у Эдуарда Белоцерковского собралась летучая компания. В соответствии с бабелевским определением Белоцерковский был «евреем, похожим на матроса», с тем, однако, уточнением, что матросом он действительно некогда был. Точнее, курсантом военно-морского училища, а потом даже некоторое время мичманом и лейтенантом. От еврея-адмирала доблестный Северный флот был избавлен знаменитым хрущевским сокращением вооруженных сил. Хотя вряд ли Белоцерковский дослужился бы до такого чина, учитывая его пьянство, чрезмерное даже для русского матроса. Причем какое-то картинное, с непрременными историями, скандалами, попаданием на глаза начальству, а также в милицию. Впрочем, не зря существует мнение, будто пьяниц Бог бережет, самые скандальозные эскапады Цирка (таково было редакционное прозвище Белоцерковского) чудесным образом заминались, сходили на нет. Один раз, правда, дело всерьез запахло керосином. Пьяный Цирк вышел гулять с собакой, собака кого-то облаяла, прохожие возмутились, Цирк облаял прохожих, короче, его замели в отделение. Дело осложнилось тем, что как раз недели за две до этого был снят с работы редактор той большой газеты, приложением к которой служил наш еженедельник. То есть снятие редактора было следствием еще более драматических перемен, произошедших в стране, по сути, государственного переворота, — подозреваю, что данное отступление уведет меня далеко от темы. Суть же в том, что Цирк сдуру принялся размахивать в участке редакционным удостоверением. Милиционеры же, довольные тем, что имя всесильного редактора не представляет для них ни малейшей угрозы, с особым удовольствием заперли Белоцерковского в холодную. И слава Богу, что еще не слишком помяли при этом.

Не знаю уж, каким образом, но о задержании Цирка первой узнала Наташа Галимон. Подняла на ноги всех наших начальников и сама первой в половине двенадцатого примчалась в отделение, расположенное в кривых и порочных сретенских переулках, неподалеку от Центрального рынка, поставлявшего ему, разумеется, основной контингент клиентов — жуликов и проституток. Характерно, что идеалистическое Наташино заступничество, странное и косноязычно-вдохновенное, способствовало освобождению Цирка не меньше, нежели умелое, заискивающее интриганство нашего ответственного секретаря, который ненавязчиво и задушевно поведал о многочисленных своих милицейских связях, от Москвы до Баку.

Быть может, из чувства смутной благодарности Цирк и вспомнил о Наташе под завязку нашей незапной летней пьянки. Хотя вряд ли... Скорее все из той же пьяной охоты к розыгрышам и покупкам.

Пили по случаю появления в Москве одного из бесчисленных Цирковых друзей по училищу и флоту. Демобилизованный из ВМС, он подался в науку, на исследовательских судах обошел все моря и океаны, «бананы ел, пил кофе на Мартинике» и при этом еще писал о своих приключениях полунаучные книги, беззастенчиво подражая Конраду, Станюковичу, Конецкому и всем прочим маринистам. При всех своих впечатлениях от Гонолулу и Фиджи внешне Валька Фаломов — так звали знаменитого соученика — оставался простоватым и даже диковатым мужиком. В том смысле, что никакой ответ всемирности, пальм, атоллов, ревущих сороковых не читался в его заурядной внешности, в грубо покрасневшем от водки лице, в рассыпавшихся на прямой пробор волосах, в шелковой тенниске, которую он купил на барахолке где-нибудь в Танжере в память о невоплотившейся мечте послевоенного модника.

В ритуале выпивки наступил неизбежный момент испарения первоначальной эйфории, когда надо либо бежать за подкреплением, либо расходиться, либо предпринимать какие-то усилия для обновления и развития поднадоевшего сюжета.

Остановились на двух вариантах. Цирк отрядил меня, как самого молодого, на Сретенку в гастроном, сам же обещал вызвонить другу-мореплавателю знакому девушку.

— Не красавица, — честно предупредил он друга.

Тот, истомленный морским воздержанием, нетерпеливо махал рукой. Нам, мол, не до разносолов!

— Честно говоря, совсем не красавица,— настаивал Цирк,— как друга предупреждаю: страхолюдина!

Морской волк Фаломов вновь махнул рукой: на что, мол, не решишься ради дружбы.

Самое любопытное, что я, прекрасно знавший круг общения Белоцерковского, даже предположить не мог, что он имеет в виду Наташу Галимон. Настолько в моем представлении не совмещалась она ни с ухаживаниями, ни с флиртом, ни с кокетством, ни вообще с чисто женским предназначением на земле.

В душном гастрономе среди пренебрегающих жарой алкашей я промаялся с четверть часа. Когда по щербатой, чуть ли не винтовой лестнице воротился на Цирков чердак, Наташа уже была там. Надо думать, примчалась она, как всегда, на зов дружбы, ужасаясь предчувствию беды и в то же время неосознанно ей радуясь, поскольку в упоительные моменты счастья и благополучия о ней никогда не вспоминали.

Даже сидя за колченогим Цирковым столом, заставленным пустыми недопитыми бутылками, грязными тарелками с остатками вареной колбасы и блюдцами, утыканными зловонными окурками, Галимон полагала, что речь вот-вот пойдет о чем-нибудь возвышенно-серьезном, о некоей житейской драме, которую она посильным участием сможет хоть на мгновение смягчить.

Жалоб и сетований, мужественных ламентаций и просьб о сочувствии за грязным и хмельным этим столом не слышалось, одни лишь душещипательные и путаные рассказы о морском одиночестве, о тоске по родине, о верности тем, кто, может быть, и ждет, перемежаемые внезапными пьяными восторгами по поводу различных экзотических чудес типа полуголых таитянских красавиц.

— Чистый Гоген! — выкрикивал Фаломов, пытаясь неверной татуированной пятерней восстановить свою прическу в стиле комсомольских пятидесятых.

За вычетом обнаженных таитянок рассказы, несомненно, произвели на Галимон впечатление. Морская мифология оказалась не менее притягательной, чем авиационная. Не сомневаюсь, что приглашение к Цирку Наташа расценивала в этот момент как намек на значительную тему, как встречу с интересным человеком, которая могла послужить основой для душевного материала в нашем еженедельнике.

— Чистый Гоген! — назойливо возвращался к своим океаническим впечатлениям Фаломов и, растопырив руки, демонстрировал нечто внушительное, надо думать, размах бедер у таитянок.

Именно в этот момент Цирк выпихнул меня из комнаты и сам вместе со мной вышел на свою засранную коммунальную кухню. Ночлежкой, Хитровым рынком, развалинами ядерной войны отзывалось это тесное, вонючее помещение какой-то неправильной геометрической формы.

— Побудем здесь,— повелительно сказал Белоцерковский, подталкивая меня к окну, выходящему на глухую, заплесневелую стену.

В этой стадии пьянки Цирк становился авторитарен и капризен.

— Здесь. Так надо.

Только в этот момент я по-настоящему совместил в сознании фаломовскую озабоченность, Цирково обещание вызвонить какую-то женщину и приезд Наташи.

— Ты что? — заерепенился я.— Ты соображаешь? Тебе что, для своего мартроса некого больше позвать?

— Ей это полезно,— настаивал Цирк, якобы дружески, но весьма чувствительно тыча меня кулаками под ребра.— Ты еще мал и глуп... Она меня благодарить будет.

Мы препирались довольно долго. Конечно, моя защита Наташиной чести опиралась, как это ни прискорбно, на тот несомненный факт, что нормальной женщиной я ее совершенно не воспринимал. А Цирков внешний цинизм действительно мог быть основан на нормальном понимании человеческого естества. Но уж больно по-хамски все это выглядело и не благодеянием воспринималось,

а заурядным б...ом, травмирующим всякую чувствительную натуру. Не говоря уж о такой экзальтированной, как Наташина.

— Вот и пора от этого избавиться, — бубнил агрессивно Цирк, зажимая меня в углу между липким столом и корявым, ободранным подокозником.

Тут уж и на мое мнимое целомудрие послышались намеки. Эта ехидная тема время от времени возникала в редакционных кулуарах во время сугубо мужских междусобойчиков по причине моего органического неумения поддерживать казарменные бывалые разговоры. Вообще-то Цирк и сам был до них не большой охотник, интересуясь в жизни больше выпивкой, нежели женщинами. Тем более странно выглядела теперь его забота о Галимон. И смахивала, откровенно говоря, на подначку, переходящую в провокацию, до каких доходят неизменно безудержные любители розыгрышей.

— Доиграетесь! — сказал я в сердцах. — Довыпендриваетесь!

— Она еще благодарить нас будет, — заверил меня Цирк.

В этот момент на кухне появился смущенный и вроде как бы протрезвевший даже мореплаватель.

— Черт его знает что! — признался он растерянно. — Не, мужики, я так не договаривался. Она мне про свою великую любовь рассказывала... Вообще-то я всегда готов. В крайнем случае выпил бы еще... Но она мне про свою любовь... Где-то в Закарпатье, я так понял, в общем, в бандеровских краях. Доктор там у нее, операции при свечах... Про верность... Тут я пас. Я так не договаривался.

Какая-то обида звучала в его словах. Перемежаемая, впрочем, удивленным уважением.

— Главное, нет уверенности, чтобы мне хоть кто-нибудь в жизни был вот так вот предан...

Имела ли эта трогательная верность под собой какие-либо реальные основания или же была всего лишь плодом платонической взвинченности — этого я так и не узнал. Знаю лишь, что критический женский момент, а вслед за ним какое-то нелепое старчество пришли к Наташе до обидного преждевременно. И, должно быть, служили неизбежным продолжением ее нескладной женской судьбы.

Впрочем, если рассуждать менее приземленно, то для роковых необратимых изменений в Наташином характере были и более тонкие и одновременно возвышенные причины.

Где-то в середине шестидесятых под влиянием роковых политических перемен переломилось время, и дух энтузиазма и романтики, вдохновлявший Наташу, мало-помалу выветрился, улетучился. Не сразу, конечно, но необратимо. Еще собирались на перронах московских вокзалов нелепо одетые люди с рюкзаками и гитарами, громко распеваяющие свои самодельные песни, и официальное радио вроде бы взяло на вооружение эту ускользящую романтику: «А я еду, а я еду за туманом...» — вот какие тексты зазвучали в эфире, привыкшем к «Бухенвальдскому набату», однако чувствовалось: все это имитация, инерция, в лучшем случае лужицы, оставшиеся на песке после схлынувшей волны.

Неотвратимые перемены коснулись и богоспасаемой редакции нашего еженедельника. В течение нескольких лет он был как бы островком в необъятном море советской идеологии. Ее пенные валы, само собой, омывали его со всех сторон, однако счастливым образом не захлестывали. Теперь же, словно в отместку за былую осторожность, они накатывали на нас один за другим.

Прозаичнее говоря, началась смена редакторов. Самый первый наш «старик», основатель и создатель еженедельника, прикрывавший своею не то чтобы могучей, но надежной спиной всю нашу вольницу, после неоднократных подкопов и провокаций, после подметных писем за подписью именитых ветеранов партии и войны и вызывов на ковер в дом на Старой площади был наконец низложен и отправлен на пенсию.

Каждый из последующих «шефов» был в своем роде достоин упоминания среди градоначальников города Глупова, настолько мало все они соответствовали редакторскому креслу, соответствуя одновременно, с разной степенью натуги,

требованиям номенклатуры. Интересно, что при абсолютном между собой различии все они единодушно ненавидели ту черту нашей редакции, которая несколько условно называлась студийностью, и настойчиво старались ее искоренить.

Естественно, что Наташа, не занимавшая в штатном расписании никакого самого ничтожного поста, всем им без исключения казалась носителем этого самого подозрительного начала. В самом деле: немолодая уже женщина, ничего не член, зарплаты не получает, ни в каких союзах не состоит, живет, как птица небесная, на гроши редкого гонорара...

Надо заметить, что публиковаться Галимон стала не в пример реже, чем прежде. С одной стороны, наш популярный еженедельник оброс активом энергичных полугодных молодых людей, умеющих быстро и без излишних творческих мук писать обо всем на свете. Во-вторых же, излюбленные Наташины «хорошие люди» тоже не слишком подкупали редакторов. Хорошо, конечно, что они хорошие, но хотелось бы большей определенности в плане их принадлежности к советской элите.

Новые редакторы очень любили советскую элиту, поскольку сами, по своему убеждению, к ней принадлежали. И хотели на страницах подчиненной им газеты видеть не блаженных земских докторов, не старушек из украинских деревень и даже не летчиков, озаренных былой славой, а кого-нибудь, чья судьба именно теперь, буквально в эти дни, отмечена перстом высочайшего предпочтения.

Наташе давали понять, что время требует героя «с более активной жизненной позицией». Иными словами, более успешного, более приспособленного к условиям развитого социализма, с его безудержным враньем и повсеместной показухой.

И, странное дело, Галимон, которая и прежде воспевала строителей прекрасного будущего, спускалась в шахты и лазила на строительные леса, на этот раз заартачилась. Не думаю, что по осознаным идейным соображениям. Скорее из стихийной неприязни к мордатым, одетым в финские костюмы из распределителей передовикам брежневской эпохи. Не то чтобы героини ранних шестидесятых были интеллектуальнее, однако в некоторой романтичности, порой глуповатой, им нельзя было отказать. А для Наташи именно она была первым признаком хорошего человека.

Подозреваю, что Наташа не отдавала себе отчета в том, что энтузиазм ее поколения сошел на нет еще и по естественным причинам взросления. Вчерашние туристы, землепроходцы, счастливые бродяги, любившие встречать Новый год под елкой в лесу, как-никак обзавелись семьями, переехали в какие-никакие отдельные квартиры, хоть и изредка, но все же стали получать интригующие намеки о возможном продвижении по службе.

Одна Наташа ничем не обзавелась, никуда не переехала из своей двенадцатиметровой комнаты для прислуги и не получила ни одного предложения о штатной работе. Осталась тем, кем и была пять, шесть, семь лет тому назад. А ведь ничто так не сохраняет романтической молодости, как пребывание в одном и том же месте в одном и том же положении. Правда, эта молодость все чаще напоминает собачью старость.

Что-то все-таки изменилось в Наташиной жизни. Например, она помирилась с отцом. К этому времени он похоронил уже свою вторую жену, причина рокового конфликта исчезла сама собой, и Галимон перестала избегать своего некогда легкомысленного родителя. Раза два в неделю он приезжал теперь в наш еженедельник, наверх, однако, не подымался, подобно провинциальным жалобщикам и просителям, покорно ждал свидания в вестибюле известного на всю Москву здания под придирчивым присмотром отставников-вахтеров.

В мороз и в дождь так они и общались в казенном вестибюле, словно в больнице или в каком-либо другом режимном учреждении, а в теплые дни отправлялись в ближайший скверик, где садились на длинную садовую скамью — странная пара некрасивых, длинноносых, нелепо одетых людей, рядом с другими более привычными парочками, с солдатами в увольнении, пенсионерами, школьниками, прогуливающими урок, одинокими командировочными, ожидающими киносеанса.

Иногда я встречал их неподалеку от консерватории или от Большого театра. Наташин папа, несмотря на свое финансовое образование, был завязанный меломан, в молодости учился музыке у знаменитого Столярского в Одессе и, по словам дочери, до сих пор недурно пел многие классические арии.

После посещения концертов Наташа приносила в редакцию восторженные заметки, написанные размашистыми каракулями и свидетельствующие о пережитых ею высоких потрясениях. Иначе говоря, об интенсивности ее духовной жизни. Сначала Галимон пыталась пристроить свои концертные впечатления по отделу искусств.

Высокомерные дамы-критикессы еле сдерживались, чтобы не фыркнуть ей в лицо.

— Наташа, дорогая! — с оскорбительной доброжелательностью удивлялись они. — С чего вы вдруг решили написать об этом певце?! У него что, какие-нибудь небывалые достижения? Новая ступень в биографии? Приглашение в «Ла Скала»? Государственная премия? Насколько можно судить, упомянутый вами репертуар не менялся у него лет сорок!

— Ну и что! — упрямо стояла на своем Наталья. — Зато он хорошо поет!

— Но ведь это известно всему свету в течение сорока лет! Поет и поет! Мир от этого не перевернулся! Обычный концерт, каких тысячи! С чего мы вдруг должны о нем писать? Только потому, что Наташа Галимон вдруг узнала, что существует такой певец? Что она, как выражались некогда, обладает способностью пьянеть от помоев?

В алых пятах гнева Наташа выбегала из отдела искусств, оскорбленная не только в авторском чувстве, но еще и в безотчетном сознании, что заносчивая дама из отдела права. Увы, она действительно, по своему обыкновению, восхищалась не столько хорошими музыкантами и артистами, сколько хорошими людьми. Хотя, впрочем, эти качества порой совпадали.

— Наташа! — неслось ей вдогонку из отдела искусств. — Это же не рецензия. Может быть, пустить эту заметку по отделу информации?

Галимон делала вид, что не нуждается в снисходительных советах, однако к столу Белоцерковского все же прибредала.

Саркастический Эдуард заметку принимал, но сначала считал своим долгом потешиться над Наташиной восторженностью.

В итоге заметка появлялась на информационной полосе, среди сообщений о рекордах удоев, о задувке новой домны и о введении в строй автоматической линии, сокращенная до полутора десятков строк, утратившая какую бы то ни было индивидуальность.

Именно тогда в творчестве Наташи Галимон наступил новый период. Она начала сочинять то, что несколько самонадеянно, хотя и в порядке рабочей условности, называла «новеллками». Должен признать, что до некоторой степени вдохновил Наташу на этот литературный подвиг.

Дело в том, что наступивший раньше времени неизбежный перелом женского организма совершенно выбил Наташу из колеи, совершенно ее размагнитил. Она как-то незаметно утратила свой журналистский энтузиазм, свою готовность тащиться через весь город с пятью пересадками ради встречи с «хорошим» человеком, в редакцию приходила, только спасаясь от одиночества. Шаталась по кабинетам, хныкала, дрожащим, рыдающим голосом жаловалась на судьбу. От нее отмахивались, как от приبلудного жалкого животного, одни все же в шутливой, необидной манере, другие — откровенно по-хамски. Есть люди, не переносящие вида чужого несчастья, вздохов, слез, канючанья: оно их якобы оскорбляет эстетически, травмирует их безразличность. Хотя на самом-то деле просто пугает, откровенно говоря. Просто заставляет самих себя вообразить в подобном положении и смертельно испугаться. Не чувствуя в себе сил настоящего деятельного гуманиста, к таким людям тем не менее я себя ни в коей мере не относил. И потому старался, успокаивая прозорливую совесть, хотя бы душеспасительными речами вернуть Наташе некое равновесие.

Получалось неважно. Наташа слушала меня, кивала, всхлипывала, сглатывала слюну, соглашалась со всеми моими резонными и чуть безразличными (ка-

юсь!) доводами и тут же, признав мою совершенную правоту, вновь принималась ныть и всхлипывать.

В ответ я неумно раздражался, хотя прекрасно понимал, что нервный ее механизм пошел, что называется, вразнос и увещевания не в силах этому нелогичному сбою противостоять. И все же именно в те дни, путаясь в надоевших аргументах в пользу душевного возрождения, я набрел на один, и впрямь оказавшийся для Наташи спасительной соломинкой.

Я сказал ей, что для успокоения, для забвения и утolenия печалей, для обретення почвы под ногами ей следует начать писать. И если нет сил на полноценную журналистскую работу, то писать хотя бы для себя самой, что-то вроде лирического дневника, каких-то житейских зарисовок, остановленных душевных состояний.

Справедливо говорится, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Наташа оказалась на удивление плодовитой, каждое утро она приносила в редакцию стопку почти детскими каракулями исписанных листочков, образующих, как оказалось, некий новеллистический цикл. Я просто обязан был, как честный человек, стать его первым слушателем.

Вот тут-то и выяснилось, насколько неподдельным советским человеком оказалась Галимон. Даже в этих своих этюдах-рассказиках, написанных неумелой в литературном отношении рукой ради собственного душевного спасения, она безотчетно следовала всем заповедям социалистического реализма. Причем в самом его лакировочном, псевдооптимистическом понимании. Разумеется, это вновь были рассказы о «хороших» людях, преодолевающих абстрактные трудности, согревающих друг друга теплом бескорыстия, хранящих верность друзьям и возлюбленным. Короче, в каждой своей полустраничной «новеллке» Наташа умудрялась развести настоящую оргию добродетели и благородства. По наивности я бросился разоблачать эту манеру, высмеивал Наташин восторженный романтизм, так противоречащий окружающей действительности вообще и ее собственной жизни в частности. Наташа не соглашалась, спорила, обижалась, выказывала заносчивость, свойственную всем без исключения авторам, которым дают советы. Самое поразительное, что ни один преуспевающий конъюнктурщик не смог бы защищать принципы социального оптимизма с такой настойчивостью, как нищая неудачница, едва-едва ступившая на неверный и условный литературный путь. Точнее, на тропинку. Тут действует, вероятно, тот же самый закон, по которому люди небогатые и невезучие несравнимо больше любят родину, нежели граждане, от рождения преуспевающие, номенклатурные, вкусившие немало от жизненных благ. Может, в том дело, что невкусившим, кроме Родины, нечего любить.

Несколько лет подряд Наташа изводила меня своими «новеллками», а я изводил ее придирками и подначками, так и не научившись почему-то той несерьезной снисходительности к литературным потугам приятелей, которая принята среди газетчиков. И то сказать, ведь именно я подвигнул Наташу на эту неверную, обманную стезю, кому же, как не мне, было нести крест слушателя, наставника и арбитра.

Галимон бессознательно следовала принципу убежденных натуралистов писать, что видит, не доверяясь особо воображению и фантазии, правда, в отличие от них глаз ее обладал особой положительной избирательностью, которую так и не смогли привить родимой словесности идеологи агитпропа. Впрочем, вопреки их указаниям Наташа не считала окружающую действительность раем, просто почти все ее действующие лица представлялись ей чуть ли не святыми. Иногда, правда, прячущими сокровенную доброту под личиной напускного скепсиса и даже цинизма.

И все же, пробегая по диагонали прекрасодушные до слезливости Наташины сочинения, ее заветные впечатления от встреч с «хорошими» людьми, я наткался порой на строки и впрямь волнующие. На картинки, что-то задевающие в твоей зачерствевшей, привыкшей к поверхностным впечатлениям душе. На людей, запечатленных и в самом деле удивительно точно: вот так неумный любитель, осваивая только что купленный простенький фотоаппарат, как-то, помимо воли и отсутствующего мастерства, проявляет порой какую-то неведомую трогательную зоркость...

Да нет, редко были эти строки и странички, совсем редко, терялись в разливанном море сентиментальностей и всепрощающей доброты, но все же были, попадались на свет в порыве как бы в награду за труд снизошедшего озарения...

Наш чрезвычайно популярный еженедельник почти не печатал Наташих «новеллок». Так, разве иногда, в нижнем углу страницы. Зато раза два Наташе удалось прорваться на полосы каких-то ведомственных газет. С одного гонорара она даже купила себе что-то в комиссионке на Герцена — не то свитер, не то кофточку пронзительного канареечного цвета. Нормального женского вкуса к тряпкам Галимон была начисто лишена, а если он и проявлялся вдруг, то в таком вот пародийном, анекдотическом качестве.

Тем не менее мое наставление не пропало даром: под влиянием запойного творчества у Наташи сложилось кое-какое писательское самоощущение, которое время от времени проскальзывало в разговоре. Рассказывая о своих житейских заботах, Наташа невзначай давала понять, что людям, далеким от редакционной иерархии и суеты, она рекомендуется именно литературным работником, автором, пишущим человеком. Уверен, что без какой бы то ни было ривовки, просто из стихийной потребности в самоуважении.

Мы все, бывшие Наташины собратья по некогда чрезвычайно популярному еженедельнику, в те годы самоутверждались чаще всего привычным богемным способом, выпивками и загулами, которые, впрочем, обрели характерные для ранних восьмидесятых размах и солидность. Банкеты, юбилеи, премьеры, просмотры, опять же сопровождаемые банкетами, просто обеды и ужины в том или ином центре так называемой творческой интеллигенции... Помню, как-то поздним вечером сытой и пьяной, довольной собой, острящей и каламбуриющей компанией мы вывалились из садика Газетного клуба на пустынный весенний бульвар: в его перспективе, чуть припадая на правую ногу, брела нелепая, как бы сносимая ветром фигурка. Это Наташа Галимон возвращалась к себе на Гагаринский то ли из консерватории, то ли из Гнесинского, а скорее всего из какого-нибудь совсем непростительного ведомственного музея, где иногда устраивают литературные либо музыкальные вечера с участием малоизвестных, непробившихся артистов. Тех самых, кого Наташа особенно любила.

Движимые хмельной чувствительностью и хмельным же сознанием смутной вины, мы бросились к Галимон, чем немало ее напугали. Впрочем, признав в невесть откуда взявшихся гуляках своих коллег и друзей, Наташа беззвучно засмеялась.

— Я думала, это какие-то... хваты! — потешалась она над своим испугом.

...Постепенное разложение режима, называвшееся перестройкой, ослабление цензуры, еще вчера следившей за каждым нашим шагом, благоприятно сказалось на нашей братии. Некоторые из нас, любившие брать интервью у секретарей обкомов, вдруг оказались крайними радикалами, пустились в обличения и разоблачения. Другие, прославлявшие прежде крепкую советскую семью, не без удовольствия принялись писать о сексуальной раскрепощенности. Третьи нашли себе новую ангажированность в виде национальной идеи.

Наташа ничего этого не замечала. Продолжала сочинять свои «новеллки» о «хороших» людях, встреченных то в поезде, то в профсоюзном доме отдыха, то на концерте никому не известного или же полузабытого скрипача либо пианиста.

И раньше-то их нелегко было напечатать, теперь перестали печатать вообще. В подцензурные времена редактор какой-нибудь ведомственной газеты, изнуренный своей железобетонной тематикой, брал прекраснородушное Наташино творение «на подверстку», чтобы хоть каким человеческим словом оттенить непроницаемую серость своих полос. Теперь же эти полосы пестрели такими «утками», такими жареными фактами и скандальными проявлениями человеческой подлости, что Наташина человечность в лучшем случае производила впечатление унылой опостылевшей добродетели. А чаще и того хуже: воспринималась как бесконфликтность и лакировка действительности.

Короче, Наташу отшивали даже там, где прежде безоговорочно привечали. Иногда при этом страдальчески морщились:

— Ах, как у вас все благостно и сентиментально!.. Сейчас это раздражает. Надо, знаете, потверже, пожестче... Покруче, как выражается молодежь.

В другой раз предлагали написать что-нибудь конкретно обличительное. Например, про культ личности и его наследников.

— Я умею только про хороших людей,— жалобно вздыхала Наташа.

Редактора раздраженно поводили плечами. Уж какие среди крупных советских писателей встречались мастера несокрушимого исторического оптимизма, и то обнаружили в своей палитре достаточное количество траурных тонов. И, как говорится, поспешили не опоздать, отметились на общественно важную тему культа. Отыскивали на своем генеалогическом древе, прежде безупречно большевистском чуть ли не с восемнадцатого века, хоть одного, некогда тщательно скрываемого, пострадавшего безвинно родственника.

У Наташи таких родственников не было. У нее вообще вроде бы никого не осталось на свете, кроме престарелого, но, по счастью, все еще энергичного, жизнестойкого папы. Она принадлежала к тому чисто советскому поколению, которое не то чтобы презирало семейные связи, но пренебрегало ими. Во имя все того же духовного братства, которое воплощалось в школьной, студенческой, в какой-нибудь туристской компании. Родственники, как правило, духовно близкими людьми не бывают. Родственники бывают мещанами — в те годы это было уничижительное, даже оскорбительное слово,— собирающимися раз в год на какое-нибудь семейное торжество, вроде юбилея или просто дня рождения. На этих торжествах полагалось томиться, а после в дружеском, истинно, то есть духовно, родном кругу подтрунивать над старообразными хранителями семейных традиций и их ветхозаветными вкусами.

Дружеский, духовный круг, увы, оказался не таким уж стойким. То есть родственные узы в этом смысле служат не в пример крепче. И меньше разочаровывают, поскольку никогда не налагали на себя ответственного груза моральной одухотворенности.

Короче, родных у Наташи, судя по всему, не осталось. Если, конечно, допустить, что прежде они были. Друзья были, это точно, и такие неверные, насмешливые, типа нас, и другие, более сердечные и надежные. Однако и их разбросала жизнь.

«Девчонки» сделались бабушками и уже не имели возможности часто собираться в двенадцатиметровой комнатке при кухне. Туристы, с которыми она когда-то ходила в походы и встречала Новый год в лесу, стали почтенными докторами наук, некоторые в израильских и американских университетах. Дружба размывается жизнью — вот в чем дело, причем не катастрофическими, а как раз самыми будничными ее процессами. Переездами, переходом на другую работу, повышением или понижением по службе. Семья же каким-то образом ухитряется противостоять этому размыву. Вдруг восстанавливает давным-давно оборванные и уже, казалось бы, несуществующие связи.

Вот и Наташа, по достоверным сведениям, переехала жить к отцу, как бы окончательно с ним помирившись и забыв про его роковое «предательство». Вдвоем они совершали иногда путешествия на Украину или в Крым, где останавливались в каких-то заштатных ведомственных пансионатах. Отдыхая по горячей путевке в одном из них, Наташа осуществила давно задуманную поездку в Коктебель, о котором слышала столько рассказов от нашей лихой бражки, мотавшейся в этот самый знаменитый среди богемы поселок по нескольку раз в год. Практически при каждом удобном случае. Хоть на день или два.

О Коктебеле Наташа, естественно, сочинила «новеллку», упомянув в ней весь набор тамошних чудес: дом Волошина, Карадаг, скалу Хамелеон, похожую на вынырнувшего из воды динозавра. Я был уверен, что кругом этих достопримечательностей и ограничатся Наташины восторги, а потому отозвался о произведении весьма пренебрежительно. Тем более что мне открылись тогда некие мнящиеся перспективы и голова моя была занята только ими.

В очередной раз я остроил о Наташиной способности пьянеть от помоев. Она жутко обиделась, причем больше всего за Коктебель, который, разумеется, никак нельзя было отнести к помоям. Я и не относил, я просто имел в виду галимоновское обыкновение открывать нечто давным-давно открытое, восхи-

щаться тем, чем до нее миллионы пишущих уже успели восхититься, зачастую в тех же самых словах.

Увлеченный упомянутыми перспективами, я покинул наш теряющий популярность еженедельник, без сожаления потеряв из виду немногих оставшихся там старых знакомых. К Наташе это мое «без сожаления», естественно, не относилось, просто она принадлежала к тому бытовому фону моей жизни, какому не принято придавать особого значения. Как неказистому двору, в котором прошло твоё детство, или же кривоватому переулку, где складывалась твоя мало-выдающаяся судьба. Куда они могут подеваться? Я имею в виду двор и переулочек. Но однажды они все же деваются, до них доходит безжалостная рука городских переустроителей и планировщиков, и они в одно прекрасное утро исчезают с лица Земли. Веселенький газон или сквер с фонтаном, возникшие на их месте, способствуют тому, что уже через полгода мало кто из горожан может точно припомнить, что же здесь находилось прежде. Вспоминают лишь некоторые неясные общие контуры. И только в твоей памяти эти исчезнувшие строения разрастаются до масштабов прекрасного, неповторимого, навсегда утраченного мира.

Вот так же случилось в моем сознании и с Наташей. О том, что она умерла, я узнал месяца через два после ее кончины. Никто меня об этом не известил, никто не разыскал. Вполне возможно, что и некому было разыскивать. Как выяснилось, никакой необратимой страшной болезни у Наташи не было. Просто из нее ушла жизнь. Иссякло ее нещедрое, скупое благо. Галимон подвернула ногу, случился не то сильный вывих, не то разрыв связок. Ходить она не могла. А потом не захотела.

Разумеется, никаких патетических слов о своем отказе жить она не произносила, но я догадываюсь, что ей не нужна сделалась жизнь, из которой как-то сразу исчезли «хорошие» люди. То есть вполне возможно, что в жизни они еще попадались, но писать о них сделалось до такой степени не принято, что, с Наташиной точки зрения, это было равносильно их исчезновению из действительности. Между прочим, это не так наивно, как кажется. То, о чем не пишется, вроде бы и вправду перестает существовать. Так кончаются эпохи, еще вроде бы присутствующие вокруг какими-то своими несомненными реалиями, однако из сознания уже ускользающие, если совсем не ускользнувшие.

О том, что эпоха кончилась, я узнал гораздо раньше ее политического краха. Для меня несомненным сигналом был уход Наташи Галимон, не пожелавшей подняться с постели и выйти на улицу.

Господи, да что она ей дала, эта самая, будь она неладна, великая эпоха?! Что она мне дала?! Ведь не баловнями ее мы были, не любимцами, а скорее уж пасынками, изгоями, незаконными детьми, которым не положено ни ласки, ни наследства.

Неужели все дело в том, что именно на нее пришлась наша нелепая жизнь, а другой у нас не будет?

В последнее время я все больше замечаю в себе сходства с Наташей Галимон. Должно быть, я и прежде о нем смутно догадывался, не зря же так раздражали меня порой ее «новеллки». Теперь же, по прошествии лет, это внутреннее сходство, боюсь, усугубляется. Что из того, что я вовсе не так зациклен на «хороших» людях, не верю хмельным рассказам приятелей о почти законченных романах (вернее, о гениально задуманной сделке) и не плачу на концертах третьестепенных пианистов (впрочем, как и первостепенных, на которых тоже не хожу).

Свойства натуры, доведенные у Наташи до абсурда и анекдота, я научился маскировать, но изжить их оказался не в силах. Тоже живу вымышленной жизнью, тоже храню верность неизвестно кому и чему, никому на свете не нужную, кроме меня самого... И даже «новеллки» сочиняю, называя их повестями и рассказами.

А еще не дает мне покоя та хамская пренебрежительность, с какой я оценил ее коктейльские заметки. Разве же трудно было понять, что для нее поездка в Коктебель была равна моему путешествию за океан?

Владимир ПУЧКОВ

Четыре стихотворения

* * *

Здесь городок. Здесь царствует зима.
Электрик на столбе, как бедный гений,
Витает в облаках, и жизнь сама
Всего лишь плод его больных видений.
Он думает: когда приду домой,
Я выпью пять огромных кружек чая,
Потом в окно, затянутое тьмой,
Уставлюсь, поневоле различая
Невзрачный куб подстанции родной...
Глаза затянуты куриной пеленой.
Какой там снег, какие холода?
Лишь птицы наполняют небо дрожью,
И по небу летящая звезда
Опять напоминает искру Божью.

* * *

Туалетная муха парила над спящей землей,
Как в сухое мерцанье, в прозрачные крылья одета,
Там, внизу, холодела обломанной швейной иглой
Легендарная башня, клинок незакатного света.

Проплывали внизу, словно угли в горячей золе,
И дворцы, и дома, и машины, летящие тесно,
Было холодно в небе обломанной старой игле,
Было ей одиноко витать в облаках, если честно.

Туалетная муха рванулась навстречу земле
На безмолвный призыв и уселась на усик антенны,
И жужжание мухи слышали в каждой семье —
Это шел разговор на высокие, вечные темы.

Но дохнуло с востока, повеяло чем-то родным,
Встрепенулась она и шагнула в чернильную бездну...
Я поднял воротник: эта пыль, эта вонь, этот дым!
Так сгорает отечество, чтобы воскреснуть.

* * *

Бесконечное подтверждение оси абсцисс,
Снегопад, разделяющий мир на сотые доли,
Понимаешь, что время направлено сверху вниз
И это есть Божий дар, а не то, что в школе
Внушают, тыча указкой, и букву «Тэ»
На доске рисуют сухим разгневанным мелом,
А земля, сияя, парит себе в пустоте,
И это есть Божье слово, ставшее делом.

* * *

Ночной проточный виноградник тьмы.
Протяжное печное отопленье
И воздух, разрывающий холмы,
Растущие в иное измеренье.

Скажи, какие нынче холода!
Рождественская тихая звезда
Над нами проплывает, но Явленье
Отложено до Страшного суда!
О Господи! В печи трещат поленья...
Когда б я знал, что и земное пенье
До Высших Сфер доходит иногда!



Александр ЯКОВЛЕВ

А мы едем за туманом...

Полуночный хмельной спор в студенческом общежитии вынес нам приговор: отправляться в тайгу. Шел 1982 год, мы еще не напечатали ни строки, энергия была ключом... И мы с Б. сказали: «Запросто!» Мы сказали: «Подумаешь. Как нечего делать. Туда и обратно. Без проблем». Словно к таксистам ночью за водкой.

Утром о сказанном сгоряча вспоминалось с некоторым сожалением. Но отступать было некуда. И мы принялись закупать снаряжение для экспедиции и разрабатывать маршрут. Б. сказал, что знает одно вполне подходящее местечко на Северном Урале. Он сказал, что уже проходил этот маршрут третьей категории сложности. Но, сказал Б., дело было зимой. И шла их тогда целая толпа народу. На лыжах. Б. еще много чего говорил. Благо дело было в Москве.

На дворе стоял август. Дождливый. И мы решили махнуть из Свердловской области в Пермскую через Урал, воспользовавшись на втором отрезке пути плотом.

Вот так мы поднялись в вагон поезда «Москва — Свердловск» и растворились среди других пассажиров. Чем дальше уходил путь от дома, тем бесхитроостней становились вагоны, вокзалы, автобусы.

Водитель лесовоза, недавно вышедший из зоны на поселение, рулил лихо. Рядом сидела женщина. Не очень молодая и не очень красивая. Но женщина. И водитель, облокотясь левой рукой на дверцу, посвистывая, рулил правой и до откату жал на газ. Женщина вскрикивала от испуга, хорошела и молодела. Машину немилосердно швыряло на залитых водой рытвинах. Женщина то и дело обочивалась назад.

Сзади, бешено вцепившись в передний борт и балансируя на открытой раме, трое отчаянно пытались удержать ногами скачущие мешки и рюкзаки. И все трое старались не смотреть вниз, на смертоносное мельтешение под колесами.

Наконец водитель сжалился. То ли над машиной, то ли над женщиной. Один из тех трех был ее мужем. Благо и небольшой подъемчик подвернулся. Лесовоз натужно взвыл и замедлил безумный полет. А через сотню метров резко тормознул у невысокого деревянного навеса, вкопанного на двух столбах у дороги.

— Сотый участок, — сплюнул водитель. — Десант за борт.

Мы прыгнули с рамы лесовоза и с наслаждением ощутили устойчивость земли.

Муж той женщины даже не махнул рукой нам на прощание. Он ни на секунду не хотел расстаться с прочной, в занозах, бортовой доской. Этой паре физиков еще предстоял долгий путь на север. Все вот так же, на перекладных, с кучей аппаратуры. Жуткие последствия романтики...

Лесовоз прыгнул прямо с места, оставив на мгновение в воздухе фонтан грязи, зелень штормовки и белизну тесемки от очков на затылке сроднившего-

ся с бортом физика. А потом и эта картина исчезла. Шел нудный, мелкий дождь. Под дождем в тайге на Северном Урале стояли два студента Литинститута. Словно вышли покурить в перерыве между лекциями.

Первые сказанные посреди тайги слова прозвучали примерно так:

— Десяток километров... Какой-то паршивый десяток километров...
Лучше б мы их пешком... чем на этом гребаном лесовозе...

Так-то мы оценили возможность проехать бесплатно десять километров по тайге. Впрочем, нас можно было понять. Двухнедельный маршрут только начинался. И мы еще не подозревали, что пошли не по грибы. К тому же под навесом, на лавочке, лежала газета. Недельной давности, распухшая от сырости. Словно забытая в парке.

Мы не спеша переодевались. В чуть влажную одежду, слежавшуюся в рюкзаках за три автобусно-поездных дня. Наматывали портянки, натягивали сапоги, утеплялись свитерами. Из первого пакета достали первые сухарики. Сухарики с солью, приготовленные на подсолнечном масле, чтобы не закаменели. И всласть курили, не помышляя пока об экономии. А затем тщательно запаковывали и зашнуровывали рюкзаки, еще не испытывая отвращения от последующей каждодневной монотонности этой процедуры.

Разложив на лавочке карту, сориентировали ее с помощью компаса. Карта, еще без единой пометки, лежала перед нами ничего не говорящей и манящей, как и разбросанные по ней таинственные названия.

Тайга нас сразу заметила. Горожан она отличала мгновенно. Наверное, по некой развязности, за которой таилось постоянное тревожное напряжение. Зачем мы тут объявились, Тайга не знала. Слишком много тайн у нее насчитывалось. Поди догадайся, которая из них привлекла именно нас. Но Тайга не сомневалась, что рано или поздно она узнает о нашей цели. Или цель вообще окажется недостижимой. Никогда. Такое тоже случалось.

Но Ей захотелось немедленно испытать нас. Так сказать, проверить на вшивость. И Она отыскала километрах в двух от нас медведицу с медвежонок.

Медвежонок, словно увлеченный новой игрой, шустро заковылял к дороге. Медведица, недовольно ворча, двинулась следом.

Мы шагали бодро. Первый день маршрута еще не подорвал силенки. Мазь от комаров быстро смывалась потом и дождем. Но мы уже начинали жить законами Тайги, потихоньку осознавая необходимость экономить. Да и комары под дождем предпочитали отсиживаться на взлетных полосах.

Медвежонок, улучив момент, мигом прошмыгнул через дорогу. Мать не успела его остановить и последовала за ним, уже учуяв чужих.

Дождь прекратился, а вскоре и солнце стало изредка проглядывать сквозь низкие облака. И торчащие из черных болот обломки берез и осин уже не выглядели метками над бесследно канувшими.

И тут мы первый раз обратили внимание на следы. Совершенно свеженькие. В вязкой жирной грязи четко просматривались отпечатки широких лап с кривыми и острыми лунками от длинных когтей. Но отпечатки ничего нам не сказали. Мы лишь посмотрели на них.

А медвежонок вновь кинулся к дороге. Но на этот раз медведица решительно воспротивилась воле Тайги. И для медвежонка попытка бегства закончилась увесистой оплеухой. Медвежонок ничего не понял в этих играх и просто завопил.

Мы услышали и теперь другими глазами увидели следы.

- Так-перетак! Медведица с медвежонком.
- О черт! Доставай быстрее!
- А толку...
- Может, на дерево залезть?
- С ума сошел? От медведя на дерево?
- А что же делать?
- Идти как шли.
- Достань все-таки. Как-то спокойнее.
- Да пожалуйста. Только бессмысленно.

Тайга много видела таких штук. Самых различных. И в марках разбиралась лучше любого эксперта. Она сразу определила: вставка. Коротенькая, без приклада, как раз, чтобы в рюкзаке поместиться, не вызывая ненужных расспросов. А стало быть — разрешения на ношение оружия нет. А значит — не охотники.

Мы достали из рюкзака жалкую нашу однозарядку. Вещь в Ее владениях совершенно бесполезную. Чтобы перезарядить после выстрела, надобно через ствол шомполом выбить гильзу от предыдущего патрона. Да и патроны — от мелкашки. При этом головку пули надо скусывать — иначе патрон не входит в патронник. Такая вот морока. Как при стрельбе из гаубицы. Только эффект далеко не такой.

— Заряжай, черт тебя дери, болтаешь много!

И пока заряжалась маленькая бессмысленная винтовочка, в Тайге стояла тишина. Зрители наблюдали с большим любопытством.

Мы двинулись дальше, стараясь ступать как можно тише. С обкушенной пулей в узком стволе и с топориком наготове. С туристским металлическим топориком. Которым хорошо лущить щепу для костра.

Медведица не пускала медвежонка на дорогу. Но запретить ему двигаться вообще она не могла. Того просто разрывало от любопытства. Зверюшка то и дело мелькал среди деревьев, оглашая окрестности воплями после очередного материнского наставления.

Так мы и двигались — параллельными курсами. Парами. Мы, как цари природы, — по дороге. Крадучись. Медведица с медвежонком — по придорожному редколесью.

Подгоняя нас, метался над дорогой угрожающе-предупредительный рык. Казалось, только в монотонном, изнурительном движении без привалов единственное спасение.

— Скоро... должна быть... изба... лесозаготовителей... по карте... уф!

— Пошел ты... со своей... картой!

Перед тем, как выйти на маршрут, мы прошли проверку на психологическую совместимость. Провели ряд тестов. Это было в городе.

Но все же через час гонки над нами смилостивились. И мы вышли к вертикальной речушке. Под открытым небом на берегу стоял длинный дощатый стол. В это жилое место, хоть и без единой живой души, медведица сунуться не решилась.

Закипала вода в котелке. Взметнув эхо, вылетала из ствола обкушенная пуля, сопровождаемая энергичными возгласами.

В мертвом поселке народа манси мы оказались еще через час пути. Осмотрев пару полуразрушенных хибар и не найдя ничего интересного, присели на рюкзаки посреди заросшей и безучастной ко всему улицы.

С другого конца поселка бежал к нам черный человек. Бежал давно. Улица вытянулась метров на триста, а человек бежал медленно. Мы успели выкурить по сигарете.

Наконец он подбежал, этот черный человек в черных сапогах, брюках и ватнике, темнея широко раскрытым беззубым ртом.

— Сейчас машина будет,— сказал он, опускаясь на корточки.— Не уходите.

— А куда все делись? — спросили мы, указывая на дома.

— Мансюки-то? Старики померли. А молодые спились и тоже померли,— радостно пояснил черный человек, вытирая грязной ладонью поросшую темной щетиной голову.

— А ты?

— А я тут с напарником. Коров пасем. Сейчас вот съезжу в поселение, схожу в баньку — и обратно коров пасти.

Он уже почти отдышался.

— Поселенец?

— Ага.

— Давно из зоны?

— С год.

— А здесь еще сколько?

— Полтора. Немного.

Он засмеялся. Потом попросил сигарету. Закурил и опять засмеялся, глядя на нас влюбленными глазами.

— Хорошо,— сказал он.— Сейчас машина придет. Поедем.— Он ненадолго задумался, затем добавил ни к селу, ни к городу: — Лишь бы войны не было.

Мы переглянулись. Он вновь засмеялся. Пояснил:

— Да нет, все в порядке. Я просто че думаю. Вот мне полтора года осталось. И свободен. Так? А если война? Не погуляю, значит.

Он вскочил на ноги, прислушиваясь к чему-то в полнейшей тишине, живущей на фоне ровного таежного шума.

— Идет машина. Айда к дороге.

Стоял сырой, дождливый август. Но из тайги все равно несло гарью никогда не затихающих далеких пожарниц.

«Урал» по пути к поселению чуть не задавил выскочившего на дорогу шального зайца. Тот метров сто очумело несся под колесами, с перепугу не соображая, что можно свернуть в лес. При этом водитель вовсе не старался догнать его. Просто все здесь гоняли как ненормальные. Люди не жалели машин. Машины разбивали дороги. Тайга терпела.

В поселке черный человек показал нам гостиницу.

— Но сначала покажитесь начальнику. Вон штаб,— сказал он на прощание, прежде чем затеряться среди таких же черных стриженных людей.

Мы направились к длинному одноэтажному барaku с флагом над входом.

За высохшим, грубой работы столом старший лейтенант с красными петлицами проверил наши паспорта. Попросил еще какие-нибудь документы. Мы извлекли на свет Божий командировочное удостоверение. Выклянчили накануне отъезда в журнале «Человек и природа».

— Так. Корреспонденты,— читал лейтенант вслух, и голос его гулко звучал в вытянутой комнате с казенной мебелью.— Цель командировки... Сбор материалов... Тема: «Туризм и охрана окружающей среды...» Месяц проставлен неверно,— сказал он, закончив ознакомление с этой филькиной грамотой.— Сейчас август, а здесь — июль.

— Эх, черт! — сказали мы.— Перепутали там... Чего ж теперь нам делать-то?

— Ничего,— сказал старший лейтенант.— Только вы вот что... Места тут — сами понимаете. Да и публика соответствующая. В общем, поменьше контактов. Позавчера убили начальника соседней зоны. И жену его. Беременную.

Листок командировочного удостоверения заметно подрагивал в руках начальника.

— Завтра будет машина на Виллой, подбросит вас. Пока располагайтесь в гостинице.

Выходя из кабинета, мы оглянулись. Старший лейтенант сидел в той же позе, глядя перед собой, положив обе ладони на стол. Офицер был почти нашим ровесником. Из-под стола виднелись носки до блеска начищенных сапог.

Разговорчивому и непоседливому начальнику гостиницы на вид было больше пятидесяти. И мы с удивлением узнали, что этому коренастому мужичку без единой седой волосины — за шестьдесят. В двухэтажной бревенчатой гостинице поселения он поселил нас на первом этаже, рядом со своими апартаментами. В отведенной нам небольшой комнатке стояли два стула, стол и две койки, застеленные чистым бельем. В запыленное оконце виднелась засыпанная щепой дорога, ведущая полого вниз, к реке, полной серой быстрой воды.

— Гостиница? — ответил он на наш удивленный вопрос.— А как же? Как же без гостиницы? Сюда к нам часто приезжают.— На столе стремительно появлялись миски с ухой, хлеб, сковорода с грибами.— Начальство даже приветствует, ежели, скажем, жена или мать гостят... Способствует, стало быть, исполнительному процессу.

После сытного обеда хлебали, обжигаясь, крепчайше заваренный чай. Изредка к начальнику заходили черные люди. У дверей затевались недолгие беседы вполголоса, со взглядами в нашу сторону. Под этими взглядами мы ощущали себя не шибко уютно.

Он возвращался к столу и продолжал рассказ о себе:

— Я их предупреждал Христом Господом: «Окститесь, ребята, какой долг?! Давно уж мы в расчете!» А они заладили свое: отдай да отдай. Хорошо. Но невмоготу уже. Отмахнулся. А в руке молоток оказался. Ну по случайности. Человека и убило. И мне — двенадцать лет. Хорошо. Н-да... А я, между прочим, до Берлина доходил. И награды имею.

Такой веселый разговор перекинулся и на убийство начальника соседней зоны.

— Я так считаю. Вот я, скажем, убил или ограбил. Хорошо. Это как бы моя работа. А они меня ловят и сажают. Это их работа. Хорошо. И я на них не в обиде. Попался — сам дурак, плохо работал. Хорошо. Но вот другой вопрос. Я уже тут. Зачем же здесь-то надо мной еще куражиться? Я и так получил свое. Так что тому псу по заслугам перепало. Такой был пес... Что? Бабу его? Да еще та была стервозина. Нет, тут мы не пойдем друг друга... Хорошо. Отдыхайте.

Задвинув рюкзаки под койки, мы минут десять лежали неподвижно и бессонно на влажных чистых простынях. А затем беспмятно заснули под гостеприимным кровом старого убийцы, взявшего за ночлег и кормежку две пачки хорошего индийского чая.

А утром опять была гонка на лесовозе. Мы вновь судорожно цеплялись за передний борт, коленями прижимая скачущие рюкзаки. В кабине рядом с водителем-поселенцем сидел юный прапорщик. Но на скорость передвижения лесовоза это обстоятельство никак не влияло.

Оказавшись наконец вновь на земле, мы подсчитали:

— Сэкономили часов пять. Но потеряли года по два.

И поклялись больше на лесовозах не ездить. А прапорщик на прощание еще раз проверил наши документы.

Утро выдалось сухим, солнечным. Вдоль дороги высились мощные кедрачи. Они ожидали минуты величественного падения после обжигающей работы бензопилы. Под скорбным взором Тайги.

До перевала напрямик, казалось, рукой подать. Но дорога уходила в сторону, южнее, вдоль хребта, разделявшего Свердловскую и Пермскую области. Нам же надо было — поперек. И сходить с дороги в болотистые комариные чащобы совсем не хотелось. Дорога же гнула и гнула свою линию, не желая поступаться принципами. Или подчиняясь Ее воле.

Так мы прошагали километров пятнадцать. Затем устроили продолжительный привал, на котором решался вопрос принципиальный: переупрямить дорогу и по-бараньи идти по ней до конца или круто взять на северо-запад. То есть окунуться по уши в Тайгу со всеми ее прелестями и выйти к реке. Какой угодно реке. Поскольку любая из них течет с хребта. А стало быть, петляя по притокам, шагая берегами, подняться к предгорьям и там отыскать перевал. Единогласно был одобрен второй вариант. Отыскав для решительного броска в Тайгу широкую просеку, идущую на северо-запад, мы не без сожаления распрощались с дорогой.

Тучи комаров повисли над нами, едва потревожили мы сырые густые травы. Торопливо сбрасывая рюкзаки и дергая клапаны, мы выхватывали флаконы с жидкостью и лихорадочно мазались. Но пот быстро смывал защитный слой, а комарья становилось все больше. Тайга изобрела классное оружие, справиться с которым не помог бы нам и взвод огневой поддержки.

Вскоре под ногами заколыхалась топь. А солнце калило немилосердно, словно отдуваясь за весь скудный на тепло месяц. Просека не кончалась.

И уже не привалы наблюдала Тайга, а падения, бессильные, прямо в жижу болота. И двум путникам еще тут же приходилось отыскивать силы, бешено ругаясь до слез, чтобы открутить колпачки флаконов. И нанести тонкий слой — единственный рубеж, удерживающий от мучительной расправы по прихоти Ее.

Только к вечеру выбрались мы к реке, где ветер разгонял кровожадную армаду. Выбрались и рухнули на камни.

Утром мы разглядели впереди покрытые темной бахромчатой пеленой, стертые ветрами вершины старых гор. А к полудню уже блуждали в еловом поясе среди каменных осыпей у Молебного Камня.

Из ельника выбрались наугад часам к семи вечера. Оставив рюкзаки среди мшистых валунов, поднялись налегке к заснеженному плато. Дувший здесь резкий морозный ветер сразу отбил у нас охоту штурмовать перевал немедленно. И мы решили заночевать внизу, среди камней.

С трудом найдя ровное место для палатки, наспех поужинали. Вершины впереди и темный ельник внизу; ветер, треплющий палатку и пламя костра, — все это не давало расслабиться, уйти от напряжения целого дня скитаний. Разговор не клеился... Мертвым был сон.

Холодным ясным утром, позавтракав консервами и сухарями, мы начали восхождение. Не сумев точно сориентироваться по карте, шли на ближайшую седловину, обещавшую перевал. Проложив цепочку следов по снегу вчерашнего плато, дальше карабкались вверх по громадным обломкам. Мертво, казалось бы, лежащие, они иногда вдруг резко кренились под ногой, норовя сбросить пришельца.

Седловина обманула — спуск за ней оказался слишком крутым, почти отвесным. Пришлось уходить севернее, вверх еще метров на триста, чтобы отыскать спуск с соседней вершины.

После часового подъема мы оказались на открытой площадке. Позади, на востоке, до самого горизонта синели вершины Уральской горной страны. С севера и юга, среди зеленеющих альпийских лугов, пенились каменистые осыпи. Впереди, на западе, лежала холмистая, вся в лесах, долина. Тут начиналась Пермская область. Но по-прежнему — владения Тайги.

Мы осторожно двинулись вниз. Двухкилометровый крутой спуск представлял из себя сплошную осыпь мелкого камня. По ней можно было бы съехать, как с горки. Вот только как затормозить в конце?

И мы поняли, что спускаться с горы ничуть не проще, чем карабкаться на нее.

Счет дням уже не вели. Просто на следующий день после перевала прошли с десяток километров вдоль ручья. Он становился все полноводнее, обретая соответствие своему рыбному названию — Мойва. Мы искали место для постройки плота. Но деревья тесно прижимались к скалистым крутым берегам, обколотым бурным течением. И нам ничего не оставалось, как угрюмо шагать и шагать по таежной тропе, сердито поглядывая на воду, не желавшую принять наше плавсредство.

На этой тропе, словно на прогулке в подмосковном лесу, мы встретились с людьми. Парень и две девушки привычно тащили тяжеленные рюкзаки. Смена студентов-практикантов направлялась на метеостанцию. Собственно, говорить-то нам было не о чем. Так, откуда да куда... И все! Да и говорил с нами только юноша. Девушки молчали, застенчиво улыбаясь. И мы несколько мгновений просто молча всматривались в юные открытые и румяные лица.

— Бог мой, вот где жену искать надо.

— А что? Может быть, это и была судьба? За тысячи верст от дома встретить посреди тайги такую вот, единственную, а?

— Черт побери, как у нас все нескладно! Жить бы с такой в каком-нибудь захолустнейшем Оклетьевске... Нарожать кучу веселых чертенят... Огородец, банька... Тихое кладбище в конце. Что еще надо? Ну какие, к лешему, потрясения и социальные конфликты, а?

Вскоре отыскался пологий бережок для постройки плота и ночлега. Быстро стемнело.

У нас еще оставалось во фляжке граммов двести водки, взятой на всякий случай. День вспоминался встречей на таежной тропе. Как в песне. Чем не случай?

В этот вечер мы проявили с Тайгой редкостное единодушие, с недоумением вопрошая себя: что делают хрупкие девчушки среди черных поселенцев в Ее владениях?

На тепло костра из лесной тьмы стремительно вырывались летучие мыши и черными кляксами метались на границе света и ночи.

Дождь пошел ночью, пошел аккуратно, словно ощупывая нашу палатку в темноте своими чуткими пальцами. И, когда рассвело, он все продолжался, не усиливаясь и не ослабевая. Спокойный лесной дождь, вдумчивый, затяжной, везде проникающий, без городских истерик. Мир стал одноцветным, сизым. Шумы леса, реки и дождя слились в один. В палатке плавал сизый табачный дым от дешевых сигарет «Прима». Сизый мусор слов долгой трепотни забивался в углы.

Дождь лил два дня подряд. Мы питались всухомятку, добывая последние запасы, безмятежно полагаясь на грядущую обильную рыбалку и грибо-ягодный подножный корм. Сигареты сгорали стремительным потоком. И нам в голову не приходило, что в здешних лесах табачные плантации еще никто не думал разби-

● А мы едем за туманом...

вать. Мы болтали и отсыпались, с отвращением посматривая на треклятые рюкзаки, впрочем, изрядно похудевшие.

Не знаю, кто придумал конструкцию этого плота. Но обнарудовал ее передо мною Б. Идея подкупала простотой и необременительностью. Длинные сигары из плотной подкладочной ткани набивались надувными волейбольными камерами. В сигарах делались небольшие прорезы, из которых предстояло торчать крепко перевязанным ниппелям.

Нам оставалось лишь сколотить крепкую раму из жердей, привязать к ним четыре сигары и водрузить на корму вместо сидений рюкзаки. И плыть. Ах да, весла еще... Пришлось пожертвовать котелком для чая — бывшей жестяной из-под томатной пасты. Топориком располовинили ее, получив лопасти для весел.

Малая осадка плота позволяла плыть по чайному блюдцу. Лопнувшую камеру несложно было заменить запасной. Река казалась нейтральной территорией между нами и Тайгой. Позади оставались многие километры выючного изнурительного труда в условиях непрерывных и массированных комариных атак. Впереди ожидало безмятежное наслаждение бездельем — подарком реки, несущей нас в низовья.

Подарок этот преподносился в различных упаковках. В узких местах, где русло сжимали крутые подмытые скалистые берега, плот мчался с крейсерской скоростью. А в местах, где река разливалась, давая себе передышку от бешеной гонки, течение становилось замедленным, неразличимым на поверхности. Сквозь прозрачные, чуть колеблющиеся подводные струи ясно просматривалось каменистое дно. Поодаль выпрыгивали из воды осторожные хариусы. Изредка звучно всплескивал над глубокой яминой таймень.

На одном из привалов мы наткнулись на первый золотой корень. Невысокие мутовчатые травы с желтыми мелкими цветками вырастали на причудливой формы корнях. Тщательно отмытые в речной воде, они отливали на солнце старой бронзой. Корни мы складывали в пакеты. Обрезанные цветки и стебли уплывали вниз по течению.

Карта предупреждала о приближающихся порогах. Ожидалось их пять штук. При этом два из них были помечены восклицательными знаками, как представляющие особую опасность.

Пороги нас пугали. Сомнений не было — пороги с Тайгой заодно. Уж на порогах-то Она отыграется. На двоих у нас имелся один мой довольно жалкий опыт плавания на байдарке по Мсте.

Между тем вдруг выяснилось: двухдневные разговоры в палатке под дождь опустошили запас консервов и табака. Таежный чистый воздух и безделье живо напомнили о себе. Хотелось есть и курить. Вот мы и ели оставшуюся манную крупу, из которой так и не удосужились сварить кашу. Набирали в рот сухую манку, ждали, пока сплывет в ком и разбухнет, лениво жевали.

Кто-то может спросить: как же так, в тайге, а без грибов, рыбы, дичи? Мы сами себе задавали этот вопрос. И чем дальше, тем чаще и с усиливающейся интонацией упрека небесам. Грибы, ягоды и прочий подножный корм исчезли из окружающего пространства бесследно, словно мы продвигались вдоль густонаселенного дачного кооператива. Наши рыболовные снасти никогда не имели дело с быстрой водой и напрочь отказывались снабжать наш стол. О винтовочке нашей я уже упомянул. Как-то, в припадке голодного отчаяния, Б., не целясь и, кажется, без очков, попал в крохотную птичку, сидевшую высоко на дереве метрах в тридцати от нас. Громко урча, мы ощипали несчастное пернатое и броси-

ли в котелок с булькающим рисом. Предполагалось, что на ужин у нас будет плов. Увы. Стремительно покончив с разваренной рисовой кашей, мы так и не обнаружили в ней ничего, что хотя бы отдаленно напоминало крылышко или ножку...

Делая короткие остановки на редких отлогих берегах, пили чай с остатками сгущенного молока. Вместо табака растирали сухие травы, делали фантастические смеси «а-ля ориенталь». На плоту сворачивали огромные самокрутки. За борт относил густые клубы ядовитого дыма. Тайга хихала, приближая пороги.

На общем собрании искателей приключений приняли решение пороги обойти берегом. Ну их, эти пороги... В другой раз пройдемся по ним.

Но решение осталось невыполненным. И не из-за нашей удали. Боже упаси. До сих пор содрогаюсь. Мы просто прозевали тот момент, когда река, постепенно ускоряясь, вдруг втянула нас в сумасшедший поток. Малая осадка плота, которой мы так гордились и которая позволяла плавать в чайном блюде, сыграла с нами злую шутку. В блюде нет такого течения. А плот, как выяснилось, настолько верткий, что мы не смогли выгрести к берегу. Лишь лопасти с весел порастеряли. И несущийся на камни плот стал неуправляемым.

Мы влетели в грохочущее буйство, как туалетная бумага, сносимая ревущим потоком из бачка. Плот несло и трепало, как ветку, но зато и был он так же непотопляем. Мы вцепились в жерди каркаса, и теперь среди мириадов радужных брызг мотались лишь наши всклокоченные головы. Плот налетал на камни, разворачивался, и тогда нас несло спиной вперед. Черт знает куда. Река перла нас на себе, ни о чем не спрашивая, свирепо продираясь сквозь каменный оскал порогов.

Мы так и не поняли, где же находились именно те пороги, которые на карте обозначались восклицательными знаками.

После порогов река устало разлилась, сразу заметно сбавив скорость. Нам удалось пристать к берегу, орудуя рукоятями от весел. Мы обсушились у костра и заготовили шесты для дальнейшего плавания.

Теперь, после бешеной гонки и пережитого, курить и есть хотелось особенно зверски. Но оставалось лишь плыть дальше, дымя опостылевшими травяными самокрутками, начисто лишенными никотина.

Часа через три такого замедленного и унылого сплава мы увидели на возвышенном правом берегу за деревьями крыши строений.

— Усть-Лыпя... — благоговейно выдохнул Б. — Баба Сима. — Слова звучали древним заклинанием. — Баба Сима! Не пропадем!

Река еще пару раз вильнула, и показался пологий спуск к реке, переходящий в широкий заливной луг. На лугу сутулый дед в широкополой шляпе ритмично двигал косою. На поясе сзади висела дымящаяся жестянка, из которой нехотя поднимались сизые струйки и лениво обнимали спину старика, оберегая от комаров. На расспросы дед не отвечал, исподлобья осматривая нас и не переставая косить.

Мы двинулись вверх, к избам. Ближайшая к реке выглядела ладно обстроеной и обжитой. Ухоженные картофельные грядки большого огорода радовали глаз и вселяли надежду.

От огорода навстречу нам выскочила сухая лаечка. Припав к земле, она стремилась в нашу сторону острую мордочку с чуткими ушами и внимательным взглядом темных глаз. Принюхавшись, доверчиво прыгнула вперед, на знакомые запахи леса, дыма, воды.

У дверей в сени вились еще две поджарые лайки, почерней и покрупнее первой. При виде незнакомцев они дружно и коротко взлаяли.

Из сеней вышла бабка в толстом выцветшем халате, замасленном переднике и валенках. Голову обвязывал серый шерстяной платок. Лицо, обтянутое пергаментом морщинистой кожи, ничего не выражало. Комары даже не садились на лоб ее и щеки. Маленькие глазки хитро поблескивали.

Легендарная баба Сима. Та самая, которая спасла от голодной смерти не одного бедолагу, решившего потягаться с Тайгой.

Мы поплакались, посетовали и зареклись.

— Снасти есть? — деловито спросила она.

Мы торопливо зашарили по карманам. Затем бросились бегом назад к плоту, лихорадочно обшаривать рюкзаки.

— Люди тут всякие бродят, — сварливо приговаривала живая легенда. — Вот так у меня и собаку свели. И ружье. А тоже... кормились два дня.

И только после того, как мы тут же, во дворе, отсыпали ей крючков и отмотали лески, она смилостивилась, впустила нас в избу и усадила за стол.

В низенькой горнице мы устроились под божницей. Осмотрели заваленный объедками стол, чугунного литья кровать с горой подушек и лоскутными стегаными одеялами, большую потемневшую печь. Бабка в это время выставляла на стол миску с творогом, тарелку с солеными хариусами да ржаные ковриги плотного домашнего хлеба.

— Ловить-то на кораблик надо, — наставляла она. — Так и быть, дам. Есть один в запасе.

Мы набросились на угощенье, изредка вежливо что-то вопрошая. Старушка охотно отвечала:

— Нет, тут я живу одна. На всю Усть-Лыпью. На все двенадцать дворов. Дед мой третьим годом потонул. А этот, — она махнула рукой в сторону луга, — так, пригласила пока... Да что-то он затаистый... А что меня снабжать? Коровы есть, лошадь есть, рожь сею, картошку сажаю. В реке рыба не перевелась, а в лесу — дичь да пушнина... Так, дочка иногда из района подошлет чаю-сахару с оказией...

В общем, владетельница Усть-Лыпи жила в полном согласии с Тайгой.

— Нет, курева не держу, — наставительно продолжала она. — И дед некурящий... Чего мне прислать? Да многие так-то обещали... Лишь девушка одна прислала кофту по зиме, — расчувствовалась старушка. — А так... Ну будет желание — прыскалки такие, от клопов. Развелись что-то, житья нет...

В дорогу бабка дала нам кулек творогу, кило песку и две ковриги. Каемся, тайком от бабки напихали в карманы штормовок еще и картошки из стоящей у избы бочки. Тайга все видела.

Бабка вышла на крыльцо. Мы с невинными рожами прощально помахали ей.

— А корень-то золотой еще рано копать, — ворчливо сообщила она нам вслед.

На бабкиных харчах мы с легкостью одолели еще километров двадцать до очередного широкого разлива реки. К вечеру высадились на берег, разбили палатку и с нетерпением принялись снаряжать кораблик. Тайга смотрела, посмеиваясь.

Мудреное народное изобретение представляло из себя плоскую широкую дощечку с профилем лодочки и с деревянным брусом-противовесом на двух изогнутых металлических прутьях. Отмотав по берегу метров пятьдесят лески и навязав на нее поводки с наживкой из мух, червей и мотыльков, мы спустили снаряженный кораблик на воду. Подергивая за леску, стали выводить против течения. Вскоре, описав дугу, кораблик встал, покачиваясь на быстрой вечерней

воде, застыл у противоположного берега, перегородив реку поводками. По нашему мнению, рыбе просто некуда было деваться. И мы уже переживали, куда станем девать обильную добычу. Накопим — решили. Или навялим. Мало ли.

Прошел час. Лес на том берегу виднелся уже только темной стеной. Над всей рекой стоял плеск играющей рыбы, круги накладывались друг на друга, как под крупным дождем. И лишь наживка на поводках нашего кораблика рыбу несколько не привлекала.

Но мы не отчаивались. Мы решили оставить кораблик на всю ночь. А пока попробовать ловить удочками. Течение здесь чуть успокоилось по сравнению с верховьями. И нам улыбнулась-таки удача. Правда, совсем маленькая. Непуганые мальки хариуса, размером с мизинец, одурело хватали наживку. За полчаса мы натаскали их штук шестьдесят.

Кораблик же невозмутимо, наплевав на быстрое течение, продолжал стоять на одном месте. Но на этом его достоинства и заканчивались.

Мы вернулись к костру. Посолив, завернули мальков в фольгу и положили на угли.

Через полчаса от выданной бабкой провизии остался лишь сахарный песок. Поджаренных на углях рыбешек схрумкали незаметно, как семечки. Песок щедро бросали в кипяток, добавляли мяту и пили, пили, пили, то и дело бегая с котелком к реке, заодно проверяя кораблик.

А ночью снились и чудились темные избы, парное молоко, серебристый плеск хариусов, чутко устремленные вперед уши и глаза серой лаечки; и говорила бабка что-то древнее, пророческое, да совсем непонятное, на чужом нам языке.

Но спалось крепко и радостно.

Утром, пройдя километров пять, мы подверглись обструкции. Вдоль берега бежала лопухая приземистая собачонка и радостно брехала в нашу сторону. Берега устлали вплотную лежащие стволы сосен. А это означало, что где-то недалеко трудились поселенцы-лесозаготовители. И получался такой вот любопытный расклад. Либо километров тридцать сплавляться нам по реке, то есть еще пару дней не есть толком и не курить, тихо стервенея друга на друга, либо высадиться тут же — и на машине лесозаготовителей добраться до ближайшего поселка, где начиналась цивилизация с ее автобусами, поездами и прочими, более шустрými средствами передвижения.

— Давай решать...

— Да чего тут решать-то!

И мы направились к берегу. Вытащив на берег плот и отвязав рюкзаки, двинулись на голоса.

Человек десять черных мужиков стояли на берегу, наблюдая, как один увлеченно забрасывает леску. У противоположного берега маячил кораблик. При этом мужики... курили!

Таежная валюта — крючки и леска — быстро сделали свое дело. Скоро мы уже сидели в вагончике-столовой поселенцев. На столе в мисках дымилась уха из хариусов. Может быть, из тех самых, нами не выловленных... Э-эх... Зато в карманах у нас лежало по пачке «Примы». Пусть моршанской, но самой настоящей.

После ужина мы устроились в спальном вагончике, поселенцы заваривали чифирь, и кто-то бренькал на разбитой гитаре, а вдалеке уже слышался натужный рев лесовоза...

Машина привычным припадочным рывком сорвалась с места, мы привычно вцепились в передний борт, когда вслед нам заорали:

— Эй, а от комаров-то, от комаров ничего нет?!

— Стой! — застучали мы по крыше кабины.

В протянутые к нам ладони полетели флаконы и тюбики.

Мы даже успели закурить. Лесовоз мчался в сумерки. Назад улетали искры от сигарет. Приближалась влажная теплая ночь.

Автобус из поселка в Красновишерск ходил раз в сутки. Толпа ожидающих угрюмо мокла под привычным августовским дождем. Все билеты давно раскупили. У нас оставалась лишь надежда уговорить водителя. Надежда выглядела вполне реальной. И вообще после двух недель пребывания в тайге жизнь посреди цивилизации казалась сплошным беззаботным отпуском.

Водитель, широколицый, неторопливый в движениях парень, вытирая руки ветошью, внимательно слушал капитана в милицейской форме.

— Вот этого обязательно посади. Освободился,— говорил капитан, подталкивая к дверям автобуса высокого пожилого мужчину с унылым лицом, в черной робе и с небольшим фибровым чемоданчиком.— Понял?

— Будь сделано, товарищ капитан,— отвечал водитель. И тут же вызверялся на нас: — Куда прете? Нет же мест, видите?! Что я из-за вас автобус буду гробить по такой дороге? И не просите. Ждите до завтра...

Двери цивилизации сомкнулись перед нашими носами. Прочные двери. Лбами бить не хотелось. Оставалось идти на перекресток и ловить попутку.

Мы медленно брели по широкой улице, образованной избами с одной стороны и колючей проволокой — с другой. Несколько заключенных копали траншею поперек дороги. Высокий охранник в плащ-палатке рассеянно наблюдал за ними, прислушиваясь к глухим ударам капли по капюшону. На стволе начиненного автомата, не растекаясь, застывала морось...

Вскоре нас подобрал бензовоз, в кабину которого мы с трудом, под ворчанье шофера, втиснули себя и свои рюкзаки. И бензовоз, подскакивая, помчался все по той же вечно разбитой дороге...



Анатолий МОШКОВСКИЙ

Георгий, сын Цветаевой

В нашем маленьком, элитарном, как сказали бы теперь, Литературном институте им. А. М. Горького училось человек сто, и это на всех отделениях. На первый курс довольно часто то приходили, то по неизвестным причинам исчезали с него студенты. 26 ноября 1943 года за столом неподалеку от меня появился очередной новичок, и я на перемене узнал, что фамилия его Эфрон, зовут — Георгием; наш однокурсник Дима Сикорский называл его Муром.

Фамилия была довольно редкая, и я сразу вспомнил энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, разрозненные тома которого вместе с томами Граната были в библиотеке моего отца — словесника, учителя русской литературы и языка.

«Неужели родственник?» — подумал я. Через десяток лет выяснил, что не ошибся.

Георгий очень отличался от нас, разношерстно и не всегда аккуратно одетых — кто в военной форме без погон, кто в поношенном штатском костюмчике, — ведь почти третий год шла война. Георгий был тщательно причесан, на нем щегольски сидел синий пиджак с галстуком — галстуки мало кто из нас признавал.

Лицо у Георгия было очень интеллигентное: высокий бледный лоб, орлиный нос и длинные узкие иронические губы. Во всем его облике чувствовалась порода — в четких чертах лица, в умных светло-серых глазах, в подбородке, даже в этой бледности... Достоинство, зрелость, опыт, умение, как мне казалось, далеко видеть и глубоко понимать.

Как скоро выяснилось, мы с ним были ровесники — по восемнадцать, но он казался лет на пять старше, умудренней, образованней меня. На переменах к нему иногда подходил Дима Сикорский в авиационном синем кителе, рослый, крепкий, видный парень; они расхаживали по аудитории, разговаривали, посмеивались над чем-то. Дима был сыном переводчицы Татьяны Сикорской. «Наверно, и Георгий писательский сынок», — подумал я.

Георгий действительно оказался сыном какой-то поэтессы Марины Цветаевой, которая в последний день лета 1941 года повесилась в эвакуации, в Елабуге, а Сикорский там в это время жил.

Слово «повесилась» больно резануло меня, и я стал с сочувствием поглядывать на Георгия: бедный парень...

Красивая фамилия его матери — Цветаева — ничего не говорила мне. «Вероятно, псевдоним», — решил я. К восемнадцати годам я был довольно начитан и в прозе, и в стихах: кроме общеизвестных — Маяковского, любимого моим отцом Блока, Асеева, Багрицкого и Светлова, знал и Пастернака, и Сельвинского... Еще до войны был влюблен в поэзию Есенина, пытался разобраться в сложных для понимания стихах Велемира Хлебникова. Ахматовские «Четки» дореволюционного издания в мягкой обложке, стоявшие в отцовском шкафу, мне мало понравились: слишком личные, скорбные — не поймешь, когда и зачем писались: ведь сейчас такая эпоха!

Мысль, что поэтесса Цветаева, мать нашего Георгия, почему-то повесилась, долго не давала мне покоя. Я представлял, как все это могло случиться... Однако в аккуратном, холеном лице Георгия не было горя, боли, страдания... Наоборот, в нем были самоуверенность и даже легкое пренебрежение к тем, на кого смотрели его спокойные глаза.

Скоро я узнал от старшекурсников, что его мать — очень одаренная поэтесса, что она успела издать в Советской России несколько книжек стихов, а в начале двад-

цатых годов эмигрировала в Берлин и Чехословакию, много лет жила в Париже; что муж ее, Сергей Эфрон, ушедший с Белой армией из Крыма, жил на Западе, потом каким-то образом очутился в Москве; что ее отец Иван Цветаев был создателем знаменитого Музея изящных искусств на Волхонке.

Я обнаружил, что в институтской библиотеке есть один сборник ее стихов, получил на несколько дней тоненькую, затрепанную книжечку «Версты» и прочитал ее раза три подряд. Книга поразила меня мощью чувств, яркостью и не женской энергией ритмов, глубиной, точностью и смелостью мысли...

Что после ее стихов поверхностные, риторические стишки многих преуспевающих советских поэтов?! Да она же почти гений!

Я смотрел на Георгия теперь по-другому — с удивлением и уважением: так вот чей он сын! Отныне все, связанное с ним, представляло для меня интерес.

Выяснилось, что, учась в институте, Георгий одновременно подрабатывал комедантом общежития на заводе «Красный пролетарий» — не хватало нашей нищенской стипендии. На первом курсе она составляла всего сто сорок рублей, а буханка хлеба на рынке стоила сто...

Кроме Димы Сикорского, Георгий часто общался с другим знакомым, старшекурсником Сашей Лацисом, черноволосым, ироничным, тот заходил в нашу аудиторию, и они подолгу о чем-то разговаривали в коридоре. Но, в общем, Георгий держался скорей особняком. Из девушек он дружил с Норой Лапидус.

Наша любимица и староста курса Настя Перфильева, которая была лет на десять — пятнадцать старше каждого из нас, как-то рассказала мне, с какой холодной неприязнью смотрел Георгий на ее потертые кирзовые сапоги и танкистский подшлемник на голове — пристало ли женщине так ходить!

Наши девушки хорошо относились к Эфрону, такому аккуратному, умному, красивому, воспитанному, любовно называли его за глаза Эфрончиком. Да и у нас, ребят, была к нему симпатия.

Большинство студентов в обеденное время спускалось в столовую, находившуюся в полуподвале. Но кто-то ел принесенное из дому прямо в аудитории. Мне позже рассказывала Нонна Светлова, дочь комдива, белокурая красавица, как однажды они с подругой Тамарой Константиновой, дочерью высокопоставленного папы, посоветовали Георгию в обед не спускаться в столовую, а обедать наверху. Георгий на мгновение смутился, потом согласился. Подруги выложили на стол завернутые в бумагу бутерброды с колбасой и кое-что другое, повкусней. Георгий же вынул из белого узелка несколько вареных картошин и кусок черного хлеба. Тонкими пальцами пианиста он стал сдирать с картошки оставшуюся кое-где кожуру...

— Все, что принесли, едим вместе! — распорядилась Нонна, и Георгий, еще больше смутившись, взял бутерброд с колбасой и стал медленно жевать, потом принялся за картошку. Чтобы не обидеть его, девушки тоже ели пустую картошку с хлебом и, желая разрядить обстановку, весело болтали о чем-то и смеялись.

Больше им не удалось уговорить Георгия обедать в аудитории, и он спускался вниз, в столовую, где всегда обедал я. Нельзя было без улыбки смотреть, как Георгий у кассы вырезал из продуктовой карточки специальными ножничками талоны на мясо, на жиры, сладкое и с аппетитом уплетал все это за дальним столиком.

В войну большинство из нас жило впроголодь. Мне, прикрепленному к булочной на Тверском бульваре возле института, сердобольные продавщицы отрезали талончики на хлеб на три дня вперед и отवेशивали положенную норму. Идешь к институтским воротам и, не вытерпев, ломаешь хлеб и на ходу ешь, потом еще выворачиваешь подкладку кармана пальто, собираешь на ладонь крошки и со вздохом — всё! — глотаешь.

Как и в каждом институте, были у нас преподаватели — чаще всего профессора — любимые, а были и не очень.

В первом семестре нам читал что-то вроде курса «Введение в творчество» бывший теоретик конструктивизма Корнелий Люцианович Зелинский — пожилой, носатый, лощеный, одетый с иголки, при модном галстуке, пришедший к нам на курс с неслестной кличкой, данной ему старшекурсниками: Карьерий Лицемерович Вазелинский. Отставив от стола стул и вытянув ноги в рисунчатых, невиданных в то время носках и в тщательно отглаженных брюках, он самоуверенно, с апломбом и даже как-то театрально, по-актерски, разъяснял нам, как несмышленишам, что писателю необходимо быть эрудированным, собранным, упорно овладевать техникой письма, учиться нетривиально думать. Он устанавливал всеобщие абстрактные законы творчества и совсем забывал напомнить о том, что в творчестве каждого настоящего поэта или прозаика должен быть свой,

строго индивидуальный, исходящий из его личности закон, подход к теме...

Конечно, Корнелий Люцианович был большим эрудитом, у него был хорошо поставленный звучный голос, но, видно, все-таки не случайно наши предшественники наградили его столь незавидным прозвищем; речь о Зелинском будет еще впереди.

Он давал нам домашние задания. Как-то велел написать шесть-семь страниц в подражание Бальзаку, потом — Чехову. Затем задал описать какой-нибудь парк или сквер.

Георгий написал рассказ о каком-то парке под Парижем и вслух читал его на лекции. И когда в этом рассказе упоминались статуи древнегреческих богов, скажем, Зевса, Георгий, обращаясь к аудитории, популярно пояснял, что Зевс — это верховный бог греков, царь и отец богов и людей, что Афродита — это богиня...

— Любви и красоты! — кинул кто-то из нас, необходимо, негромко, чтобы не задеть самолюбия Эфрона. Он все-таки считал нас, советских студентов 1943 года, не доже начитанными и грамотными... А мы ведь кое-что знали!

Мои отношения с ним были самыми простыми. Увижусь первый раз утром: «Здорово!» — и пожму его протянутую мягкую руку; или шепотом спрошу на лекции: «Который час?» Вполголоса ответит. Ухожу с лекций: «Всего!» Кивнет в ответ вместе с другими.

Георгия много интересовало. Наш однокурсник Жора Долдобанов увидел его как-то в Клубе писателей, где Михаил Лозинский читал в каминной комнате отрывок из переведенной им «Божественной комедии» Данте. Жора был на этом вечере с приятельницей, хорошо знавшей французский язык, и они с Георгием бойко разговаривали по-французски.

Норе Лапидус, с которой, как я уже упоминал, дружил Георгий, он рассказал — и скоро это стало достоянием курса, — что мать к шести годам научила его читать и писать по-русски и он успел прочесть кучу классической русской и западной литературы, что здесь у нас, в СССР, по его мнению, Бог знает что творится, трудно что-либо понять...

Георгий иногда провожал Нору домой, был откровенен с ней и однажды даже признался, что считает себя частично виновным в гибели матери. Марина Ивановна была очень эмоциональна и влюбчива, жила воображением и в некоторых знакомых подчас видела то, чего в них вовсе не было. А, так как отец Георгия иногда отсутствовал месяцами, у нее случались любовные «всплески». И мальчик, ранимый, как все подростки, многое знал, видел и не мог простить увлечений матери, поэтому бывал с ней черств, холоден, недобр и не оказывал сыновней поддержки, когда она, одинокая, никому не нужная, травмированная недавними репрессиями, войной и всеобщим безразличием, в этом очень нуждалась...

Георгий сказал это Норе под большим секретом, та под еще большим секретом рассказала своей лучшей подруге, ну а эта подруга рассказала через три десятка лет мне, попросив молчать. И я молчал, зато понял, как все непросто было в жизни Марины Ивановны и что никто не имеет права судить ее личную жизнь, ее трагическую судьбу. Я срок молчания выдержал и теперь пишу.

Помню, как на курсе заговорили о призыве Георгия в армию, и в конце февраля 1944 года он исчез. Один раз забежал в институт в шинели, с зимней солдатской ушанкой под мышкой, обошел всех, пожал на прощание руки и ушел.

— Что-то ждет нашего Эфрончика? — вздохнула Настя Перфильева. — Дай Бог ему остаться живым. — И вытерла глаза. У нее не так давно погиб муж-офицер.

Через какое-то время пришло в институт письмо-треугольник от Георгия. Оно было ироничное, бодрое, полное добрых чувств, пожеланий нам, надежд на скорую победу и на возвращение в институт.

Настя Перфильева читала его вслух (жаль, что оно не сохранилось) и как староста курса написала сердечный подробный ответ от имени всех студентов с описанием институтской жизни, с пожеланием вернуться здоровым и невредимым.

Больше писем от Эфрона не приходило.

Прошли две сессии, миновало лето, мы снова собрались в институте и с великой печалью узнали, что наш Георгий погиб в бою смертью храбрых. Но где погиб, при каких обстоятельствах — никто ничего не знал. И лишь тогда я догадался спросить у Димы Сикорского, как погибла мать Георгия, ведь Дима, как я уже говорил, жил в то время со своей матерью в Елабуге...

Дима вздохнул, наморщил лоб, вспоминая:

— Как все это произошло? Сидел я в кино, смотрел «Грозу». На экране грохочет гром и отчаявшееся лицо Катерины. И вдруг слышу сквозь этот гром чей-то пронзительный крик: «Сикорский!» Я выскочил из кинозала и увидел Мура: лицо бледное, губы дергаются. Говорит: мать покончила с собой... Потом мы с Сашкой

Соколовским (тоже будущий студент Литинститута, сын поэтессы Саконской.— А. М.) бегали в елабужский совет, добивались разрешения на похороны на кладбище. Не разрешали... Предлагали похоронить в какой-то общей могиле... Оттого, что покончила с собой, что ли? Ходили с Сашкой по каким-то другим учреждениям и все-таки добились...

Мур на похороны не пошел и даже говорил Сикорскому: «Марина Ивановна правильно сделала, у нее не было другого выхода...» И так он говорил всем, называя мать по имени и отчеству,— обдуманно, разумно. Он и не пытался что-нибудь сделать, чтобы мать не сунула голову в петлю. Ее стихи и поэмы сыну не нравились, возможно, по молодости лет.

Я не хочу ничего приукрашивать в судьбе и характере Георгия: каким видел его, таким и пишу.

Около трех месяцев я учился с Георгием и практически ничего не знал о его прошлой и настоящей жизни, кроме того, что видели мои глаза, слышали уши и что мне рассказали однокурсники. Не знал я, что после гибели матери Георгия пытались спасти от фронта. Оказывается, как пишет М. Белкина в своей книге «Скращение судеб», сохранилось ходатайство от Союза писателей, подписанное секретарем Союза С. Скосыревым, с просьбой освободить Георгия «от мобилизации в промышленность». Не прошло. Литинститут брони не давал.

Марине Ивановне очень хотелось облегчить участь сына, чтобы он уцелел в это страшное время. В ее предсмертной записке есть слова, обращенные к Николаю Асееву:

«Дорогие товарищи!

Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь...

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет. Адр. Асеева на конверте...

Дорогой Николай Николаевич!

Дорогие сестры Синяковы!

Умоляю Вас взять Мура к себе в Чистополь — *просто взять его в сыновья...* берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — *заслуживает...*

М. Ц.

Не оставляйте его — *никогда*. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас.

Уедете — увезите с собой.

Не бросайте».

Известный советский поэт Николай Асеев не выполнил главной просьбы Марины Цветаевой и на старости лет каялся в своем тяжелом проступке, даже ставил свечку в церкви и молился, просил прощения у Бога за то, что так поступил с Георгием...

Мир тесен: ровно через два года после гибели Цветаевой, в 1943 году, меня, студента Литинститута, направили в творческий семинар Н. Асеева. Неопытный, доверчивый, романтически настроенный мальчишка, я был перед войной в полном восторге от его поэмы «Маяковский начинается», от других его стихов.

На семинаре меня немного смутила заурядная, будничная внешность моего кумира. Узколицый, с реденькими, на косой пробор волосами, с неодоухотворенным лицом — ну приказчик в провинциальной лавке, а не поэт! В аудитории было человек пять. Я выложил перед маститым поэтом несколько написанных от руки на листах из школьной тетради несовершенных своих творений.

Асеев быстро пробежал по ним серыми глазами, тусклым голосом похвалил за свежесть несколько метафор и справедливо разнес банальные, небрежные строки и десяток первобытных рифм. Было такое ощущение, что вести семинар ему скучновато; или виной тому были наши слабые стихи?..

Скоро Асеев перестал вести семинар и исчез из института.

Умер Асеев в 1963 году. Проститься с ним в Дубовый зал ЦДЛ пришло мало-мало народу, и мне было неловко: как быстро позабыли первого соратника главного агитатора, горлана, главаря страны его читатели. Казалось, общество готовилось к более серьезному, углубленному пониманию надвигающихся на страну перемен и к своей роли в них, а время эстрадно-плакатного ликбеза, в который так много внес Маяковский, заканчивалось. Нам казалось, что наступало время поиска истины и правды.

Ожидался приход новой поэзии и прозы...

Возле Ленинградского рынка, куда я время от времени хожу за покупками, есть скромная, неприметная улица Асеева, и, проходя по ней, я всегда вспоминаю его давний семинар, просьбу Марины Ивановны, своего однокурсника Георгия Эфрона...

Из новых книг о Цветаевой я узнал, что тот самый лохотный многоумный Корнелий Люцианович Зелинский, литературные задания которого мы с Георгием выполняли на курсе, дал перед войной внутреннюю уничтожительную, почти доносительскую рецензию на рукопись большого сборника стихов и поэм Цветаевой, на которую она так надеялась.

В книге С. Грибанова «Тайна одной инверсии» я прочел, что полк, в котором служил Эфрон, форсировал Западную Двину — реку моего детства, — занял немало городков и деревень. Только с третьей атаки была взята деревня Друйка. Там, наверно, поднимался в свою последнюю атаку Георгий.

В книге учета полка есть запись: «Красноармеец Георгий Эфрон убыл в медсанбат по ранению. 7.7.44».

В этом медсанбате скорей всего и умер от тяжелых ран Георгий.

После долгой переписки с бойцами 7-й стрелковой роты, в которой служил Георгий, и поисков места его захоронения командир роты написал С. Грибанову о Георгии: «Скромный. Приказы выполнял быстро. В бою был бесстрашным воином». Браславский военкомат Витебской области подтвердил предполагаемое Грибановым место захоронения Георгия и выслал ему фотографию памятника, установленного на могиле советских солдат.

В одном из недавно изданных писем Г. Эфрона есть слова, которые он, много понимавший, глубоко мыслящий мальчик, писал, как бы предчувствуя весь трагизм судьбы Цветаевых-Эфронов: «Неумолимая машина рока добралась и до меня, и это не *fatum* произведений Чайковского — величавый, тревожный, ищущий и вызывающий, а Петрушка с дубиной, бессмысленный и злой».

Георгий прожил всего девятнадцать с небольшим лет и проучился с нами около трех месяцев. Из каждого нашего однокурсника что-то да получилось — одни издавали книги стихов и прозы, другие работали в издательствах, третьи — на радио и телевидении. И нет никакого сомнения, что из Георгия, человека неординарного, образованного, влюбленного в литературу, пусть по молодости лет и заносчивого, вышел бы интересный прозаик, переводчик, литературовед, ученый, если бы судьба в то жестокое и беспощадное время была к нему благосклонней.

Смерть безжалостна. Она в первую очередь выбирает самых незаурядных, ярких и молодых.



Леонид БАТКИН

Тягостные заметки

1

Многие думающие люди в сегодняшней России чувствуют себя застигнутыми врасплох накатом неслыханных событий. Но так происходило всегда и едва ли не со всеми, если уж Клио бралась за дело всерьез. Загляните еще раз в дневники и письма Блока, Вернадского или Пришвина.

Мы склонны слишком быстро забывать, как выглядела линия исторического горизонта каких-нибудь десять — двадцать лет назад. Мы, как водится, крепки задним умом и нечутки к хронологии.

Однажды философ Асмус, прогуливаясь по заснеженным дорожкам Переделкина с философом Лосевым, спросил, почему тот предпосылает своим оригинальным и солидным томам об «античной эстетике» нарочито-марксоидные якобы социологические введения, совершенно устраивавшие редакторов. А. Ф. Лосев, внезапно остановившись, спросил: «Как по-твоему, сколько простоят эта империя?» Асмус пожал плечами. «Тыщу лет!» — выдохнул собеседник.

Мне рассказывала об этом эпизоде со слов Асмуса его ученица, покойная Лина Туманова.

«Тыща лет» — конечно, синоним вечности. А под углом зрения вечности — необходимость выполнять некие внешние условия публикации и совершать сознательно-карикатурные жертвования цензорам может показаться лишеной нравственной неловкости, да и вообще какого бы то ни было значения.

Помню, С. С. Аверинцев молвил мне в брежневские времена касательно вынужденных умолчаний, уступок по части какой-либо цитаты и т. п.: «От нас требуют ритуального самообрезания, в остальном же теперь можно писать, что считаешь нужным». Это было болезненной проблемой лишь для скромного меньшинства печатающихся. И только для сущих единиц соблюдение, пусть самое поверхностное, официальных ритуалов стало уже решительно нестерпимым и немислимым.

В данном случае мне важно напомнить самое простое. Условия времени принудительно диктуют критерии и рамки своего восприятия также и тем, кто из этого времени более или менее выламывается. Настоящее задает границы особенно мыслям о будущем.

Виноваты ли мы, что не предусмотрели, куда пойдет история России, когда стало ясно, что «тыща лет» в общем-то на исходе? Что не были разработаны и предложены серьезные социально-экономические и политические концепции грядущего периода?

Да, виноваты. Кое-кому следовало быть по этой части умнее. Но... разумею, с осени 1991 года. Или, если угодно, с утра пораньше 22 августа... До того приходилось раздумывать только о том, как убыстрить закат партийного тоталитаризма. Дальнейшее в мыслительный оком не вмещалось. Было, конечно, в общих чертах понятно, что воспоследует труднейшая переходная эпоха. Но предметно толковать о ней было бы до Августа занятием пустым, преждевременным, утопическим.

Разве что спорили, способен ли будет вполне возможный авторитаризм благотворно взрыхлить почву для демократии. Или же, напротив, уведет страну далеко в сторону от нее. Я, горячась, стоял на втором, предостерегал против «твердой руки» и против «перехватчиков», т. е. новоявленных кремлевских апологетов «державности». Тем временем Г. Х. Попов рассуждал о том, что правящим демократам неизбежно

но потребуются услуги советских бюрократических спецов и, значит, политическое союзничество с номенклатурой. На деле же это матерым «спецам» до поры до времени пригодились услуги «демократов». Например: «А» и «Б», хитроумный идеолог под руку с оборотистым молодым проходимцем, сидели на московской трубе. «А» упало, «Б» сбежало. Известно, кто остался на трубе.

А. Д. Сахаров совершил перед смертью самую смелую и поразившую всех попытку практического вмешательства в будущее. Но прошло всего два-три года, и его Конституция стала запущенным памятником прошлого, одиноким надгробием. А вокруг чертополох, печальное безлюдье.

2

Это заметки одного из авторов книги, наделавшей много шума десять лет назад, на заре перестройки.

Если десятилетие «Иного не дано» заслуживает быть отмеченным, то уж, конечно, не потому, что сборник кому-то, кроме историков, может быть нынче интересен. Его название означало всего лишь неизбежность основательной либерализации *советского строя*.

Перестройка началась, по сути, лишь с январского пленума 1987 года. Статьи сочинялись по прошествии первого ее года, в январе—феврале 1988-го. Вряд ли кто-нибудь тогда мог бы вообразить даже события первого съезда, «региональную группу» и т. п. И уж вовсе никто не был в состоянии предвидеть, что через каких-то три с половиной года разразится Август. Поэтому я считаю неуместным упрекать себя либо других за то, что мы не разглядели во мгле будущего то, что оказалось «данным» в послеевгустовском итоге.

Тут — и объективно, и психологически — исключительно важна данная историческая констелляция. Я, например, в отличие от моих друзей Ю. Г. Буртина и В. В. Белоцерковского не предполагаю, что Андрей Дмитриевич, сочинявший осенью 1989 года «*Союз Советских Республик Европы и Азии*» и включивший в проект любимую идею «конвергенции», продолжал бы точно так же держаться за это *конкретно-исторически обусловленное понятие* в наши дни.

Сборник был смелым по еще вполне партийным, хотя и быстро размягчавшимся временам. Ибо предполагал куда более радикальную версию перестройки, чем та, что укладывалась в черепных коробках политбюро. Откровенный тон был все еще с оглядкой на возможность легально напечатать этакое — и потому в наиболее дерзких пунктах полуэзоповский. Этот тон и сами идеи устарели уже через год. Впрочем, кое в чем существенном они, напротив, не осуществились поныне. Но кто нынче стал бы все это перечитывать? События развивались обвално. После 1991 года перестройка стала историческим воспоминанием.

Впрочем, в сущности, она победила... в том же смысле, в каком Петр, «пробив окно» в Европу, тем самым модернизировал самодержавие и надолго продлил жизнеспособность русской средневековости. Хотя, чтобы модернизировать советскую подоснову, перестройке и самой пришлось рухнуть вместе с КПСС и СССР.

Единственное, ради чего стоит сегодня затевать публичный разговор по поводу «Иного не дано», — это муторный вопрос, почему же произошло именно так, как произошло. Но и такой вопрос — слишком отвлеченный в глазах большинства читателей. Ответ на него, в свой черед, необходим лишь ради постановки следующего и действительно общественно интересного вопроса: «Куда несет нас рок событий?»

И, следовательно, по каким рациональным мотивам каждый из нас мог бы совместить в своем поведении достойные принципы и трезвый реализм? Как, в частности, повести себя на выборах 1999—2000 годов?

3

Я рискну предложить три пары тезисов и антитезисов, резюмируя в них многое, о чем доводилось писать либо говорить публично в 1991—1998 годах. Это, естественно, личная позиция. Однако попробую обозначить ее в соответствии с претензией на некоторую объективность и уравновешенность, на перекрестке расхожих взглядов, которые сталкиваются в обществе. Ведь эти голоса напряженно спорят и внутри меня самого. Я не стану заниматься игрой в «прогнозы», даже если кое-что мне и кажется наиболее вероятным. Мы все ощущаем растерянность, скрывать это нечест-

но и непродуктивно. Страна в крайне неясном историческом тупике. Рассчитывать на скорый и удовлетворительный выход нельзя, его просто не видно.

В этой ситуации не остается пока ничего иного, как оглядеться и крепко задуматься. Не отбрасывая от порога ни одного здравого соображения, со знаком «минус» или «плюс», ввергает ли оно в гражданскую депрессию или ободряет к действию. Предполагаю, что совершенно разные оценки обозримого будущего могут расти из одного корня, т. е. из фантастически межеумочного и двойственного характера нынешнего положения вещей.

4

Первый тезис.

Август был революционным событием, изменившим историю России и мира. Обстоятельства зашли несравненно дальше, чем предусматривали и желали партийные реформаторы, и — более того — дальше, чем могли бы надеяться увидеть при жизни самые решительные демократические оппоненты позднеперестроечного Горбачева. Нелепо иронизировать над теми, кто с полным основанием ликовал хотя бы один вечер, не веря глазам при виде опечатанного здания на Новой площади. Взгляните на это не из 90-х, но из 80-х.

Первый антитезис.

Хорошо ли это, плохо ли, но советская власть рухнула сама при первой же попытке ремонта. Никто режим не свергал, его лишь раскачивали с возрастающим митинговым запалом. Именно поэтому произошла «странная революция»: без подпора каких-либо внесоветских экономических и гражданских структур, которые заблаговременно вызрели бы внутри режима, и соответственно без действительно оппозиционных политических сил, готовых взять власть.

Зато над разворошенным отечественным болотом поднялись испарения: людишки не без способностей. Происходя чаще всего из рядов самой КПСС, они прекрасно приспособивались и ранее, но вот перед ними вдруг открылись пути к мгновенной ошеломительной известности и карьере. Я знал многих таких имитаторов. Наблюдал эволюцию будущих напыщенных постсоветских бонз и взяточников. Безуспешно выступал против них. Нет, не просто было много неизбежной в таких случаях пены: пена заметно преобладала. Например, в руководстве «ДемРоссии». Оттуда часть ее затем залипла в «Демвыбор», в «Наш дом», в новую ельцинскую номенклатуру.

А еще были горячие честные дилетанты безо всякого опыта политического мышления и действия. Да и откуда ему бы взяться?

Странная революция произошла — и это главное — в обществе, советском сверху до низу, застав его врасплох.

5

В некоторых отношениях Август 1991-го впрямь, как иногда делают, уместно сравнивать с Февралем 1917-го. Та же неожиданная легкость крушения самодержавия, та же почти бескровность, то же ликование. Но и то же сохранение прежних социальных структур, та же нестабильность, та же бездарность властей, та же *нерешенность коренных буржуазно-демократических задач*. Соответственно быстрое разочарование «масс», психологический разрыв между ними и государством.

Далее сравнение с Февралем, как и, между прочим, не менее соблазнительно-легкие аналогии с Веймарской республикой, неизбежно начинает сильно хромать. Ведь ясно, что постсоветская (или «новономенклатурная») ситуация исторически прежде всего *абсолютно беспрецедентная*.

Я даже склоняюсь к мнению, что поэтому не может быть *превентивной общей теории* выхода из тоталитарного общества к обществу открытому. Нужны бы точные теоретические и прагматические решения *по ходу дела*. Для таких решений высшее руководство должно находиться у талантливой группы демократов, выстрадавших свои убеждения, идеологов и организаторов, пользующихся доверием, поддержкой и контролем инициативных разбуженных «низов».

К сожалению, это звучит теперь убийственно книжно и доктринерски. Все произошло иначе далеко не случайно: в соответствии с реальным уровнем и состоянием страны.

Тем не менее я вспоминаю бурлящий съезд «ДемРоссии» в конце 1991 года, вспо-

минаю подтасованный расклад сил на собранном в январе 1992-го Совете представителей, нисколько не отражавшем настроений и воли съезда. Вспоминаю свой и нескольких моих товарищей выход — в знак протеста — из движения. И странная мысль не покидает меня вместе с чувством вины.

Многое в тот момент зависело и от «субъективных», т. е. более или менее случайных факторов. Если бы в московском руководстве «ДемРоссии» возобладали люди, требовавшие независимого диалога с Ельциным и пр., давления на власть, а не угодничества перед нею, — движение не рассыпалось бы вскоре на жалкие ошметки. И ныне вся политическая сцена могла бы в этом случае выглядеть по-иному. Во всяком случае, понятия демократии и либерализма не были бы столь осрамлены в глазах населения, не стали бы ненавистными и ругательными. Я в качестве участника и свидетеля, но также и в качестве историка не считаю, что плачевный оборот был неизбежным. Неслучайным, предопределенным, но не неизбежным.

Вообразим, что мощная демократическая оппозиция, которой у нас нет до сих пор, возникла бы еще в 1992 году. Тогда «приватизация» вряд ли могла быть проведена по Чубайсу, а конфискационная ценовая реформа по Гайдару. В частности, вклады населения были бы объявлены долговременным государственным долгом, их размеры можно было автоматически индексировать, условно исчислив в долларах.

6

Итак, одна часть номенклатуры победила в Августе другую часть, повернула лозунги на 180°, обновилась по «кадровому» составу, коммерциализовалась. Все переменялось — и все осталось. Частная собственность стала существенным дополнением к государственной машине. Остались и даже возросли всевластие и подкупность чиновников, «правовой беспредел», пытки в милиции, униженность и нищета половины или большинства населения. Через «черный нал» уже вся экономическая жизнь, начиная с Кремля, стала «теневой». На гербе России можно изобразить знаменитую коробку из-под ксерокса. КГБ переименовали. Переболев, он снова набрал тайную мощь.

Что пришедший режим авторитарный и олигархический, я писал еще в начале 1994 года. Но в России лучше бы выразиться также иначе, употребив фамилию персонажа «Грозы»: это режим «дикой». У власти косноязычные самодуры. Или профессионалы с хорошо подвешенными языками, объясняющиеся и по-английски, это ново, могло бы обнадеживать. Но те и эти «сработались», одинаково беспринципны, почти всегда нечисты на руку. Таков новый «новый класс».

Его «либералы» — это вчерашние партийные технократы, которые, будучи привычно близки и лояльны по отношению к Кремлю, лгут не потому, что никогда не говорят правды. А потому, что, даже когда им случается говорить ее, продолжают лгать, ибо остаются полностью встроенными в поругиваемую ими систему. Ведь на них, «профессионалах», грех ее создания. Но они никогда не стесняются этого, отнюдь. Уверяют, будто иного не было дано. Они обжили премиленький флигель на подворье власти. Туда обожали заходить почаевичать столичные баловни публики.

7

Второй тезис (глубоко пессимистический).

Постсоветский мутант, пошатываясь, все же встал на ноги. Российский строй жизни в основном сложился. Режим... устаканился. Продолжающееся перетягивание каната между коммунистами и ельцинистами или между «центром» и регионами и т. п. это лишь подтверждает. Никакой президент больше не станет выключать в Думе канализацию или палить по ней из танка. Хотя власть, как и капитал, с коим она сожительствует, более не имеет единственного источника, равно и общего дисциплинированного аппарата, явочным порядком выработаны негласные правила игры. Угрозы, демагогия, интриги, драки — да! — но до первой крови.

Государство фракционировано. Оно распалось на совокупность нарезанных вкривь и вкось клановых отсеков, с замысловатой скрытой системой переборок и разборок. Властные группы то враждуют, то заключают перемирие. У них есть общий интерес самосохранения. Это взвесь чиновничества, денег и тротила.

Момент исторического распутия, распада прежних структур, открытого полити-

ческого выбора — то, что физики называют точкой бифуркации, — мы проскочили в 1991—1992 годы, не успев опомниться. Не были назначены новые выборы, не было создано Учредительное собрание. Позорный процесс над КПСС, где обвинители, защитники и судьи равно были в той или иной степени плоть от плоти прежней номенклатуры, явился знаком и залогом последующего «латиноамериканского» варианта развития и невыхода из прошлого.

Мы своих гнусностей не осудили. Мы в отличие от Германии двинулись в будущее без предварительного лечения, с комьями грязи на ботинках.

Расплата грандиозна.

Это теперь надолго. Скажем, на 15—20 лет?

Правда, в родном болоте все время что-то чавкает и хлопает. Но это лишь «информационные поводы». «Продолжайся, русский бред» (А. Блок). Самым адекватным и серьезным аналитиком считаю В. Шендеровича, смотрю по субботам «Итого»: иного не дано. «Горьким смехом твоим посмеюся».

Я никогда не испытывал бездумной эйфории. Был одним из немногих резких критиков Ельцина и до, и после Августа. Никогда не голосовал за него. Числил себя в безусловной демократической оппозиции к ельцинско-хасбулатовскому режиму с лета 1992 года. Пытался в меру ничтожно слабых своих публичных возможностей выступать против «конституционного совещания» и против конституции, которую нам затем навязали. Но есть единственный, зато большой просчет, вину за который я обязан прежде всего возложить на себя лично. Это надежда на подъем «второй волны» демократического движения. Она не состоялась и состоится не скоро. Нет и не будет русской «Солидарности». Тем более наивно уповать, что как-то само собой «снизу» возникнет местное самоуправление.

Нас не ждет ничего хорошего.

8

Второй антитезис (несколько утешительный, хотя все равно грустный).

Будучи по необходимости переходным, нынешнее состояние России являет такую особую устойчивость, сущностной чертой которой является неустойчивость. Власть и страну постоянно лихорадит. Субфебрильная температура сулит неожиданные вспышки, как в минувшем мае. Но одновременно и подталкивает развитие рыночных процессов, пусть грубо деформированных. Если примерно половина общества нищает и впадает в «черную злобу, святую злобу», тем временем другие овладевают российской наукой выживания и прячут в чулок миллиарды долларов. Многие представители крупного капитала дозрели до того, чтобы желать надежного и солидного рынка на «западный», т. е. постиндустриальный, глобальный манер.

В первые десятилетия XXI века будет продолжаться медленный и мучительный дрейф к более современному состоянию России.

В историческом плане это неизбежно так же, как и в Латинской Америке или в Азии. Решение буржуазно-демократических задач, которое не задалось в России за последние полтора века, предопределено тем же вектором всемирно-исторического движения, который проявился в падении тоталитарных режимов, «социалистического лагеря». Извне такому решению будет практически способствовать объективное давление «капиталистического окружения». Эволюция осуществима мирными политическими методами благодаря сохранению кое-каких демократических свобод: если мы сумеем сберечь их хотя бы в нынешнем скукоженном виде, пользуясь уступками власти, вынужденной платить эту цену за модернизацию.

Величайшее недоверие ко всем и вся не сулит остановки развития. Скорее наоборот. То, что я констатировал десять лет назад, назвав статью «Возобновление истории», остается в силе. Вот источник нового «мрачного оптимизма» («Иного не дано»).

Нынешний финансовый кризис, впрочем, может все это перечеркнуть — и в одночасье вздыбить Россию. Если чрезвычайные обстоятельства удастся погасить, вынести за скобки, если девальвация рубля не опрокинет любые прогнозы и расчеты, поставив на их место хаос и диктатуру, — то вообще-то в обозримом будущем *постепенное накопление изменений* более вероятно, чем взрывные процессы. В этом есть и очевидный плюс. Но все же это ситуация *отложенного взрыва*.

Надобно терпеливо накапливать энергию исторического прорыва. Весь вопрос лишь в том, кто сумеет стать в этом деле лидером, Лебедь или демократическая оппозиция, действующая в последнее время грамотно, но, я сказал бы, слишком уж рутинно. Нет упреждающих, необычных, ярких внепарламентских шагов, нет способ-

ности идти к «массам», завоевывать доверие и симпатии человека с улицы, не хватает масштабных идей и поступков.

9

Третий тезис (настолько плачевный, что на случай дурных новостей звучит даже несколько ободряюще).

Если верно, что история страны снова вошла в фазу вязкой стабильности, то, кто бы ни стал президентом через два года, хоть Черномырдин, хоть даже и Зюганов, хоть Явлинский, хоть рычащий Лебедь, первым делом придется по одежке протягивать ножки. Т. е. считаться с диктатом наличной системы распределения и функционирования власти и денег, а не просто осуществлять свои идейные программы, если даже предположить всерьез таковые у каждого.

Говоря сухо, смена лиц и команд ничего уже не изменит со стороны магистральных процессов. Только вкус и запах приправ могут заметно измениться (крайне неприятно или же приятно, впрочем, последнее почти невероятно). Но не само постсоветское блюдо.

Да, личность нового президента внесет очень важные нюансы. Но лишь нюансы. Эти авгиевы конюшни никому не очистить от нечистот. Добавить же оных всегда можно, но ведь и так почти под завязку. Так что апатия населения оправдана интуитивным пониманием этого.

10

Третий антитезис (скорее положительный, но главным образом задумчивый).

Все же возможность продвижения наряду с откатами и сидениями на мели заложена структурно внутри этого же наглого государственного беспорядка, который продвижению препятствует. Ибо глубокая заморозка социальных условий и остановка инициатив более невозможны. Если постсоветская река, лениво катящаяся к мировому океану, раздробилась на множество рукавов, живых протоков и сонных заводей, то приход наконец-то другого президента, да и другого состава Думы, придаст настроениям и состоянию общества все же новое человеческое и практическое измерение. Только какое? Внесет труднопредсказуемый по объему последствий фактор. Но вот какой именно?

Выборы следующих двух лет будут крайне важны.

Не потому, что при Зюганове страна окончательно бы загнулась, нет, коммунистическая реставрация невозможна.

Не потому, что Лебедь установил бы диктатуру, для этого у него нет ни партии, ни многочисленного и способного аппарата, ни благоприятного экономического роста и тугой казны, ни напуганной и послушной страны, ни настоящей идеологии. Одного генеральского норва и смутной российской жажды «порядка» все же маловато для диктатуры. Хотя и вполне достаточно, чтобы наломать дров.

И не потому, что резкое возрастание удельного веса «Яблока» в Думе или даже, предположим, победа Явлинского сразу резко переломили бы обстановку.

Однако при том, что строй устойчиво-рыхлый и население, в большинстве своем его ненавидящее и презирающее, ждет чего-то (или скорее кого-то), перемены оттенков и векторов, исходящих от Думы, тем более от президента, — это единственное, в чем каждый избиратель может принять ответственное участие.

Не радикальное, но общеубедительное улучшение качества жизни *большинства*, изменение вектора принесло бы новому президенту популярность и означало бы мощную социальную поддержку, необходимую, чтобы пересилить инерцию наличного состояния. Возник бы эффект снежного кома.

Этому препятствует замкнутый круг: чтобы недоверчивые избиратели поверили в возможность умного демократа-президента, они должны сперва его избрать.

Между тем это единственный оставшийся нам сегмент исторического выбора и альтернативности. Результаты полусвободных выборов могут либо растянуть, как это уже случилось в 1996 году, либо сократить и облегчить смутную пору. Жалок беспомощный расчет на еще более самоуверенный и дикой, чем нынешний, режим личной власти. Губительно равнодушие к смене лиц и законов. Политика (как и бизнес или секс) — необязательно «грязь». Президент-демократ без кавычек не совершил бы чуда. Но было бы, кого критиковать всерьез как *своего* лидера или союзника. Появилось бы основание уважать свой выбор и себя. Сотни тысяч, может быть,

миллионы людей стряхнули бы ощущение бессилия. А там поглядим, не случится ли новое чудо, сопоставимое с чудом конца 80-х и начала 90-х.

Да мыслимо ли подобное еще раз до конца тысячелетия?

Нет, разумеется.

Но почему, собственно, «нет»? Потому, что россияне клянут и не различают политиков. Поддержат же того, кто прост, как ложь, выскочит чертом из табакерки и для меня абсолютно неприемлем.

Однако я-то сам буду голосовать не за того, у кого шансов сесть в Кремле больше? Да, только за того, кто мне лично политически, нравственно, интеллектуально импонирует. Зная, что останусь в сугубом меньшинстве? Конечно! Проигрыш проигрышу тут рознь. Он может быть не только достойным, но исторически осмысленным и продуктивным. Дорогу для большинства всегда прокладывало меньшинство. Со временем, на чем и основывается всякое движение истории, меньшинство может стать большинством. Кладу свой голос в копилку будущего.

Редко до чего-нибудь доживают, особенно в России. Хотя вот мы ведь дожили после Брежнева, например, до исчезновения очередей и до свободы получения информации, равно и публичного выражения частных мнений.

Загвоздка в том, что взаимоисключающие тезисы и оценки относительно ложны, будучи взяты в отдельности; но, по-моему, они верны вместе.

Как же пробраться между Сциллой и Харибдой? Между горькой трезвостью и идеализмом действия. Между желанием поступать практично и способностью заглядывать, сколько достанет сил, вперед, задаваться *историческими* целями. «Требовать невозможного» и притом «быть реалистами», а не прекраснотушными болтунами (см. «Иного не дано»).

Ответ приходится ежедневно вырабатывать сызнова. Каждому политику или просто гражданину, который готов перед собой эту головоломную задачу поставить. Это и есть большая политика, а не придворные назначения и сплетни.

Июнь 1998 года



Александр СУКОНИК

Театр одного актера

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ

...Итак, будем все терпеть, всему верить, все переносить — будем милосердны.

А. Чаадаев. Апология сумасшедшего

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогая XYZ!

Обычные люди ищут порядка в масштабах семьи и небольшого числа подчиненных, но есть другие, те, кто с примечательной настойчивостью работает уже не в семейных, а глобальных масштабах, о, это самые спасители человечества и есть. Те самые, кому известны главные Истины Порядка и все Аксиомы Однозначности, ни больше ни меньше. И даже если потом, когда развеется дым, оказывается, что никаких аксиом не было, а так парочка-другая жульнически сомнительных теорем, на которые понапрасну загубили энное количество жизней... что ж, это не впервые, вся история существования человечества, может быть, заключается в том, чтобы абсолют принимался за относительность, а относительность за абсолют, это у людей называется «жить духовной жизнью»... Поскольку я много лет полагал, что «жить духовной жизнью» необыкновенно почтенно, то в своем теперешнем повороте особенно ощущаю одиночество и с особенной остротой созерцаю, как противоречие и двусмысленность в природе сплетаются друг с другом и из их любовного объятия рождается тот самый парадокс, который, по моему мнению, единственно «цельный» способ постижения реальности. И я знаю, что когда выбираю противоречие, то по крайней мере приближаюсь, насколько это возможно, к реальности, не теряю напряжения, не сдаюсь филистерству односторонности.

...Конечно же, к моей трансформации следует подходить с иронией, а не с восклицательным знаком: здесь не столько человек играет на трубе, сколько судьба играет человеком, что всегда несколько потешно. Я замахваюсь на некие человеческие ценности с таким гротеском, потому что я продукт своего времени и своего общества. Стоит ли говорить, что советское время было до коллик в животе одним из самых упорядоченных в истории человечества? Но это не все. Пик моего так называемого «духовного возмужания» приходится на шестидесятые годы, и именно эти годы были, как это ни парадоксально, самыми гладкими, благополучными и однолинейными, еще похлестче ортодоксальных советских лет. Я имею в виду то, что по всем признакам их следует назвать годами «пробуждения», а между тем никакого настоящего пробуждения вовсе не случилось. Это так называемое пробуждение адресовалось к поверхности, к тем чертам советской действительности, которые можно назвать «новыми», «революционными», даже «случайными» или «уникальными», между тем как более скрытные ее черты — в известном смысле закономерные и неизбежные, шедшие из конфликтов и запросов прошлого — совершенно не принимались во вни-

мание. Советская действительность в своем подспудном и глубоком смысле пыталась не достичь каких-то новых пропагандных «высот коммунизма», но остановить ту эволюцию, которую на самом деле совершала по направлению к голове Медузы Горгоны европейская цивилизация. Разумеется, с точки зрения торжества Однозначности Порядка голова Медузы означает безусловную смерть; разумеется, тут нет ни малейшего проблеска предощущения возможности обратной стороны медали, той самой стороны, которую с другой стороны ощущает народное сознание и выражает через сказку про Иванушку-дурачка, ныряющего в чан с кипящей смолой и появляющегося оттуда несказанным красавцем. Так вот, шестидесятые годы, нападая на советчину политически и идеологически, на метафизическом уровне продолжали ее задачу, помогая ей камуфлироваться иными идеологиями.

А-а-а, конечно, шестидесятые годы, диссидентство, чтение «Доктора Живаго» и Солженицына, самиздата и тамиздата, открытие Платона и русской идеалистической мысли, новообращенские восторги и прочее. Все это наполняло нас фальшивым ощущением собственной значительности, способности якобы философски и независимо мыслить, творчески постигать реальность, обнаруживать свободу — на самом же деле конструкция нашего мышления ни на йоту не изменялась. Единственным, в чем мы оказывались творчески автономны и точны, был наш сарказм и юмор по отношению к советской власти, то есть наше сугубо негативное мышление, а между тем согласно всем истинам, формулам и иерархиям, которые мы с благоговением заимствовали у прошлого, негативное мышление не слишком могло котироваться. Через это неумение оценить, то есть найти себя, чтобы, уже отталкиваясь от этого, искать собственную иерархию, выявлялась наша неспособность к независимому мышлению, и все происходило, повторяю, на фоне гладкой стабильности накатанных и безусловных понятий, которые мы вычитывали из тех или других книг.

Философствующих моралистов я пока оставляю в стороне и скажу, что хотел бы сделать с учеными, желающими философствовать: я хотел бы лишить их дара человеческой речи. Хорошо бы научиться распознавать призвание будущих ученых с детства, открыть такой ген, который, как метка на лбу, и как только родилось дитя — тут же его в отдельный для ученых вундеркиндов загон. А там только на $=+\backslash<^{\wedge}\#@\% \geq \downarrow \Sigma \alpha \lambda$ и идут разговоры, вот тогда и установился бы на Земле настоящий порядок. Пусть орудуют знаками ученых формул и законов, тут ничего не имею против, потому что порой наслаждаюсь этими формулами, они вносят в мою душу иллюзию порядка не меньшую, чем Шекспир и Достоевский. (А Шекспир и Достоевский *вносят* в конечном счете в мою душу отдохновение, как и в вашу, как и в души тех, кто «понимает толк в литературе», не так ли?) То есть после всех «ужасов», которыми полны их произведения? И вовсе не потому даже, что добро каким-то образом побеждает зло (между тем как втихаря и жульнически побеждает, побеждает!), но благодаря тому, что добро и зло четко и *упорядоченно* разделены — как и положено согласно Винеру или Бердяеву в следующей степени порядка по сравнению с реальной жизнью... А если по моему понятию, то в фокусническом, миражном «порядке», придуманном для нас этими «великими писателями», которые велики не тем, что проникают глубже в некую «правду жизни», но тем, что лучше знают, как потрафить своим и нашим слабостям — разумеется, чтобы всем нам выжить, разумеется, чтобы выжить...

Видите, какие некрасивые вещи я говорю после того, как побывал в котле с кипящей смолой и не шибко благодушным красавцем вышел оттуда... Или еще не побывал, только собираюсь, и потому мои лицо и мысли так сварливо клокотливы? Но у меня есть цель, мои парадоксы промежуточные, как промежуточна моя жизнь... Это там, в окончательно другой жизни я, быть может, стану благодушен, а здесь с чего мне меняться, с какой радости и стати?

Вот, например, расскажу, как встретился в Нью-Йорке с одним из моих друзей по шестидесятым. Он приехал вначале перестройки, в 90-м примерно году, на какую-то литературную конференцию. Многие годы советская власть выпускала за границу только верных ей бездарностей, а тут разрешили выезжать людям, которых профессионально почитали в иностранных университетах. Мой друг был из тех, с кого начиналось то самое «духовное возрождение», и меня вдруг охватили противоре-

чивые чувства. Пусть я презирал теперь все наши когдатошные совместные «горения и восторги», пусть испытывал глубокое равнодушие к книгам и статьям своего друга, а все равно меня куда сильнее все-таки оказались восторг и даже подобострастие: этот человек внезапно явился мне как мимолетное и чудное видение, представителем России, единственно родного мне мира, с которым я мечтал вновь соединиться. Могу сказать с изрядной долей презрения уже в свой тогдашний адрес, что еще не привык тогда к своему одиночеству и думал, что могу избавиться от него, как это свойственно людям, путая местами его причины и следствия. До сих пор мое одиночество можно было воспринять как следствие эмиграции, следствие неспособности вступать с американцами в те же человеческие отношения, то есть испытывать к ним те же чувства, которые испытывал к людям в России, и так далее в таком роде. Поэтому перестройка пришла, как благословение и чудо, и года два-три я жил приподнятой и глупой верой, что вскоре все действительно переменится и Россия станет «демократической страной», что бы эти слова ни значили (по-видимому, мне неяснорозово мыслилась некая предреволюционная Россия с улучшенной поправкой на сегодняшний день, короче говоря, какая-то абстракция Идеала Порядка и Цельности). И ведь при всем том я же видел российские черты институтки на выпуске! Я знал тенденции... Но коли веришь, то всегда ведь глупо веришь: умной веры не бывает, равно как и умной любви, это можно еще у Платона вычитать. А тут владелец бакалейного магазинчика, где я покупаю бублики и сыр, говорит: «А, да, я знаю. Мне мой отец говорил: когда уезжаешь из своей страны, то через некоторое время обнаруживаешь, что не любишь ни ту страну, в которой живешь, ни ту, из которой уехал». Это он подметил, что я не улыбочив и неразговорчив, а сам он — американский француз во втором поколении. Мне его замечание не понравилось, но возразить было нечего, потому что он действительно очертил мою ситуацию, по крайней мере внешне. А что касается «внутреннего», то ему и положено оставаться внутри, этому-то я хоть выучился в течение жизни.

Так что, когда приехал мой друг, я был в изрядном хаосе чувств. Я умилялся, спешил предупредить его желания, а в то же время иронически и свысока ухмылялся этим желаниям, ласково и насмешливо кивал головой, видя в них мои первые — и на теперешний взгляд никуда не годные — по приезду в Америку импульсы и комплексы. Когда он начинал говорить, я узнавал в его терминологии все те словечки, которые мы когда-то так важно и так «целиком» (то есть в не критической цельности целлофанового пакета) заимствовали у дореволюционной русской идеалистической мысли, у Розанова, Бердяева и прочих и которые теперь звучали для меня отжившими стереотипами — из меня теперь рвалась моя собственная терминология. А он по-прежнему так же значительно, как аксиомы, произносил эти словечки! Помню, как я повел его в подвал к небезызвестному поэту-неформалу Кузьминскому на очередное его performance, где собиралась странная толпа из эмигрантских художников, поэтов, писателей или просто людей, которым было приятно ошиваться вокруг «богемы». И что же, я на всех этих людей весь вечер унизительно смотрел взглядом приятеля, заведомо предвосхищая его реакцию!

— Ну что, тебе понравилось? — спросил я, когда вышли на улицу.

Он отрицательно покачал головой.

— Что, почвы нет? — снова спросил я, заискивающе заглядывая ему в лицо, на что он кивнул утвердительно.

Как будто я не знал, что он мне ответит! Как будто я не был с ним в этот момент согласен! Я, может быть, и вообще был бы с ним согласен, потому что по своим истинным первым импульсам я не меньший почвенник, чем он (что мне доказали двадцать лет жизни здесь), но я уже знал кое-что такое об этих людях, что моему другу и не снилось узнать, я знал оборотную сторону медали, то есть оборотную сторону испытания эмиграцией, которую невозможно было понять приезшему из Советского Союза, каким бы умным или чувствительным он ни был, но в этот момент я их подло и рабски забывал. А ведь именно это испытание сделало из меня человека, а не почвенничество и не чтение Розанова! И поскольку это было сугубо интеллектуальное испытание, теперь я узнавал, насколько у нас никто понятия не имеет, что означает слово «разум». То есть что у нас за разум принимается (и выдается) что-то на-

подобие магнитофона, лента которого покрыта особенно благодушным сальцем важности и пошлости и потому непрерывно прокручивает все те же заезженные слова и понятия... И чем известней и затасканней понятие, тем более дрожащим от экзальтации голосом оно произносится, тем больше мы полагаемся не на смысл, а на магию слов... Что разум наш совершенно напоминает разум средневековых схоластов, способный только на многозначительные вокруг да около толкования вместо прямой направленности на реальность...

Но, впрочем, вернусь к тому, что особенно запомнилось из встречи тогда с другом, о чем хотел вам рассказать. В ходе какого-то нашего разговора речь зашла о Достоевском, и я, желая исподтишка спровоцировать, напомнил, что Достоевский, кажется, говорил о своих колебаниях между верой и неверием. И тут мой друг произнес: «А как же!» — и с чувством и ударением на каждом слове процитировал (ну и память!) известную фразу Достоевского о том, что он дитя века и потому дитя сомнения и так далее.

Это меня поразило, и моя задача объяснить вам почему. Видите ли, если бы он пропустил мои слова мимо ушей, или подтвердил бы с сожалением, что, мол, да, проявил Достоевский в этом деле слабину, или даже — что было бы наивней, глупей и вообще не в характере моего дуга — пустился в идеологические страстные объяснения, что в Достоевском преобладала вера, особенно в конце жизни, ну там Оптина Пустынь и прочее, то я так не удивился бы, хотя, конечно, это вызвало бы во мне раздражение и презрение. Но вот он стоял надо мной (я полулежал на диване), и настольная лампа отбрасывала его тень в верхний угол комнаты, усиливая эффект слов. Тут он еще выбросил вперед руку, как делают, когда особенно хотят подчеркнуть орацию. Он вообще сдержанный человек и на моей памяти всего два или три раза читал с таким неожиданным пафосом. Что же вызывало пафос в данном случае? Мой друг теперь был православный христианин и со своей стороны (после того, как побывал в правоверных пионерах и комсомольцах) вовсе не имел никаких сомнений в своей вере. С другой стороны, Достоевский был для него (как для всех нас, кто «возрождался» на основе русской идеалистической мысли) великим пророком России, в чьих писаниях мы искали и находили символику ее метафизики. Так что пафос можно было отнести к тому, что всякое слово Достоевского для него священо. Однако тут было еще кое-что другое. Он цитировал Достоевского, как актер, подчеркивая слова, но не комментируя и не проявляя своего к ним отношения. Мол, вот слова, сказанные великим человеком когда-то в *его время*, когда все было еще в неясностях и сомнениях, между тем как сейчас нам в *наше время* все уже ясно — благодаря, кстати, в огромной степени Достоевскому же. О, мне все это было слишком хорошо известно! Люди нашего поколения и те, кто постарше, то есть те, кто первым испытал шок переоценки советских ценностей, какое-то весьма значительное время были совершенно убеждены, что обладают неким уникальным опытом и знанием, которого нет ни у кого в мире. Кроме этого знания, у нас за душой, по сути дела, не было больше ничего, и именно потому мы так за него держались и так были в нем уверены. С чувством превосходства мы хотели это знание передать миру (то есть, конечно же, Западу), и то, что мир (Запад) не очень к нам прислушивался и совсем не признавал наше превосходство, доводило нас до белого каления, а также вгоняло в состояние непрерывного сарказма.

А тут случилось, что рраз — и нет советского града Китежа, на дно ушел. И тогда вдруг все перевернулось и оказалось, что наш советский опыт совершенно ничего не стоит для будущего и что теперь Россия уже ничего так страстно не желает, как обучиться у Запада и стать «цивилизованной нацией». Так что люди моего поколения оказались у разбитого корыта вдвойне, но признаться себе в этом они, разумеется, не могли. Теперь слова «цивилизованные нации» («цивилизованная нация») употреблялись в России так же часто, как слова «если будет в воле Божьей», и люди моего поколения не умели и не желали отдать себе отчет, какого иронического рода эклектика имеет здесь место.

Итак, мой друг оставался нерушимо спокоен, будто на дворе стояли те же шестидесятые. Он цитировал Достоевского, и в его голосе была абсолютная уверенность, что если тот был дитя девятнадцатого века, то это его дело, а уж мы в двадцатом веке окончательно усвоили его урок и лучше знаем, что к чему.

Вот к чему я веду: к тому, как нами усваивался «урок Достоевского». В его творчестве нами ценилось не психологически общечеловеческое (термин «психологическое» нами презирался, как позитивистский), или рациональное, или сугубо индивидуальное начало, и не та самая ироническая двойственность, которую нарекли «достоевщиной», но коллективно национальное и иррациональное. Так, например, мы выше всего признавали символику «Скверного анекдота» (предсказание: в России всякий прогресс обречен на гротескный провал) и «Бесов» (с их мрачным описанием абсолютной бесовщины социальных революционеров). Разве могли бы мы допустить даже тень намека на то, что образ Петра Верховенского есть еще специфическое и субъективное порождение фантазии Достоевского, а не только объективно собираемый портрет революционера? Никогда! Мы объективизировали у Достоевского все то, что порождалось не его рациональной мыслью и смелостью проникновения в человека, но его страхами, предрассудками и ксенофобией. Страхы Достоевского — это было то, что нам подходило больше всего, ибо, ожегшись на молоке, мы дули на воду — вот вам самое краткое и верное описание психики людей, восставших якобы против засилья империи страха. Эти страхи мы и нарекали его пророчествами (впрочем, не мы первые), не понимая закольцованной иронии притчи Соломона: «Чего боится нечестивый, то и постигнет его, а желания праведников исполнятся». В том подходящем для России смысле, что если бы не было «страхов», желания удержать все, как есть, не исполнились бы и пророчества. Так что предостережение Толстого, что не следует возводить Достоевского в ранг учителей и пророков, потому что он был весь борьба, воспринималось нами с усмешкой — уж Толстой-то с его рационализмом и либерализмом никак не мог быть нам указкой. Тогда Достоевский, может, и был борьба (откуда сомнения в вере), но в *наше время*, когда мы смогли оценить его *сбывшиеся* темные пророчества и страхи, все утвердилось и стало ясным.

Таково было наше максимальное удаление от ощущения двойственности жизни. По сути дела, история как эволюционный процесс заканчивалась на нас. То есть не то чтобы она останавливалась, но будущее становилось ясным, как день и ночь: например, или Запад послушает нас, или он в своем ожиревшем легкомыслии падет жертвой всемирного коммунизма, люди станут или «глубокими последователями высокой духовности» (православное христианство в целлофане русской идеалистической мысли), или «плоскими позитивистами» и так далее и так далее. И притом — как неизбежное следствие — мы были крайне пессимистичны в оценках будущего: советская власть — это «тысячелетнее царство», Запад — это оплот материализма, а «свет в окошке» для всего мира придет только из «нашего дерьма», и если последнее было не пессимизмом, то его сладостным возмездием (сладостное возмездие — фантазия раба недвижимостей). Когда мыслишь вокруг себя недвижимостями, когда не можешь представить, что внутри каждого целлофанового пакета находятся тысячи других маленьких пакетиков с их собственными конфликтующими ценностями и устремлениями и что поэтому все находится в необъяснимом движении и изменении и будущее неизвестно, тогда истинная способность мыслить полностью парализуется. Тогда мир вокруг тебя замирает в настоящем, которое, в свою очередь, охватывает тебя, как вселенная, и как же тогда не стать пессимистом (если ты не стопроцентный идиот, верящий, например, каждому слову советской пропаганды)?

Теперь вы понимаете, почему я так остро реагировал на замечание друга о сомнениях Достоевского. Его внутреннее спокойствие я немедленно ощутил спокойствием человека, с которого как с гуся вода все самое существенное, тонкое, дрожащее неопределенностью, снижением, противоречием, беспокойством, и самое главное — все наиболее близкое к ощущению реальности существования и потому действительно серьезное, а не «серьезное» на филистерский манер, проповедуемый разного сорта «религиозными мыслителями».

Но русское культурное сознание девятнадцатого и начала двадцатого века как раз приближалось к такому реалистическому мироощущению! И сомнения Достоевского в таком контексте можно бы трактовать как признак силы, а не слабости, то есть сомнения и противоречия великой эстетики Достоевского можно было бы увидеть доказательством его в упор, глаза в глаза приближения к Медузе Горгоне, а не его испуганные вскрики и не Оптину Пустынь, появившиеся уже после того, как он отводил глаза! Но разве можно было такое выдержать? Нужно было еще немного

времени, чтобы подспудное стало явным, и тогда... Но разве можно было такое допустить? И вот теперь, когда «заканчивалась» советская власть, которая очень помогла русскому сознанию вновь удалиться в область однозначной недвижимости «порядка»... То есть не она сама, но то, чему она служила и что теперь с таким совершенством воплощалось в моем друге и многих ему подобных...

Но действительно ли «заканчивалась» советская власть? Действительно ли заканчивалось то подспудно русское, что лежало под ней? Ах, кругом идет голова, когда читаешь сегодня русские журналы и книги! Ну и дела, как мгновенно у нас все схватывается и на все есть отклик, да еще с лирико-поэтическим оттенком, ни дать ни взять как пушкинское эхо, право! Западные идеи так и кружатся, так и кружатся над Россией, как перья из разорванной подушки, знай только озирайся да хватай, не упускай... Это и есть теперешняя жизнь нашей культуры — и как ей не быть такой? Одно дело, когда идеи вырабатываются в процессе жизни: тогда они не вальсируют в воздухе, но берут за горло мертвой хваткой, только хрипишь, выдираясь, и, выдираясь, глядишь, на что-то набредаешь — нормальная жизнь в процессе ее двусмысленности и неопределенности. Однако Россия еще только готовится к нормальной жизни — или по-прежнему до последнего старается избежать ее? — и несмотря на все материальные трудности еще только начинает кое-что соображать о муке рутинной реальности узаконенного хаоса. В России пока серьезен только поиск существования материального (что немало, с чего все начинается!), но насчет зрелости и самостоятельности поиска существования духовного... Тут как будто с шестидесятых годов ничего не изменилось, только расширилось на все население. Вот как тогда кучка интеллигентов набросилась с неопитским восторгом на «другие идеи» «других порядков и цельностей», так теперь ведет себя вся страна. Вот как в советское время люди трогательно, как папуасы, украшали свой быт яркими заграничными склянками, банками и целлофанами, так теперь бросаются на целлофаны духовные. Не важно, идет ли речь о современных французских философах или о православной церкви, потому что православный целлофан выглядит, если вдуматься, еще гротескней и грустней, чем французский. С какой поголовной молниеносностью бывшие комсомольцы и партийцы сменили партийные билеты на нательные крестики: вот уж действительно явление, сравнимое только с библейскими чудесами! Какое, как от спички, обращение целой страны, но разве Россия не была всегда страной чудес? Как будто не бывало семидесяти лет поклонения серпу и молоту и красной звезде! Однако же природа материальности и духовности делает свое дело и в конечном счете приводит подобные чудеса к общему знаменателю. Доводит, так сказать, до кондиции, оставляя в чем мать родила, как вот в сказке про голого короля. Или — еще лучше — как в сказке про невидимый град Китеж, где она под видом этого самого исчезающего Китежа и выступает. И это нам подходит больше всего! Какая другая страна может сравниться с Россией в умении затопить свое прошлое? Не успела сомкнуться над ним водная поверхность, будто и не бывало его. Я имею опять-таки в виду не оперное, как у Римского-Корсакова, любование прошлым — этого у нас хоть отбавляй, — а признание того, что жизнь есть исторический процесс, состоящий из перехода и эволюционного изменения одного несовершенства в другое, а другого в третье и так далее, и что эти переходы неизбежны, как сама жизнь. Но Россия как будто не хочет знать такой концепции жизни, она предпочитает представить ее так, будто она либо град Китеж над водой, либо град Китеж под водой: русское или — или, в котором промежуточное тире не имеет никакого значения, никакой связи, никаких выводов и научений. Я спрашиваю: можно так жить? А Россия отвечает: подумаешь, еще как можно.

Рассудите: кто из нас прав?

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Дорогая XYZ!

Вы знаете, какую ислечку я даю своей душонке в моменты, когда она особенно досаждаст мне, когда в слабости я готов ей сдаться и соскользнуть к столь очевидным идеалам Разума и Покоя? Тогда как крайнее средство, способное пробудить к борьбе мой дух, я оскорбительно нарекаю ее «Михаилом Булгаковым», и

все проясняется (для меня по крайней мере) с достаточной ясностью. Михаил Булгаков с его идеалом уюта под шелковыми абажурами, вкусом на балычок, умением профессора Преображенского жить... Вот именно определившийся в своей разумности Булгаков, но так ли все разумно и однозначно в жизни, как в его парочке: профессор Преображенский тире Шариков? Или же, что то же самое, так ли все просто в жизни, как в пресловутой парочке Конан Дойля: Шерлок Холмс тире доктор Ватсон? Прошу прощения, я хотел сказать: так ли все разумно и ясно в жизни, как в Платоновых парочках: Сократ тире мальчишки-для-битья Сократа? Скажу вам, что теперь если я иногда берусь читать Платона, то только как читают детективы в минуты, когда хотят отключить мозг и отдохнуть от непрерывного противостояния малоприятным неопределенностям жизни. И если вас удивит, что отношу Платона к области *entertainment*, то вспомните, что в предыдущем письме говорил об искусстве. Впрочем, что тут я, вспомните, что писал об искусстве Толстой и как его тут же объявили сумасшедшим, что ж, пусть и меня объявят, какая разница. Я уверен, что и Шекспир так думал, просто не формулировал свои мысли, удовлетворяясь ролью мага-развлекателя, за что Толстой его так невзлюбил. Но искусство по крайней мере способно передать через форму трагедии беспокойство неопределенностью, спасибо ему за это. В этом состоит его истинная гуманность, и люди чувствуют ее, а как сохранить гуманность, если мыслишь так же кристально ясно, как Аристотель или Кант? Как сохранить гуманность, если, как отметил Кьеркегор, заранее знаешь за Авраама, что «Бог да усмотрит себе жертву», то есть знаешь, что религии заведомо заливают все патокой завершенности? Тут же опять хочу сказать насчет Достоевского: не потому ли гнезилось в нем беспокойство, что несмотря на все свои религиозные восторги и националистические вопли он в глубине души мучительно знал, что *Иисуса распяли консерваторы, а не прогрессисты?* Я вспоминаю его иронический комментарий к библейскому требованию возлюбить ближнего: дальнего-то легко полюбить, а вот попробуй полюбить ближнего — и немедленно прикладываю это к прогрессистам, таков мой «прилагательный» модус мышления. Я обнаруживаю тут замечательной неопределенности воронку-игру, одну из тех, что затягивают в себя без остатка: Достоевский знал прогрессистов досконально, потому что начинал в их компании, но не в этом даже дело, а в том, что по восторженному темпераменту, то есть самому интимно сближающему, он и они (например, с Белинским) были одно и то же! Между тем как с методическим и скрупулезным Страховым, не говоря уже о придворных консервативных кругах, в которых ему так льстили подвизаться, они совершенно расходились в темпераментах (из «Идиота» это видно)! Так вот, кто такие «ближние», которых трудней всего полюбить? И кто такие «дальние», которых любить куда как легче? И тут только намек, только начало, оттолкнувшись от которого неизвестно как далеко можно зайти, перебирая тех, кто близок, ближе, ближе, ближе... Нет, нет, «здоровым духом» здесь делать нечего, им надо бы, зажмурив глаза, бежать к стенам церкви и благостно креститься на купола... Или опять же к математическим формулам...

...Как, однако, ирония правит историей! Считается, будто на наш век пришел расцвет экзистенциализма, а ведь это дымовая завеса, фальшь. Истинный экзистенциализм осуществился в XIX веке через Кьеркегора и Ницше, по сравнению с которыми Сартр ловкий плагиатор, а Хайдеггер не более как очень хороший профессор философии, но дело не столько в этом, сколько в том, что Хайдеггер и Сартр были те самые люди, которые, по сути дела, поставили групповое выше индивидуального (нацизм и социализм соответственно), и с тех пор все покатило по определенной наклонной плоскости (которая иным кажется, наоборот, наклонной плоскостью, восходящей к вершинам групповой справедливости). Я не стану спорить, вверх или вниз ведет плоскость, но совершенно ясно, что она ведет, то есть привела к господству мышления, по своей природе способного не к открытости и искренности, но к расчетам, опасениям, эзопову языку, намекам между строк (мол, те, кому нужно, поймут) и различного рода демагогическим приемам. (Король такого мышления философ Деррида, но о нем отдельно, отдельно.)

И что примечательно, процесс шел параллельно, как на буржуазно-демократическом Западе, так и в нашем социо-тоталитаризме, хотя, казалось бы, мы были совершенно изолированы от Запада и естественного хода истории! Я имею в виду, что у нас группово-политический способ мышления оказался доминантным не только в людях советского офицера, но и в тех, кого потом стали называть огульным словом «диссидент», в том числе в писателях, киношниках и даже художниках. Помню, как в уже перестроечное время русский режиссер-документалист интервьюировал Солженицына в Вермонте и как тот осторожничал, явно не желая оскорбить чувств каких-то своих союзников, приводил какие-то слишком уж безобидные примеры из истории русского империализма, не потому, что был на его стороне, как, например, Достоевский (тот тут же бы выкрикнул что-нибудь атакующе страстное!), но именно осторожно осуждал, и даже помню, как запнулся, явно соображая и калькулируя. Я всегда знал за Солженицыным эту черту — высчитывать, до какой степени ему быть публично искренним, и знал, что люди обычно отмахивались, когда указывал им на это: «Ну что же, мол, делать, был зеком и зеком и останется». Соглашаться с этими людьми я никогда не мог, потому что в определенный отрезок времени он был для меня большой писатель и таковым (в том отрезке времени) и остался. Но ведь большие или просто настоящие писатели в наше время — это такая редкость, такой живительный глоток воды в пустыне! А секрет настоящего писателя всегда лишь в одном: он атакует, а не защищается! Только в атаке можно обрести истинную (индивидуальную) свободу, в то время как защита — всегда дело коллективное, озабоченное и потому заведомо несвободное. И Солженицын умел атаковать, умел быть вызывающим и неприятным индивидуалистом, да еще таким, каких не только у нас, но и во всем мире днем с огнем поискать надо было. Но и он не сумел преодолеть зловещую звезду своего времени... Недавно я наткнулся на описание разговора Толстого с Леонтьевым, когда Леонтьев говорит: я бы на месте властей вас, Лев Николаевич, за такие мысли арестовал. А Толстой ему в ответ с азартом: голубчик, умоляю, вот вы и скажите где нужно, я и так стараюсь, но никто не обращает внимания! И в тот же момент, когда я прочитал это, у меня в голове вспыхнуло сравнение с Солженицыным — наверное, потому, что по стилю он больше всего напоминает Толстого. Какая тут детскость в старике Толстом, какая открытость! Вот это и есть та самая экзистенциальная настроенность, которая единственная способна подарить художнику максимализм и непредвзятость, необходимые для истинной великости. Но Солженицын по ряду конкретных историко-социальных причин не мог быть так же свободен, как Толстой, — никто не властен над своим временем, никто не свободен от него.

..Я знаю, что когда-то Свифт в «Путешествиях Гулливера» расправлялся со «школярами», но куда уж сравнивать свифтовские времена с нашими! XVII, XVIII и XIX века — благословенное и невинное время, когда человек мог, прогуливаясь по лесу, разглядывая листочки, слушая пение птичек, делать открытия, непосредственно доступные живому уму, как выходило у Декарта и Ламарка, Ньютона и Дарвина. Тогда человек еще состоял с природой в полном контакте. Но что же остается человеку, пытающемуся прогуливаться таким манером сегодня, как не роль посмешища, изобретателя деревянных велосипедов наподобие трогательного Георгия Гачева (не знаю, есть ли за границей люди такого сорта, наверное, есть)? Что делать современному человеку, который желает отличиться в области «здорового смысла и живого ума», а между здравым смыслом и живым умом, с одной стороны, и натурой — с другой давно пролегла дистанция, которую не покрыть ни ухом, ни носом, ни глазом, а только с помощью $\neq \sqrt{\alpha} \geq \sum \alpha \lambda$? Что делать человеку, если между ним и листочками с птичками давно пролегли бетон, сталь и черное стекло зданий мегаполиса — короче, все то, что отделяет его от земли и именуется технологией XX века? Я вот живу в Нью-Йорке уже двадцать пять лет и только сегодня по случаю сообразил, что у меня нет платяной щетки, потому что в ней нет нужды. Подумать только, платяная щетка, такой привычный предмет не только обихода, но и вообще культуры в моей прежней жизни! От обиды у меня даже навернулись на глазах слезы, право. Когда же я в последний раз запыллил не то что манжеты брюк, но самые туфли? Однако пыль — это как прах, который при случае следует отряхнуть с наших ног, а если нет праха, что же тогда отряхивать? Я тоже хожу гулять в здешний лесок и порой

набредая на одиночек или группы людей с биноклями, их здесь именуют «birdwatchers» (наблюдатели птиц), так что же, это, по-вашему, те самые натуралисты, что и в прошлом веке? Держи карман шире. Да разве ж те *в бинокли природу рассматривали?* Вот тут и разница дистанции, тут и отчуждение, о котором говорю. Высматривать птичек в бинокли и затем ставить галочки в записной книжке — это то же самое, что держать в квартире на сотом этаже кастрированного кота, не позволяя ему даже выходить на пожарную лестницу. Разумеется, вы этого кота нежно любите, разумеется, вас тянет высматривать птичек от тоски жизни в железобетонном коконе, но не делайте это с претензией, будто хоть на несколько мгновений восстанавливаете некую «гармонию прошлого». Ваши, человека времени, технологии, отношения с животным миром так же специфичны (уникальны), как были специфично-уникальны взаимоотношения людей и животных в прошлые времена, и в них так же мало пресловутой гармонии. Гармония — это мифический термин, который всегда обращен в прошлое или будущее и на самом деле означает обыкновенную неудовлетворенность настоящим.

Вот где причина того, что ум знаменитых профессоров знаменитых университетов нельзя более называть ни живым, ни любознательным, ни даже талантливым, и для его описания нужны какие-то другие слова. Но в отличие от Свифта я готов поклониться этим людям, распознав их тайную муку, в которой заключена мука нашего века, и отдавая должное их слепому следованию времени. Например, я никак не собираюсь кланяться профессору от философии Хайдеггеру, который ясней других понял зловещесть проблемы технологического кольца, очертившего нас. Напротив, выражаю ему свое презрение: что с того, что он распознал проблему, если испугался ее, а испугавшись, попытался до конца своих дней ускользнуть из своего времени в романтику нацизма? Вот так же когда-то пытались ускользнуть от появления Иисуса члены синедриона, и чем это кончилось? «Свое время» всегда неприятно, и чем оно острее проявляет себя в своем качестве, тем неприятней выглядит. (Можно себе представить, как малоприятно выглядел две тысячи лет назад в глазах умных и образованных иерусалимских евреев некий местечковый плотник, сопровождаемый группой восторженных невежд.) Время потом судит нас всех не по пронизательности ума и даже не по интуиции, а по способности без страха и зачастую глупо взваливать на свои плечи его бремя (или по неспособности избавиться от него). И если сравнивать наш век с предыдущими, то я бы назвал его веком фотографов по сравнению с веками художников. Я имею в виду, что фотографы — это особое рода мученики: даже если они знают, что хотят сделать, то все равно ни на иоту не одарены способностями рисовать или накладывать краски. Они напоминают мне существ без рук и ног, оснащенных автоматическими конечностями, которыми они с огромными усилиями управляют при помощи мозговых импульсов. То есть там, где художнику стоит только провести несколько штрихов, сделать несколько мазков кистью, фотографы потеют, собирают огромные технологические средства, выжидают удобный момент, который следует «схватить», и все это напоминает неуклюжую механическую походку чудища, сотворенного доктором Франкенштейном по сравнению с никогда уже более недоступным ему легким полетом танцора.

Но я люблю фотографию, даже если она «парикмахерское искусство»! Но я не знаю никакого другого времени, кроме своего! Но я сам в своей мучительно медленной способности писать напоминаю безрукого и безногого! Так что, если я сперва назвал современных ученых гуманитариев бездарностями, а потом сказал, что готов им поклониться, не удивляйтесь и не пренебрегайте моим противоречием: я от него не отрекусь. Примите мое противоречие с иронией, только с *беспокойной иронией*, да еще направьте иронию на меня самого, и я достиг своей цели. Здесь то же самое, что и с идеей порядка, о которой говорил раньше. Сколько порядков и на сколько разных вкусов должно существовать, чтобы удовлетворить желания всех людей? Одни хотят порядка «как когда-то», другие грезят «сверкающими вершинами» порядка в будущем, третьи полагают, что порядок зависит от взаиморасположения звезд, четвертые, наоборот, считают, что звезды тут ни при чем и надо глядеться в глубины наших душ, пятые полагают, что порядок — это когда все голубоглазые блондины станут жить в одном месте, а черноглазые брюнеты в другом, шестые

как раз глубоко уверены, что порядок наступит только после того, как все люди перемешаются друг с другом... Порядок, который одним видится благословением, мерещится другим бездной хаоса и так далее и так далее до бесконечности... Но если вы не принимаете ни один из этих порядков за абсолют, то должны уподобиться вознице, в руках которого множество поводьев, и он только знает себе удерживает их в одинаковой-одновременной натяжке, ни на мгновение не упуская из внимания... Или должны вообразить, что заплетаете многохвостую косу, опять же не упуская из виду одновременность натяжки и усилия... Или вообразить пианиста Глена Гульда, который умел, как никто, вести одновременно в левой и правой руке независимые идеи-фразы фуги... Разумеется, подобное положение требует от вас иронического вонне отношения, но не спасает от того, чтобы вам самому (или самой) стать объектом иронического со стороны взгляда. Таким образом, вы достигаете статуса не просто объекта, но еще и субъекта иронии. Как остро отметил Куросава про роман «Идиот»: «Когда Достоевский захотел написать свободного человека, он воплотил его в образе идиота».

Вот так же действую и я, только с противоположной стороны: ищу крайне несвободных людей своего времени и нахожу их в положении королей и князей современного академического олимпа гуманитарных наук — и тогда желаю выявить двойственность (то есть суть) их явления. Вы скажете: я парадоксален ради парадокса? Весьма охотно соглашусь, потому что парадокс — это признак реальности, которая прячется за фальшь очевидности. Вы скажете, что переворачиваю вещи с ног на голову? Прекрасно, потому что — а что выходит, когда пытаются (вот как Маркс) поставить вещи с головы на ноги? Надо понимать, что, коль скоро мы имеем дело с человеком, двойственным по своей природе, все законы здравого смысла следует выбросить в окошко, и только тогда у нас появляется шанс приблизиться к так называемой «истине». Черта нашего времени — это предохранительный штифт групповщины, закладываемый в нас сызмальства. Какова же цена за попытку избавления от этого штифта? Несколькими строчками выше я установил эту цену: ты должен в каком-то смысле быть идиотом, уродом, посмешищем. Я не говорю, что в глазах таких-сяких людей ты так выглядишь, но что в тебе действительно должно быть что-то гротескное, карикатурное, что *справедливо* должно вызывать не только недоумение, но и довольно презрительные усмешки. «Идиот» Достоевского — несколько романтическая вещь по сравнению с тем, что я говорю (потому что вокруг него все равно ореол), — вот как изменились за короткий срок времени, изменилась психология общества, и человеку, пытающемуся сохранить индивидуальность, нужно расстаться с какими-то другими фундаментальными качествами, и не только о пресловутой целостности личности не может идти речь, но и вообще непонятно, стоит ли игра свеч. Конечно, князь Мышкин изрядно физически неполноценен, и в этом величайшая интуиция Достоевского (потому что за девятнадцать столетий до него Иисус, Павел и другие апостолы явно были физически крепкие, активно действовавшие люди, а за два-три десятка лет до «Идиота» Кьеркегор был уже ущербной личностью, а спустя столетие Симона Вайль пошла в этом направлении еще дальше). Однако вокруг князя Мышкина, повторяю, ореол, почти как вокруг какого-нибудь святого, и этот ореол ему создают не только женщины, но и сам Достоевский. Сегодня же не должно быть никакого ореола. Если бы кто-нибудь смог сегодня написать роман или хотя бы рассказ о подобном человеке, то на этот раз только с открытой насмешливостью, даже если...

Даже если — что? Ах, если бы я смог написать такой рассказик, но куда мне! Скажу вам честно: если бы мне вообще хоть какой-нибудь «нормальный» рассказик написать вместо вот этих «рассуждающих писем»! Знаете, какая меня охватывает зависть, если попадаю вдруг, читая журнал или книгу, на настоящий прозаический, пусть даже отрывок? Но, чтобы написать полноценный рассказ, нужно быть, в свою очередь, более полноценным человеком, между тем как в моей натуре есть какая-то недостаточность. Какое-то излишнее беспокойство, которое не дает остановиться на том, на чем хотел бы остановиться. Я напоминаю себе самому себя же в роли отнюдь не князя Мышкина, но Шатова, когда он восклицает: «Я верую, я верую... я буду верить!» (и, разумеется, ясно, что никогда не будет). То есть в моем варианте: «Я

стану, я стану нормальным и спокойным человеком и тогда, может быть, напишу хоть один нормальный рассказик!» А вместо этого продолжаю писать обрывчатые и беспорядочные монологи вроде этого...

Но, может быть, мое беспокойство, кроме всего прочего, проистекает из моего так называемого происхождения? Оно, конечно, может проистекать из игры природы или случайности натуры, однако только происхождение должно играть тут значительнейшую роль. То самое происхождение, которое в обычной терминологии называется «из нацменьшинств», но которое предпочту наречь «капельным», что означает, что ты принадлежишь к отдельной и отдельно взятой капле, которая в людском море-океане каким-то образом никак не сольется с остальными. И потому твоя психика складывается таким образом, что особенно остро видишь, насколько этот океан из одних отдельных капель-то после всего и состоит. То самое сугубо «частное» происхождение, которое подрывает в тебе веру в возможную целостность частных, и заставляет с особенным рвением пуститься в неведомый и нескончаемый путь в поиске истинной и абсолютной целостности того самого Порядка, о котором все время говорю и который, напротив, я знаю, следует высмеять, чтобы соединиться с жизнью.

Посмотрите, как это происходит. Ты как будто берешь разбег из другой, более дальней точки, чем остальные люди, и потому острее ощущаешь дистанцию, которую нужно наверстать. Когда-то, в далекие правоверно-советские времена, ходило в народе сочетание слов «дважды еврей Советского Союза», удачно подклеиваясь к совершенно разным оттенкам разговора, — так вот это определение вполне к тебе подходит, и не потому даже, что ты еврей. Писатель Достоевский не был евреем, а страдал тем же беспокойством, той же тоской по всеобщности, именно исходя из ущербности своей частности. Когда берешь разбег из слишком отдаленной точки, сразу лишаешься чувства отдохновения и гармонии с окружающим — и навек, навек. Ни минуты, ни секунды спокойствия уже не выпадет тебе в жизни. Не веришь ты в умиротворенную тишь и гладь потока жизни, потому что — повторяю — знаешь, насколько он из тех самых, упомянутых выше «капель» состоит. Которые, как тебе известно, только тем и заняты, что борются друг с другом, стараясь потеснить, раздавить, расплющить, разбить друг друга на мельчайшие брызги. Вот почему с такими тоской и рвением пускаешься в путь, пытаешься приблизиться к могущественному и таинственному перекрестку, на котором все-таки должно произойти чудо и капли сольются в единость!

Какая странность человеческой природы: чем меньше веришь во что-то, тем больше стремишься к нему, чем несбыточней снится тебе твоя цель, тем отчаянней преследуешь ее наяву.

Но коли выбираешь путь, то перед тобой рано или поздно возникает стена, задирая голову перед которой, не знаешь более, существует ли упомянутый перекресток за ней или ты по легкомыслию и сантименту только думал, будто должен существовать. Чем ближе к стене, тем жестче испытание: суемудрие поджидает теперь тебя на каждом шагу. Тут тобой овладевают иные ярость и раздражение и даже горечь и ирония, и опять-таки не случайно, потому что самая стена будто бы сплошь из иронических кирпичей и состоит! То есть тебе теперь ясно видна на каждом кирпиче надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — а между тем издалека ведь совсем другое читалось! Издалека, наоборот, всякая надпись оптимистически и непременно высокими словами провозглашала замечательную вершинность дела, достижения цельности и т. п. и потому, вне всякого сомнения, создавала атмосферу добровольного по любви достижения... Откуда возникал такой оптический обман? Или это твой собственный, внутренний обман и судьба просто испытывала тебя: неужели найдется остопоп, что поверит всем этим выпрененным банальностям? Неужели не поймет, что люди благополучно читают эти надписи издали, не думая даже приблизиться и на своей шкуре проверить, и правильно делают, инстинктивно поступая так, чтобы выжить. Если жизнь не смазать салцом банальности и бездумья, как ее механизм крутиться будет?

Я упоминаю механизм жизни и его смазку не случайно, образ приходит ко мне из знакомой книги, знакомого текста, в котором один из примеров попытки достижения целостности — пастернаковский «Доктор Живаго», и вот именно этому пред-

мету посвящает рассуждения маленький Миша Гордон: «Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности».

Итак, «краеугольная беззаботность», та пастернаковская смазка, которая именуется приподнятостью, восторженностью, «безотчетным опьянением общим потоком жизни» и т. д. и т. п. Пастернак отлично знал, о чем говорил, когда объяснял теми же словами суть своего творческого подхода к написанию романа. А только — ах, если бы глаз не приближался слишком близко к тексту, оставляя его именно на таком «нормальном» расстоянии, которое необходимо для несколько бездумного им наслаждения... Если бы ты мог отжаться, так сказать, потоку слов, который несет, убаюкивая приятными высокостями без излишнего анализа...

Но коли глаза приближаются, то сразу: позвольте, да ведь тут прямо разрешение проблемы и достижение того самого пика... простите, перекрестка... и именно в приподнято вертикальном пастернаковском смысле... Неужели именно в смысле креста? Что вы, крест ведь вещь нарочитая и самоосознанная, несмазанный крест на ветру скрипит, а тут сплошная гладь небесной тверди (ну, может быть, с темным облачком-тучкой тут и там): «Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы их главным регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют Царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь...»

Таковы единство и цельность в понимании мальчика Миши Гордона. Следует помнить, что, начиная роман, Пастернак полагал сделать главным героем именно Гордона, то есть еврея, то есть интимно ассоциировать его с собой и своим личным путем к *пресловутым* и магически притягивающим единству и цельности. Но тут что-то не получилось, и главным героем стал Юрий Живаго, которому вовсе не нужно думать о каком-то куда-то в этом смысле пути, потому что он по праву рождения *якобы* принадлежит к тому самому единству, которого лишен Гордон. Я выделяю слова «пресловутым» и «якобы» не потому, что ставлю под сомнение самую идею единства, а потому что иронизирую над пастернаковским методом ее достижения.

Итак: кто произносит слова о краеугольной беззаботности и из какого положения? Их произносит мальчик, которому Пастернак перепоручил в романе свою частность, отдельность, именуемую «принадлежностью к еврейскому нацменьшинству»: «Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечно пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало».

Вот как выходит, что картина земного рая, нарисованная выше,— это действительно «картина» в буквальном смысле слова... или, если угодно, поскольку речь о движении, «кинокартина», нечто, созерцаемое *со стороны*, что за открытие! Поймем ли мы разницу? Вот он, бедный мальчик Миша Гордон, болтающийся в коротких штанишках (или матросском костюмчике, как Пастернак на фото) на своем специфическом частном «еврейском» крестике и даже против своей воли (прольем же по этому поводу сентиментальную слезу), и именно в таком положении является ему видение — как вот у другого поэта написано по другому несколько поводу: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...»

Ирония, ирония... Мы готовы были все это принять за чистую монету, за некую серьезность, отнесясь с уважением к гениальному автору, между тем как тут подтасовка, ловкий прием (как, впрочем, очень часто в искусстве). Обман (или самообман автора или героя, но нам-то что за дело): некая полноценность дается в видении неполноценного, неущербность посредством глаз ущербного и так далее и так далее. Некая высота глазами рабской униженности: «С тех пор как он

себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и при том чем-то таким, что *нравится немногим* и чего *не любят*. Он *не мог понять положения*, при котором, если ты *хуже других*, ты не можешь приложить усилий, чтобы *исправить-ся и стать лучше*.

«Он был уверен, что, когда он вырастет, он все это распутает». И правда, так оно и случилось! Он (Пастернак-Гордон) вырос и «все распутал», написав «Доктора Живаго», вырядив детские импульсы униженности, импульсы раба, который смотрит на себя господскими глазами, в высокий штиль известного догматического стереотипа: все евреи должны креститься, а не то... То есть, может быть, все евреи должны креститься, но не в этом дело. Дело в том, на базе чего, каких первоначальных импульсов нам дается это заключение и чего оно в таком случае стоит. Действительно, чего стоит христианская риторика Пастернака, *его идеал цельности*, и насколько полностью в рассуждениях маленького Миши Гордона отсутствует идеализм как личная вертикальность. Вот именно, хоть как-то бы свою человеческую вертикальность проявил, чтобы можно было ощутить в нем пресловутую «божью искру», а не только то животное-растительное приспособленчество и жалкую обиду, что «не дают»...

Но это не все, и я еще не кончил с иронией. Куда именно, в чье окошко заглядывает мальчик в матросском костюмчике, находя там «высшую и краеугольную беззаботность»? Разумеется, наобльшинства, среди которого живет, — других-то окошек он никогда ведь не видывал: страшнее, простите, прекрасней окошка... простите, кошки зверя нет. Вот он и замещает этой кошкой, или окошком, *этим наобльшинством* «весь божий мир». Но неизбежность иронии его ситуации состоит в том, что «весь божий мир», который видится ему достигшим такой завидной внутренней цельности, — это Россия, русский народ, русская культура, которые знамениты как раз тем, что, в свою очередь, постоянно и с такой же завистью заглядывают в окошки других европейских наций, в окошко цельности «божьего мира» западной цивилизации.

Позиция Пастернака в ее максимальной одноплановости и бесконфликтности кажется совершенно анахроничной, в особенности сегодня, когда миром владеет идея «мультикультурности», идея замыкания каждой расовой и этнической частности в самой себе и сосуществования частностей на сугубо автономных началах. Но разве и пятьдесят лет назад, когда создавался «Доктор Живаго», Пастернак не был так же упрямо анахроничен, не желая считаться со временем?

За пятьдесят лет до возникновения феномена Пастернака у нас возникал феномен Достоевского с его собственным вариантом заглядывания в чужие окна. В отличие от Пастернака Достоевский знал диалектику этого заглядывания, знал его внутреннее противоречие. В «Дневнике писателя» есть место, в котором он описывает крестьян, с умилением и благоговением заглядывающих в окна господского дома, где происходит какое-то торжество, чуть ли не свадьба. Здесь высшая точка достижения умиленной цельности по Достоевскому, хотя, увы, на национальной основе. Но Достоевский желал цельности на национальной основе — тут я опять скажу *якобы* — в качестве необходимого этапа, ведущего к конечной цели всеобщего межнационального соединения. А между тем даже единение на национальной основе не было для Достоевского однозначно. В конце «Записок из Мертвого дома» он бросает радикальную фразу, что на каторге заключены, быть может, загубленные, «лучшие люди России». Кого он имеет в виду под «лучшими людьми»? Отнюдь не политических заключенных, а именно уголовников-убийц, то есть тех, кто взялся заявить искру божью своего «я» не через умиленное заглядывание в господские окна, а через заглядывание в эти окна с целью подпустить «петуха». Через бунт одиночной капли против довольно-таки драконовских законов цельности общеслянского моря-океана. И, зная эту картинку, Достоевский как бы пугался ее и тогда предлагал ту картинку, с которой я начал.

Однако же он не переставал мечтать о «драгоценных для русского сердца» камнях Европы. И однако же к этой мечте тоже легко сегодня отнестись с иронией, потому что тут мечта «с условием»: спасти Европу от самой себя и воссоединиться на тех основаниях, которые ей предлагает всемирное *якобы* русское сознание. Спасти Европу от излишнего отвердения стран в их собственных национальных идеях.

Достоевский, повторю, был больший реалист, чем Пастернак, и он кое-что знал о завидной цельности национального сознания европейцев. Из них всех он, пожалуй, более всего уважал англичан, потому что не сказал о них ни одного плохого слова, а из английских писателей выделял и любил Диккенса. У Диккенса тоже есть мальчик, хотя и не в матросском костюмчике, по имени Оливер Твист, который во время хождения по своим мукам тоже заглядывает на мгновение в окошки некоего буколического английского дома. Я назову Оливера Твиста буколическим мальчиком и всю эстетику Диккенса буколической. Когда Оливер Твист заглядывает в окошки домика, он находится на самом дне жизни, и ему кажется, что между его миром и миром людей, живущих в домике, пролегает необозримая пропасть. А между тем в конце концов оказывается, *что этот домик есть его собственный дом*. Вот в этом и заключается что-то не только буколическое, но даже ностальгическое.

Почему всем, одинаково всех времен и наций (отчужденные всех стран, соединитесь) людям-частностям, людям-каплям, так навязчиво наяву и во снах видится любовь, украшенная возможными и невозможными романтическими гарнирами и подаваемая под соусами различных, одна другой несостоятельней, претензий? Каков здесь баланс, осуществляемый по формуле «как аукнулось, так и откликнулось», единственно способный дать возможность этим людям проживать жизнь от одного дня к другому, в мольбе протягивая руки к миру, с надеждой заглядывая в окна господского дома?

Евреи и русские, русские и евреи — кто еще столько говорит о любви, требует любви, настаивает на любви — к папе, к маме, к народу, к милому отечеству, к Богу, к национальной идее и проч. и проч.? Что за червяк неверия живет в их сердцах, что за комплекс неполноценности владеет их умами и что за несбыточный и опасный идеал гонит их в неизвестном направлении? Вся двухтысячелетняя цивилизация, именуемая иудео-христианской, разве не создана людьми вроде нас, потревоженными людьми, людьми-рабами, людьми-каплями, людьми-частностями, которых можно без конца высмеивать? Именно так, именно так. Но можно ли высмеять самый идеал? Вряд ли.

Тот самый идеал, который не пере-, а *парафразируя* Пастернака, скажем, одни называют Объективной Истиной, другие — Абсолютным Духом, третьи — Богом, четвертые — Тайным Смыслом Историй, а пятые еще как. Тот самый идеал цельности, к которому я призываю подходить с иронией, — верней, не к самому идеалу, а к нашему отношению к нему. Ирония — это единственное средство, которое может помочь сохранить ясность разума и перспективу, смотать повязку с глаз, избавиться от слепых ярости и отчаяния несвободы. Я говорю об этом, с иронической ухмылкой осознавая, на какой именно точке шкалы европейской традиции нахожусь в данный момент. Я знаю, что нахожусь в моменте истории европейской традиции, когда после столетий и столетий попыток достичь Идеала цельности при помощи церквей, религиозных войн, инквизиции, точных наук, романтизма, национализма, империализма, коммунизма или фашизма приходит время «социальных наук», мультикультурности, постмодернизма и деконструкции, пессимистическая цель которых состоит во вреде и химеричности Идеала цельности. И если не подходить, в свою очередь, и к ним с иронией, как найти и обрести дистанцию от них? Как научиться отдавать должное серьезности и закономерности их существования, при этом сохраняя свой собственный, личный оптимизм?

В заключение скажу несколько слов. На меня в течение моей жизни произвели впечатление два описания стремления к описываемому идеалу: одно в известном мифе Платона о пещере и другое в конструкции гегелевского пути к Абсолютному Духу. Теперь же меня не устраивает ни то, ни другое, потому что в них нет ни иронии, ни парадокса. Поэтому у меня возникает собственный образ. Например, представьте небо, состояние которого меняется с каждой секундой: то оно безоблачно и сияет солнцем, то набегали облака, даже тучи, то на мгновение все потемнело, даже пошел дождь, и тут снова проглянула голубизна, между тем как облака несутся, перегруппировываются, конфигурация их каждую секунду иная, и все эти мимолетности кажутся только неустоявшимися состояниями, которые *якобы* приведут к чему-то разрешающему и постоянному, да, да, установится раз и навсегда погода — и все тут.

Или можно еще представить себе настраивающийся оркестр: то одна случайная мелодия промелькнула веселая, то другая, грустная, однако только в преддверии и предвосхищении цельной конструкции, которая найдет им в себе место, объяснит и оправдает... Или нет, вот самое удачное сравнение: представьте, как на позиции собирается армия в преддверии невидимого врага и войска находятся в непрерывном движении, — то фланги выдвигаются вперед, то усиливается центр, то орудия направляются в одну сторону, то в другую (все, видимо, в зависимости от последних разведывательных сведений), и цель здесь занять *якобы* окончательную и наиболее совершенную позицию... Ирония же тут не столько в том, что вражеская армия, может быть, никогда не появится, сколько в том, как каждая конфигурация войск в каждый момент времени кажется наилучшей, чем все предыдущие, — и всего только на летучий момент. Ирония в том, насколько всерьез принимаются последние и неподтвержденные данные разведки и как немедленно перестраивается под них армия — и так всегда, так всегда, до бесконечности. Но я не говорю, что сама перестройка рядов подлежит иронии, напротив, к ней следует отнестись с предельной серьезностью, потому что она трогательна в своем ксизмализме, я только говорю об иронии взаимоотношений между реальным и идеальным, между тем, что есть, и предвосхищением того, что будет. XIX век теоретически, через своих грандиозных мыслителей, и XX век практически, через коммунистов и нацистов, выстраивали человечество в преддверии окончательного Идеала, а вот теперь, на рубеже XXI века, мы имеем постмодернизм, деконструкцию и мультикультурность, которые, наоборот, совершенно смешивают наши ряды, их оркестр настраивается в совершенно какой-то какофонии, их облака бегут-разбегаются по небу в особенном каком-то хаосе — и все это, чтобы единым фронтом встретиться лицом к лицу с той окончательно деконструированной Истиной, что единой Истины не существует.



М а р т

1.3.1978

Через несколько дней после похорон гроб с телом Чарли Чаплина был украден неизвестными из могилы на швейцарском кладбище. На первый взгляд акт обыкновенного вандализма по сути имел совершенно иной смысл. Чаплин не только современный символ, который в широком смысле принадлежит всем и каждому. Дело в том, что он был сатириком и разоблачал человечество и, в частности, отдельного человека (тут следует учесть, что слово «разоблачать» имеет несколько значений). Резонно, что ему заплатили той же монетой. Такова в пределе судьба любого сатирика: общество не прощает ему его действий, но перенимает сам способ действований. Тем более что Чаплин — фигура синтетическая. Известен случай, когда по неведению одного из посетителей в чаплиновской гримерной чуть не потерялись его знаменитые усики (в ту пору накладные). Все сетовали, а сам Чаплин возразил: ничего страшного, стану играть без них. Это ничего не меняло, как ничего не меняло и то, что усики вскоре нашлись. Обнаружили после похорон и исчезнувшее тело Чаплина. Но и само происшествие, да и его главный герой скоро позабылись — человечество быстро меняет свои символы.

2.3.1930

Умер Д. Г. Лоуренс — писатель, едва ли не первый заговоривший в литературе об эротике, как тогда казалось, в полный голос. Разумеется, по сравнению с писаниями даже его современников, например, Генри Миллера, попытки эти трогательны, слабы и незащитны. А сейчас какие-нибудь «Сыновья и любовники» читаются как добропорядочный классический английский роман. Но нельзя скидывать со счетов, что Лоуренс только начинал, и еще поражает необыкновенная радость жизни, пронизывающая его книги, книги, написанные глубоко больным, физически страдающим человеком.

3.3.1933

В Нью-Йорке состоялась мировая премьера фильма «Кинг Конг». Фильм, по тем временам очень неплохо снятый, потряс публику. А между тем в основе лежала старая история о дикой обезьяне, вдруг влюбившейся в красотку, история, по-своему обыгранная Киплингом в рассказе «Бими», а затем перешедшая в массовую литературу, где она прочно обосновалась. Любопытно, что история эта ничуть не стареет, а, напротив, даже очеловечивается, как в сериале о Тарзане. Впрочем, Берроуз и не скрывал, что многое заимствовал из киплинговской прозы, в частности, из «Книги Джунглей», но обработал заимствованное «для бедных». И в чутье ему не откажешь, ведь берроузовские романы предвосхитили сагу о Кинг Конге.

4.3.1927

Чтобы застолбить участки, в самый пик «бриллиантовой лихорадки» в Южной Африке богатые компании наняли хорошо подготовленных спортсменов, с которыми трудно было тягаться простому промысловому. Значение профессиональных навыков и тех, кто этими навыками обладает, то есть самих профессионалов, в XX веке все более повышается.

5.3.1953

Смерть Сталина.

6.3.1930

Замороженные продукты, изобретенные Кларенсом Бирдсейем, впервые поступили в продажу в магазине города Спрингфилд (США). Люди в очередной раз иска-

ли эликсир бессмертия, если уж не спасающий от тьмы и распада, то по крайней мере продляющий жалкие дни человека. Изобретение оказалось очень перспективным.

7.3.1955

Советский Союз присоединился к Гаагским конвенциям, что, однако, почти не отразилось на политике ни внутри государства, ни на политике внешней. Иначе эти действия можно сформулировать так: мы умеем соблюдать этикет, но поступать будем так, как посчитаем необходимым. В конце концов правила этикета — всего лишь условности.

8.3.1988

Еще один пример того, как XX век возлюбил профессионалов. Вернее, сколько много в нашем веке от профессионалов зависит, хотим мы того или нет. В этот день состоялась забастовка авторов сценариев «мыльных опер» (трудно назвать их писателями). Если им не увеличат плату за труд, сочинители грозили, что такие популярные и ныне подзабытые сериалы, как «Династия» и «Даллас», не выйдут на экраны.

9.3.1957

Обнародована доктрина Эйзенхауэра, которая, в частности, гарантировала военную помощь государствам Ближнего Востока в случае угрозы со стороны коммунизма. Аналогичные этой доктрине действия со стороны СССР не имели такого громкого названия, но оказались на то время куда эффективнее.

10.3.1974

На одном из островов Филиппинского архипелага был обнаружен японский солдат, оставшийся там со времен второй мировой войны. Он считал, что война продолжается. Победить армию, где каждый солдат был наделен таким пониманием долга и такой верностью присяге, могла только армия, в которой эти свойства были развиты еще сильнее. И это была Советская Армия, только что закончившая войну с Германией. В связи с этим вспоминается давний детский рассказик писателя Л. Пантелеева «Честное слово», рассказик, который при его появлении сочли странным. Но потом, перед самой смертью, автор объяснил, что он имел в виду. Он сказал, что писал рассказ не о конкретном случае, а о христианской истине, и подразумевал верность своему слову в высшем смысле. Получалось, что установления христианские в каком-то смысле сходятся с установлениями других религий. Какая разница, кто был верен данной присяге, сказанному слову, — русский мальчик или японский солдат.

11.3.1941

Появился американский закон о ленд-лизе, разрешавший делать военные поставки в кредит, давать займы или в аренду вооружение, боеприпасы, стратегическое сырье и продовольствие союзникам по антигитлеровской коалиции. Этот, по видимости, очень мудрый и даже гуманный закон значил одно — американцы вовсе не собираются воевать сами. Что и подтвердила история.

12.3.1918

Столица РСФСР переместилась в Москву. Тем самым не просто восстанавливалась историческая справедливость и возобновлялась преемственность между государством прежним и новым. Возник необыкновенной силы символ, один из основных в системе символики нынешнего века. Москва стала точкой притяжения смыслов, нагнетания их. Простые слова «Говорит Москва» получили особую энергетику, стали деянием, сгустились до предметности.

13.3.1938

Принят указ о введении обязательного преподавания русского языка в школах всех нерусских республик. Империя окончательно почувствовала себя империей.

14.3.1989

М. Горбачев стал Президентом СССР. Оставим этот факт без комментария.

15.3.1917

День отречения Николая II. Царь, отрекшийся от престола, забывший о своем долге перед народом и перед государством, — может ли он после такого называться царем? Он может быть страдальцем, считаться невинной жертвой (хотя кому бы, кроме него, следовало расплатиться, скажем, за Кровавое воскресенье). Но смысл даже не в том. Долго планировали захоронение останков царской семьи, проводили экспертизы, тратили деньги и время. Но, даже и не рассматривая вопрос, действительно ли это были останки Романовых, стоит понять: да, хоронили останки царской семьи. Только семьи, но не царя, которого к тому времени уже не было, он сам под-

писал документ об отречении. В крайнем случае бывшего царя (существует ли такое?).

16.3.1900

Сэр Артур Эванс обнаружил на острове Крит древний город Кнос. Совершать здесь раскопки предложили сначала Генриху Шлиману, немецкому археологу, открывшему Трою. Но Шлиман отказался, считая работы здесь малоперспективными. Вот какова сила детских впечатлений и сформировавшегося в детстве понимания мира. Ведь Шлиман стал искать Трою, сначала наслушавшись старых легенд, а потом и начитавшись таких авторитетных исторических источников, как поэмы Гомера. Если бы божественный Гомер написал хоть строку о Кноссе, вероятно, честь научного открытия принадлежала бы другому.

17.3.1937

Кинематографическое руководство закрывает работу над фильмом Сергея Эйзенштейна «Бежин луг». Образ мальчика, совершившего поступок, подобный поступку Павлика Морозова, был истолкован режиссером с точки зрения христианской символики. Он стал неизбежной жертвой, посвященной неназванному богу. Может быть, самый совершенный по пластике построения кадра фильм Эйзенштейна не сохранился. Остались срезки отдельных кадров, по которым вероятно представить так и не созданное произведение.

18.3.1931

Первые электрические бритвы произведены «Шик инкорпорейтед» в Стенфорде (Коннектикут). Менялся способ бритья, терялась затаенная символика; когда при бритье лица касается лезвие — острая грань меча или парикмахерская бритва.

19.3.1913

Система кинематографических «звезд» победила. Компания «Америкен байограф», последняя, кто держал свои позиции, не афишировал фамилии своих актеров и не пропагандировал их, поместил в одном из журналов фотографии «звезд», указав их имена и фамилии.

20.3.1945

Скончался лорд Альфред Дуглас (Бози), близкий друг О. Уайльда, сыгравший в его судьбе огромную роль. Характерно, что, пока Уайльд находился в Редингской тюрьме, Бози не писал ему и не подавал никаких вестей. Из тех неполных вариантов «De Profundis», которые были опубликованы поначалу, имя лорда начисто исчезло.

21.3.1969

Джон Леннон и его новая жена Йоко Оно устроили собственную демонстрацию. Демонстрация проходила в постели отеля «Хилтон» (Амстердам) во время медового месяца. Это была одна из самых скучных демонстраций на свете. Йоко Оно хотела в присутствии журналистов таким образом отправить свое послание к миру. Если бы она добавила хотя бы еще два слова «труд» и «май» (пусть того — «март»), было бы не в пример интереснее.

22.3.1904

В газете «Дейли иллюстрейтед миррор» (США) появилась первая цветная фотография. Так было положено начало будущей «глянцевой прессе».

23.3.1919

Бенито Муссолини организовал фашистскую партию. Профессиональный журналист, он вошел в политику как хозяин. Один из первых знаков того, что люди, связанные с творческим трудом, будут играть в нашем веке громадную роль (вспомним хотя бы гражданскую войну в Испании, ставшую «войной писателей»).

24.3.1905

Почти на пороге нового века умер Жюль Верн. Сколь он был бы удивлен тем, что многие его предсказания, связанные с техникой, подтвердились, но ни один из нарисованных им в его многочисленных книгах характеров не встречается в этом огромном мире (возможно, характеры и прежде были картонными, но читатели о том не задумывались).

25.3.1941

Покончила самоубийством Вирджиния Вулф. Считается, что она глубоко переживала потерю собственного дома, который разбомбила немецкая авиация. По одной из версий, она утопилась, тело так и не найдено. Много позднее высказывалось

неправдоподобное, но остроумное предположение, будто она стала мужчиной, как героиня ее романа «Орландо».

26.3.1912

Премьера мультипликационного фильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида» означала не просто рождение русской мультипликации. Она означала рождение особого мультипликационного принципа. У Диснея, который работал чуть позже, сначала актер играл роль, а художники-мультипликаторы выхватывали характерные жесты и позы, чтобы использовать их при создании своих персонажей — мышат, гусят и других зверюшек. В фильмах Старевича насекомые действовали как люди, но сохраняли пластику насекомых (некоторые зрители считали, что Старевич дрессирует насекомых, готовя к съемкам). К сожалению, эта мультипликационная система была постепенно забыта.

27.3.1938

Что бы ни говорили о смерти Гагарина, — это слухи. Человек, обладавший «космическим сознанием», то есть могущий в приливе вселенских сил увидеть нечто, закрытое и неподвластное другим, знал, когда погибнет. Знал и тогда, когда летел в космос, знал и садясь в самолет, чтобы рухнуть на землю. Не страшиться космоса и бояться земли — вот тема его судьбы.

28.3.1979

В ядерном реакторе в Пенсильвании (США) обнаружены неполадки, отказала система охлаждения. Опасливые американцы тут же эвакуировали женщин и детей в радиусе восьми километров. А всего через несколько лет был Чернобыль, опасность которого не желали признавать представительные государственные комиссии. И были люди, возвращавшиеся в прежние места, туда, где находился их дом.

29.3.1933

В Германии запрещена демонстрация фильма «Завещание доктора Мабузе». Нацисты прекрасно разбирались в искусстве. Всего днем раньше режиссер Фриц Ланг на одном из званых вечеров встретился с Геббельсом, который высказал восхищение другим фильмом режиссера «Метрополис», а «Нибелунги» попросту демонстрировались по всей стране. Предполагалось даже, что Лангу предложат пост в министерстве кинематографии. Он был человеком умным, а потому сразу после званого вечера забрал коробку с пленкой «Мабузе» и выехал за пределы Германии. Догадался ли он о завтрашнем запрещении фильма, или его отъезд послужил причиной для столь резких мер со стороны властей?

30.3.1992

Фильм «Молчание ягнят» получил сразу пять Оскаров. Это свидетельствует не столько о фильме, сколько о времени. Впрочем, Энтони Хопкинс, сыгравший доктора-каннибала, несомненно, актер гениальный.

31.3.1915

На экраны Америки вышел фильм Гриффита «Рождение нации». Классический фильм, которому не могут простить (ни тогда, ни до сих пор) симпатии в изображении ку-клукс-клана. Но кто сказал, что великий человек должен быть обязательно прогрессивным?



Быть самим собой

●
Олег Павлов. СТЕПНАЯ КНИГА.
Повествование в рассказах. СПб.,
«Лимбус Пресс», 1998.

●

Конечно, эта книга должна была появиться не в конце 1998-го, а много раньше. Уже первые «Караульные элегии» Олега Павлова, напечатанные в «Литобозе» девять лет назад, не просто заставили «обратить внимание» на доселе неизвестное имя. Было очевидно: за этими небольшими рассказами стоит нечто совсем иное, — и не просто «цикл», но именно книга. Потом вышла «Казенная сказка», — это был настоящий, серьезный успех молодого автора, следом — второй роман, «Дело Матюшина». Рассказы, подобные «Элегиям», появлялись то там, то здесь, но о них говорили мало, невнятно, словно не читали, а «перелистывали». А между тем наибольшую силу Павлов показал именно в этом жанре. В романах его чувствуется «нутряной напор», качество для нынешних прозаиков и необходимое, и редкое. Но именно с этой «физиологией прозы» Павлов не всегда может совладать. Композицию его романов этот природный напор надламывает изнутри, и части, составляющие прозаическое произведение, не вполне уравновешены: от каждого «куска прозы» исходит живая волна, но, складываясь, эти волны не усиливают, а гасят друг друга. По сравнению с ранними «Караульными элегиями» проза «Дела Матюшина» стала умудреннее, прочнее, но в «Элегиях» автор лучше ощущал «произведение в целом», умея уравновесить прозаические массы, заставляя звучать и то, что не было произнесено. И в рассказе на четырех страничках умещалось многое.

Жизнь «зоны», с зеками и караульщиками, со змеями, ящерицами, черепахами, с ямами-«могилами», которые роют заключенные для побега, и ямами для солдатского нужника. Над дышащей, исшмыганной мелкой живностью землей — широкое небо. И солдат, ушедший взглядом в синеву. И детская жуть на уме, будто земля пере-

вернулась и ты паришь и можешь в небо упасть. «Вот только ветер холодает в сумерки, и его острое вмиг рассекает чело-вечье горло».

Рассказ? Лирический очерк? Почти нехотя, ближе к концу, — «воспоминаньице».

Жара. Вялый зек нехотя роет яму. Конвойный топчется, то насвистывает, то напряженно смотрит, как ходит острая лопа-та в руках заключенного. Тот, замороженный, устало роняет:

— Гроза будет, служивый... Глянь какие облака...

«Смиров запрокинул голову. И холодное, как ветер, лезвие вмиг рассекло ему горло.

И оно рассмеялось, брызнувши, до ушей».

И — опять яма, могила. Под небом, которого «из земли не увидеть».

Деталь цепляется за деталь, мотив сплетается с мотивом. Один эпизод эхом отзывается в другом. То, что поначалу мерещилось «тихим очерком», превратилось в острый, как «холодное лезвие», рассказ. Две с половиной страницы — медленный и незаметный для глаза замах, и вдруг — резкий удар. И после — оторопь, ощущение странности, нелепости, изначально жуткой несчастья «поднебесной» жизни.

В большей части рассказов та же соразмерность «прозаических масс». А в некоторых (вероятно, более поздних) и та грубоватость, та добротная «шершавость» стиля, с которой встречаешься в романах Павлова.

Мы привыкли чуть ли не каждого, вступившего на литературное поприще, мерить обносками с плеча классиков или полуклассиков. Тот нацепил сапоги Гоголя, густо смазанные дегтем, этот — важное набоковское пенсне (и его лысину заодно), а вот тот — булгаковский берет «как бы непризнанного» с назойливо вышитой буквой «М». После прошумевшей оравы двоечников-постмодернистов проза поуспокоилась, у классиков стали учиться усерднее и тщательнее. Недавно объявленный «новый реализм» уже запах горьковатой книжной пылью — и не хуже, чем пованивали ранее ею же постмодернисты. «Быть самим собой» — по-прежнему задача из насущнейших.

Олег Павлов назвал в предисловии два имени, сыгравшие в его писательской судь-

бе особо важную роль: Достоевский и Платонов. Но он не рабствует, не «учится» у них, как любят теперь учиться «молодые», стараясь обвести каждую букву классической прописи слабенькой еще ручкой. Павлов учится не «прописям», но ощущению загадки нашего пребывания в мире.

«Запастись одним-двумя сильными впечатлениями», чтобы хватило на всю жизнь. Эта формула Достоевского в отношении Павлова оказалась особенно точной. «Караулка» дала ему эти «одно-два» впечатления. И все же пока он ближе стоит не к названным двум писателям, но к Варламу Шаламову с его запредельным «опытом», с его ощущением: «после тако-го» писать по-старому невозможно.

Достоевский всю жизнь вспоминал несколько минут перед казнью и несколько эпизодов из жизни на каторге. Однако писал и о человеке, «перешагнувшем черту», своей судьбой померившем «человеческое, только человеческое», и о «князе-Христе», и о «бесах», и о том, что «каждый за все виноват». И Платонов писал не только о той «части бытия», которую знал житейски, но и о целом «мироздании» внутри каждого человеческого движения.

Олег Павлов лучшее пока написал о караулке и только о караулке. Пока он дал только «часть бытия» — грубо, сильно, подчас горестно. Удастся ли ему, говоря об этой «части», сказать о большем — вопрос, обращенный в будущее. Для настоящих писателей пришли времена недобрые, жестокие. Можно, конечно, оторвать взгляд от шершавой, не всегда уютной земли и ловить зрачками просторную небесную синеву. Но как отвязаться от мысли — не летит ли тебе в горло «острое, как ветер», лезвие?

Сергей ФЕДЯКИН

Единственная новость

●
**Игорь Померанцев. NEWS.
СТИХИ. ПРОЗА. Киев, «Факт», 1998.**

●

Игорь Померанцев выпустил свою пятую книгу. Первая издана в Лондоне, вторая и третья в Санкт-Петербурге, четвертая маркирована: «СПб/Нижний Новгород», в выходных данных пятой стоит:

«Киев, издательство „Факт“». Первая книга, «Альбы и серенады», прозаическая, вторая (как явствует из названия) — поэтическая («Стихи разных дней»), третья («Предметы роскоши») — опять проза, четвертая («По шкале Бофорта») — эссеистика. Последняя, пятая, включает в себя все вышеперечисленные жанры. Книга называется «News».

Литературная судьба Игоря Померанцева такова, что существует он на всяческом пересечении: географическом, культурном, жанровом. Уроженец Саратова, юный натуралист галицийщины, вольноопределяющийся Украины, немецкий беглец, лондонский анфан террибль, плохой пражанин, Померанцев пересаживается с жанра на жанр, как Джеймс Бонд с красотки на «Роллс-ройс», а с «Роллс-ройса» — на подводную лодку. Но жанры он не использует, а создает; точнее, воссоздает заново. Если верить Шкловскому, литература воссоздает смысл вещей; Померанцев воссоздает еще и смысл жанров.

Померанцев панически боится одного — повторения, монотонности, заезженности. На слово никому не верит, поэтому: «Сказать себе: напишу-ка я хороший рассказ — это уже сдать, поверить кому-то на слово. Вот, мол, правила игры, и ты, следуя этим правилам, постарайся стать чемпионом. Но ведь был же кто-то первый, кто придумал эти правила! И для него эти правила были приключением, порывом, жизненным открытием. Как же так случилась, что обретенная свобода оборачивается раболопием? Почему от урока свободы остается гибкая инструкция?» («Вещь» и «жанр»). Постмодернист таких вопросов не задает. Слова «приключение» в его глоссарии нет. Игорь Померанцев — один из последних, отчаянных модернистов русской словесности.

Вышеприведенная цитата из предыдущей книги Игоря Померанцева почти полностью говорит о смысле нынешней. «News» — это и журналистские «новости», и украинская «новина» («добра», надеюсь), и просто «новость». Автор вспоминает пастернаковское «талант — единственная новость, / которая всегда нова». В свою очередь, «новый», «неизведанный» по-английски — «novel», а значит, и «роман».

Вот и получается, что название его новой («new») книги — «News» — есть пересечение разнопредприимчивых устремлений автора: радиожурналистика («новости») плюс литература («Но про самое главное в выпусках новостей никогда не говорилось: про то, что в Вероне юнец смертельно влюбился в юницу, что в Марракеше англичанин среднего возраста не

может оторвать глаз от ключицы мальчика-араба...»), плюс любимая малая литературная родина — Украина («...что в Киве перевели на украинский стихи Поля Элюара: Сьогодні вранці/ прийшла добра новина:/ ти снила про мене»).

Книга состоит из двух частей: стихов и прозы. Стихи Игоря Померанцева имеют важнейшее свойство — они реально *существуют* в этом мире. Эти стихи имеют вкус, цвет, запах, букет. Их перебираешь, как камушки, и их плотность, выдержанность, вещность рассеивают любую из вечно модных фанатерий и возвращают к бесхитроумному, но единственно верному ощущению — жизнь прекрасна потому, что есть литература, потому, что есть сама жизнь. Померанцев не открывает и не закрывает бесконечных перспектив ни в исподних, ни в космических сферах. Но может проболтаться в разговоре:

В широком плаще
по ночному парку иду.
Из-за куста
кто-то. Смешной,
думал, что женщина.
Не отчаивайся, брат,
ночь длинна.

Может запросто рассказать собственный сон, да так, будто мама и папа Зигмунда Фрейда еще не познакомились:

Мне приснился эротический сон:
иду вечером
по незнакомой улице
и слышу сквозь
открытое окно,
как две пани
говорят по-польски.

Нет у поэта Померанцева башмаков-ходулей, нет и услужливых боев, таскающих за ним переносную кафедру. Жалко, конечно, что рабство отменили, ведь:

Теперь придется самому
ходить на рынок...

О чем прозаик, эссеист Игорь Померанцев? О том, «что многие слушатели, сидя у радио, совершают кругосветное, нет, космическое путешествие». Что английская погода «меняется несколько раз на день, так что получается, что обычный английский день — это сразу несколько дней, а значит, англичанин проживает в несколько раз больше жизней, чем итальянец или эскимос». Что сам он, Игорь Померанцев, предатель, «зрачник», «предал свое черновицко-буковинское отрочество», «стал невозвращенцем, попросил литературного убежища — пусть самого скромного, — нет, не в русской, а в австрийской словесности. Той самой, где когда-то нашли приют украинец Стефаник, поляк Шульц, хорват Крлежа, итальянец Звево, американец Брех». Борхес утверждал, что каждый писатель создает своих предшественников. Поэтому

считаю, что в цитированном списке не хватает одного шотландца, эмигрировавшего в английскую словесность. Иначе откуда бы взялось нижеследующее: «Помимо германских кукол, в этом музее есть мексиканские духовики, склеенные из пальмового листа, японские самурайчики, индийские слоны из Кондапалли, богородские дергуны и кузнецы, итальянские марионетки из терракоты»? Как тут не узнать детского классификационного восторга героя «Острова сокровищ»: «Английские, французские, испанские, португальские монеты, гиней и лудоры, дублоны и двойные гиней, муадоры и цехины, монеты с изображением всех европейских королей за последние сто лет, странные восточные монеты, на которых изображен не то пучок веревок, не то клоч паутин, круглые монеты, квадратные монеты, монеты с дыркой посередине, чтобы их можно было носить на ше...»? Последняя в книге прозаическая вещь называется «Музей английского детства, или Я ненавижу сына». Ей предпослан эпитафия: «Когда я стану взрослым, большим, гордым, то скажу всем девочкам и мальчикам: "Не трогайте моих игрушек"». Между прочим, из Стивенсона.

Н. ЛУКАС

Письмо в редакцию

●
Неужели достаточно прожить всего шестнадцать лет, чтобы почувствовать всю искусственность того, что нагородило вокруг себя человечество? Когда дети рано взрослеют, это значит, что мы создали мир неблагодарный и они, малыши по сути, вынуждены вместо игр в куклы искать неподдельное. И не все находят... или не все ищут?

И, может, поэтому удивляют строки из стихотворения шестнадцатилетней девочки, сытой и, кажется, всем довольной:

Где неподдельное то,
Что мы всю жизнь так искали?

Сочинительнице этих стихов повезло. Она наконец нашла то, что хоть немного, но время, конечно, утешило ее душу. Неподдельным оказалось произведение раньше неизвестных ей авторов

Нины Горлановой и Вячеслава Букура — «Тургенев — сын Ахматовой», опубликованное в журнале «Октябрь» (№ 5, 1998 г.).

Юная читательница — моя дочь. Имя ей — Ольга. (Ольга не для нее. В ней чересчур много жизни, чтобы быть Ольгой.) Ей не терпится догнать и перегнать меня в количестве прочитанного, а поэтому читать приходится много, она бродит вокруг да около, поджидая, когда освободится книга.

В свои шестнадцать она читала уже Фрейда и Шопенгауэра, Чехова и Бунина, Писарева и Ольгу Чайковскую, Мюссе и Мопассана, Довлатова и Пьецуха.

Повесть «Тургенев — сын Ахматовой» дочитывалась мной нетрадиционно — под строгим взглядом дочери, нетерпеливо смотревшей из кресла и порой спрашивающей: «Ну?! Скоро?» Угораздило меня сказать вслух, что читаю вещь замечательную.

Утром дочь вернула журнал и как-то печально произнесла: «Да... Не сравнить с этими маразматиками...» Беседа была долгой и грустной. Дочь говорила о Таисии, как о своей подружке. Утешала себя, придумывая для Алеши хорошую и счастливую судьбу. Веронику не ругала, пожалела даже. А потом сказала: «Они все такие настоящие... Я даже представляю, где они живут. И, ты знаешь, что самое интересное? Даже плохие — они все равно добрые. И повесть очень добрая. От нее не страшно...»

Не знаю, видел ли кто-нибудь такого умиротворенного подростка, какой была в эти минуты моя дочь. Мне кажется, если б она знала слова Марка Виленского: «По недосмотру редакции вкралась в свет хорошая книга», — именно так и сказала бы в конце нашего тихого разговора, хотя, без сомнения, «недосмотра» в редакции журнала «Октябрь» не было.

У повести «Тургенев — сын Ахматовой», может быть, и есть свои недостатки, но они до такой степени человечны, что было бы грех мусолить их. Не рычим же мы на ягоды малины за косточки в их изумительной мякоти.

Не было ни восторга, ни смятения, ни возмущения. Что-то поселилось в душе робкое и доброе, как музыка... А что? Разве возможно это объяснить? И только девочка смогла подсказать, почему так хорошо стало на душе: «От нее не страшно...» Повесть не пугает ни глупостью, ни похабщиной, ни кровью, а правды жизни в ней не меньше, чем у Солженицына. Но без опостылевших криков, обвинений и приговоров. Герои повести успели и в Чечне побывать, и в Турцию — Грецию

наездиться за товаром, и без зарплаты сидят, и подрабатывают как могут. До прочтения этой повести казалось — конца не будет этому шабашу. И вдруг поверилось — будет!

Разве не это — цена произведения? Надежда на лучшее — разве мало? Много ли сейчас таких литературных творений, которые помогают выжить сердцу и сохраняют веру в прекрасное? Значит, есть еще литература. Значит, не все души испохабило время. Не все литераторы погнались за легкой наживой и наполняют соответствующим содержимым все терпящие страницы.

Все не могу забыть беседу с одним нашим петербургским прозаиком из числа тех, кто раньше писал «так себе», а теперь пытается примерить одежду по моде и делает пробы пера в стиле новоэстетствующих. Этот литератор, рассуждая о достоинствах и недостатках одного лирического рассказа, важно и мастито сказал: «Голубые глаза... Чистый образ... Все бы хорошо... Но дерьмеца не хватает». С какой любовью-то произнесено: «дерьмеца». Как маслица... Думаю, прочти он повесть Н. Горлановой и В. Букура, сказал бы то же самое.

Когда на фоне широкомасштабного надругательства над литературой появляются произведения, подобные повести «Тургенев — сын Ахматовой», и впрямь становится легко. И несколько дней душе хорошо, но потом возникает тревога: а вдруг это все и больше ничего не будет? Ведь не секрет, что зло агрессивно, а добро, как желтый цыпленок, миловидно, но слабо.

Но тревогу убаюкивает дочь — человек завтрашнего дня. Она противоречит себе, но заявляет уверенно: «Вот эту повесть я и дочке своей дам почитать! И ни за что этого маразматика...» Я спрашиваю, словно предупреждаю: «И как твоя дочь будет отличать плохую литературу от хорошей?» Как всегда, у Ольки ответ готов заранее: «Плохой литературы не бывает. Литература — это только хорошее. А все остальное — китайское барахло: до первой стирки». На этом наш разговор на время прерывается.

Дочь подает мне свой дневник. Читаю и удивляюсь: доброта повести породила еще одно добро. В «личном дневнике личности» моей дочери появились новые стихи и рассказ о девочке Таисии и ее удивительной семье — островке добра и понимания в вечно недовольном океане жизни. И верится: пристыдятся волны трогать отца и мать Таисии, вырастивших пятерых детей; дом, в котором вместо воздуха — добро; людей, за последние деньги пы-

тающихся спасти жизнь умирающему щенку; комнату, где всей семьей читают Библию, как кодекс чести, поверяя ею свои дела; мир сердец, умеющих шумно отмечать праздники и по-человечески любить друг друга; скромное и уютное жилище, когда вечерами в нем работают художницы — мать и дочь, расписывая тарелки; всех тех, кто умеет плакать над горем ближних, спорить о литературе и политике, шутить и возмущаться.

И снова вспомнилась повесть. А потом все то, надоевшее и глупое, на что так часто теперь приходится наткнуться в поиске произведений искусства. И подумалось, что и новомодная грязь литературная — признак нищеты. Только чьей? Читателя или писателя? И когда мы перестанем нищенствовать? Скорей бы... В этой бедности — страшнее всего...

Владимир КИВЕРЕЦКИЙ,
биолог
г. Санкт-Петербург

Водяные знаки красоты

●
Владимир Гандельсман. **ДОЛГОТА ДНЯ**. СПб., «Пушкинский фонд», 1998.

●
Владимир Гандельсман — редкий случай питерского поэта, впитавшего все лучшее из петербургской поэтики, но без местных фанатерий: бродской смеси риторики с неуклюжим фразеологом, манерных кушнеризмов, модернистских банальностей дионисийствующих сторожей и дворников. Поэт сдержанной интонации, матового эпитета, напряженного синтаксиса, он далек и от щегольских словечек акмеизма, и от барабанной игривости обериутов.

«Долгота дня» — четвертая книга поэта, библиография которого включает сборники стихов, изданные в России и за океаном, а также весьма необычный роман в терцинах «Там на Неве дом...», напечатанный и здесь, и там. В современной литературе Гандельсман присутствует, как и положено поэту, стихами, в группировке поэтические и геополитические не

входит, скандальных мемуаров не сочиняет. Просто поэт.

«Долгота дня» начинается глубоким гулом «горбатого гребца»:

Я в неоплатном пред тобой долгу
за оголенность слова до весла,
которым толщу океана гну.

(«Данте»),

а заканчивается тихим шепотом колыбельной:

С просторечием простора
слух сплошной не различай.

Успокойся. Мир не скоро.

Спи, себя не различай.

(«Успокойся, это море...»)

Постскриптумом к книге я бы выбрал такие строчки из Ходасевича: «Как спит зародыш крутолобий./И мягкой вечностью опять/ Обволокнувшись, как утробой». Движение сорока девяти стихотворений, расположенных между цитированным первым и последним, — из экстерьера в интерьер, извне — вовнутрь, от жизни — через память — ко сну. А сон, как говорили в средние века, «обезьяна смерти». Долгота дня — приуготовление к ночи, «Долгота дня» — приуготовление к смерти; именно в этом смысле книга Гандельсмана относится к расплывчатой области, именуемой «философской поэзией». Достаточно вспомнить известное определение философии.

Не знаю, будет ли это соображение справедливо по отношению ко всей массе стихов поэта, ведь «Долгота дня» — некоторым образом — «Избранное» Владимира Гандельсмана. Книга делится на два раздела: «1973—1994» и «1995—1998». Смысл этой периодизации ведом, кажется, одному лишь автору — она не совпадает ни с датами его географических перемещений (Гандельсман эмигрировал в Америку до 1994 года), ни с его библиографией. Особенно интересно, что смена частей света не оказала сколько-нибудь значительного влияния на стихи «Долготы дня»: можно отыскать лишь несколько американских реалий в двух-трех текстах и отметить замечательное стихотворение «Я жил в чужих домах неприбранных», в котором даже «негр в прачечной» спит под «блоковский мотив». Как мы уже имели возможность убедиться, сам автор предпочитает усыпать под мотивчик Ходасевича. «Долгота дня» оборачивается «Европейской ночью».

Никакого другого «магистрального сюжета» и тем паче «концепции» (упаси, Господи!) в книге Гандельсмана нет. Есть стихи, каждый из которых родственен предыдущему и последующему кодом поэтического ДНК, но не чувством локтя товарища

по ряду. Читая «Долготу дня», то и дело на-
талкиваешься на удивительные строфы:

...из тех, кто ждет звонка и до звонка
за миг уходит из дому, из тех,
кому не нужно ничего, пока
есть не интересующее всех,
из тех, перебирающих листы
с печатными столбцами, находя
в них водяные знаки красоты...

Не правда ли, это о гипотетическом
читателе самой книги, перебирателе «лис-
тов с печатными столбцами»? Но это и ав-
топортрет поэта, не так ли?

«О как я привязан к Земле, как пе-
чально привязан!» — печально восклица-
ет поэт. И справедливо, только привязан
он скорее к полунищему быту позднего
совка, отсюда все эти «остывающие уют-
ги», «графины с набором рюмок», «рука-
вицы», «ватники», «лампочки в сорок све-
чей» (рифмуемые, между прочим, с «солн-
цем в шестнадцать свечей» все того же
Ходасевича), «котельные» и «запахи ко-
чегарки». Незатейливые вещи своим при-
сутствием придадут стихам Гандельсмана
библейскую не только простоту, но и мно-
гозначность, необычайную серьезность
(что неудивительно, ведь в его поэтичес-
кой родословной мы обнаруживаем Ман-
дельштама: «В области пчел, в рыжей
стране с солнечной осью, / там, где паук
плел мои сны по древесине...»). Ветхо-
ветна и особая «перечислительная» кон-
струкция многих стихов поэта; из небытия,
из многоточий возникают вещи, дома, ре-
ки, люди: «лучше комнаты чистой, пус-
той...», «троллейбус, что ли, крив, / раз-
дрызган и зноблящ», «остановка над дым-
ной Невой, / замерзающей, дымной, / чер-
ный холод зимы огневой — / за пустые
труды мне, / хищно выгнут Елагин хребет, /
фонари его дыбом...». Реестр этот вовсе
не вроде кузминского, пестрого и необяза-
тельного; скорее здесь чувствуется назой-
ливое кружение вокруг одного и того же,
самого важного для поэта: «остановка над
дымной Невой, / замерзающей, дым-
ной...», «домой, домой, домой, / с Крестов-
ского съезжая...» (курсив мой. — П. К.).
Стихи возникают не от божественного
изобилия, а от одержимой сосредоточен-
ности; перед нами не цветное кино, а чер-
но-белое; не Феллини, а Антониони.

За всей этой смесью одержимости,
одионочества, угрюмого отщепенства рас-
положилась не совсем обычная для совре-
менной поэзии традиция. Поэт без родо-
словной — дворянка, как выразился один
поэт. Поэтическая родословная Гандель-
смана включает уже упоминавшихся Бло-

ка, Ходасевича и Мандельштама; редко,
где встретишь эти имена вместе. Ходасе-
вич, помимо утробных снов и коммуналь-
ной лампочки, одарил Гандельсмана це-
лой мышинной стаей:

Вот тебе рукавицы, ватник,
лампочка в сорок свечей,
кружка воды и мышинный привратник.

(«И от любви остается горстка...»)

На асфальте мечется
мышь, кыш, мышь...

(«Утренний мотив»)

Эти серенькие шушращие существа
прибежали в стихи Гандельсмана по велению
автора «Счастливого домика»:

Пусть опять на зов твой мыши
Придут вечер коротать.

Остается неясным лишь одно: согла-
сен ли Владимир Гандельсман с логичес-
ким итогом «мышинистики» Ходасевича:

Только мыши не обманут
Истомившихся сердец?

По «мандельштамовской линии» по-
этической родословной автора «Долготы
дня» проходят не только уже упоминавшаяся
«область пчел» и «рыжая страна с сол-
нечной осью», но и «белоснежный объем,
имеющий зренья и слух»; особенно же хо-
чется отметить «огненный замок, в кото-
ром хранится зерно», построенный по про-
порциям «зернохранилищ вселенского доб-
ра». Что же до «блоковского мотива», точ-
нее, «мотивчика», то он как-то внезапно
выпеваается то в начале одного стихотворе-
ния, то в конце другого; то «на голос отве-
чает голос, / из электрочки тонкую зарю —
/ вот эту — я увижу ли еще раз?», то «пре-
краснее, печальней, человечней / той нерешительности и свободы нищей». Но на
самом деле блоковское влияние глубже,
оно в печати духовного отщепенства, отли-
чающей поэта, «рожденного в года глу-
хие» (восьмидесятые — прошлого века? со-
роковые — этого?); я бы даже рискнул на-
звать другое сочинение Гандельсмана —
роман в стихах «Там на Неве дом...» «"Воз-
мездием" конца века».

Книга горькая, страстная, «Долгота
дня» Владимира Гандельсмана вряд ли за-
интересует любителей литературных рей-
тингов, но члену Тайной Секты Читате-
лей (по счастливому выражению Борхе-
са), ищущему «водяные знаки красоты» на
«листах с печатными столбцами», она по-
дарит несколько счастливых часов. Ведь,
как говорил тот же Борхес, «литература —
скромная разновидность счастья».

Петр КИРИЛЛОВ

Свобода или произвол?

●

Владимир Кантор. «...ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА». Россия: трудный путь к цивилизации. М., «РОССПЭН», 1997.

●

Определить жанр новой книги Владимира Кантора непросто. Это, безусловно, публицистика, автор обращается к большим вопросам современности. Язык книги свободный, писательски раскованный, слог афористичен. Но это вместе с тем и литературоведческое сочинение. Пушкин и Гоголь. Герцен и Тургенев. Книжность как фактор просвещения и свободы в России. Карнавал и бесовщина по Ф. М. Достоевскому.

Однако, по сути дела, автора волнуют не проблемы выявления содержательных смыслов многократно истолкованных сочинений русских писателей. Актуальные проблемы нашего времени (обретение свободы и диктат произвола, насилие и цивилизационные срывы в России, российская ментальность и смена поколений) фиксируются вовсе не для сиюминутного отклика. Основной замысел книги — постижение тайн истории, осмысление ее неустанных авантур, истолкование самой идеи продвижения от одной социальной точки к другой. Книга В. Кантора — несомненно, историософское сочинение, фило-софский труд о судьбах России.

Сюжеты книги узнаваемы. О западниках, славянофилах, евразийцах пишут сегодня немало. Сам В. Кантор обращается к этим проблемам не впервые. Стоит назвать, к примеру, его книгу «Средь бурь гражданских и тревог...» (М., 1988). При расшифровке кодов истории можно идти от бесконечных потоков эмпирики. Вот суждения и сентенции любомудров. А вот реальные факты, цивилизационные сдвиги, социальные потрясения. Есть возможность сделать выводы и обобщения.

Однако на этот раз автор пытается приложить к России некие универсалистские принципы. Он исходит из накопленного в XX веке опыта шлифовки общепланетарного мышления. В. Кантор осваивает на материале России идею схождения цивилизации в драматическом процессе ее разломов. Здесь актуализированы архетипы многотысячелетнего

исторического бытия. Ограничивает замысел одно — судьба России.

Исходной для читателя новой книги Кантора может быть, пожалуй, мысль о том, что человечество насчитывает не одну попытку построения универсалистских цивилизаций. Сегодня это экспансия европейски-христианской культуры.

Политический фактор оказался ныне тормозом на пути культурной интеграции. Замкнутые, закрытые культурные массивы обречены на исчезновение. История знает такие примеры. Это относится, скажем, к курдско-ассирийской цивилизации. В историческом переломном XX веке способны выжить и получить импульс развития только те культурно-цивилизационные массивы, которые станут носителями универсализма. Именно до этого принципа должно дорасти евразийское сознание...

В. Кантор показывает, почему так труден российский путь к цивилизации: неимоверность неосвоенных пространств и мизерность народонаселения, просто физически не способного освоить и цивилизовать эти пространства. Однако географический фактор — не единственная помеха на пути цивилизации. Есть еще ценностно-духовное ядро культуры. Оно формируется в глубинах бессознательного, в драматургии выборов и предпочтений, в определении одухотворяющих истин, святынь и абсолютов. Этой теме посвящена большая часть книги.

Историософское осмысление пути России — одна из постоянных тем и проблем русской мысли. Историческое миропонимание всегда было доминантой общественного сознания. Россияне осознавали себя частью огромного общепланетарного мира. Однако хорошая жизнь «по-европейски» не обретается легко. Ведь она требует иных отношений собственности, иного отношения к труду, в конечном счете появления независимой личности. Эту тему В. Кантор развивал и ранее в книге «В поисках личности: опыт русской классики» (М., 1994).

Великие русские мыслители ценили многосложность культуры, которая так необходима для страны, где веками сковывалась инициатива людей, подавлялось их разнообразие. Идея личности, ее ответственности, мысль о бремени свободы, которая предполагает и инициативу, и бесстрашие, всегда присутствовали в русской философии. Свобода трагична. Она противостоит своеволию, потому что предполагает нравственный пафос. Русская ментальность, и это показано В. Кантором, есть господство неупорядоченных стихий, хаоса, не претворенного в космос.

Познавательны и любопытно, что «стихия» понимается в книге не в словарном, а в определенном историософском значении. Это понятие находится в ряду таких, как «хаос», «варварство», «дикость», «природа». Оно противопоставлено таким понятиям, как «космос», «культура», «цивилизация», «логос», «просвещение». В этом смысле в книге В. Кантора возникает проблема соотношения культуры и цивилизации. Традиционная трактовка цивилизации как последней стадии культуры, ее агонии находит критическое переосмысление.

По мнению Ж. Маритена, цивилизация и есть культура. Ненависть к цивилизации ведет к уничтожению человека, не знающего иных форм выживания в природном мире, кроме форм культуры и цивилизации. Да, несомненно, необходима созидательная, творческая активность. Но в русской душе, как показано в книге В. Кантора, переживание хаоса, ощущение

хаоса как основы миропорядка неизбежны. Хаос — это перманентное состояние российской истории.

В Конституции России причудливо сочетаются две контрастные идеологии — «порядка» и «свободы». Многие россияне усматривают жизненную стратегию в деловой инициативе, предприимчивости, свободной воле. Но для ревнителей порядка идеал прежний — «Ярмо с гремушками да бич». Они отрекаются от свободы и тоскуют о железной руке. Сбылось пророчество Максимилиана Волошина:

Вчерашний раб, уставший от свободы,
Возропщет, требуя цепей...

«...Есть европейская держава» — не только книга философской аналитики, это и книга-предостережение. Она намечает пути России к истинной, детерминированной всем ходом ее истории цивилизации.

Павел ГУРЕВИЧ

По страницам Онегинской энциклопедии

Близится к завершению работа по созданию Онегинской энциклопедии, в которой принимают участие специалисты самых разных отраслей знания.

Мы надеемся, что Энциклопедия, готовящаяся к выходу в свет издательством «Русский путь», станет для читателей путешествием в мир главного и любимого произведения Пушкина, в мир истории, литературы, культуры и быта пушкинского времени.

*Н. И. МИХАЙЛОВА,
академик РАО,*

руководитель издательского проекта

ПОЖАР

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавно гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленапреклонной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он*.

3 сентября 1812 г. Наполеон вошел в Москву. Через Боровицкие ворота он направился в Кремль. Сохранились свидетельства о том, что, когда французский император и его свита ехали по Арбатской улице, уже был виден дым от начинающихся в Москве пожаров. Вечером же вокруг Кремля бушевало пламя. Пожар быстро распространился благодаря поднявшемуся ветру. Назначенный Наполеоном губернатор Москвы маршал Мортье тщетно пытался потушить бушевавший огонь. Все пожарные машины по приказанию генерал-губернатора первопрестольной столицы графа Ф. В. Ростопчина были вывезены из города. Причины пожара до сих пор не вполне ясны. Это были и поджоги самих москвичей, это было и следствие мародерства и бесчинств вошедших в Москву французов. Наполеон был вынужден покинуть Кремль. 4 сентября он переехал в Петровский замок.

Следствия московского пожара были ужасны. «Из общего числа домов 9088, бывших в Москве до вступления в нее французов, сгорело 6433 дома, из них 2041 каменный и 4392 деревянных; осталось: 526 каменных и 2392 деревянных. Но и эти оставшиеся дома сильно пострадали от пожара: уцелевших, но обгорелых домов насчитывалось 180 каменных и 223 деревянных. Кроме того, из 6324 каменных лавок выжжено 5335; из 237 церквей сгорели 12, а 115 обгорели, многие из храмов имели треснувшие от жары стены и лишились куполов и крестов» (Москва в 1812 году. (Исторический очерк.) К столетию Отечественной войны. М., 1912, с. 97). Особенно пострадала Немецкая слобода, где прошли детские годы Пушкина.

* Все произведения А. С. Пушкина здесь и далее цитируются по Полному собранию сочинений. Издание АН СССР, М.-Л., 1949.

О пожаре Москвы рассказывают мемуары, дневники, письма современников Пушкина. Московский пожар стал темой многих ораторских речей, проповедей, стихотворений.

«Москвы нет! Потери невозвратимы! Гибель друзей! Святыня, мирные убежища наук, все осквернено шайкою варваров! ...Сколько зла!» — восклицал К. Н. Батюшков в письме к П. А. Вяземскому от 3 октября 1812 г. (Батюшков К. Н. Сочинения в 2-х тт. М., 1989. Т. 2, с. 232). <...>

О пожаре, истребившем его родной город, Пушкин писал в лицейском стихотворении «Воспоминания в Царском Селе»:

Где ты, краса Москвы стоголавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни;
Москва, сколь Русскому твой зрак унылый страшен!
Исчезли здания вельможей и царей,
Всё пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.

И там, где роскошь обитала
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал, и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной летней ночи
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи;
Всё мертво, всё молчит.

Пожар Москвы воспринимался как великая жертва, искупившая победу России над Наполеоном, освобождение Европы.

«Сколь ни болезненно русскому сердцу видеть древнюю столицу нашу большею частию превращенную в пепел, сколь ни тяжело взирать на опаленные и поруганные храмы Божии; но не возгордится враг наш своими злодействами; пожар Москвы потушен кровию его. Под пеплом ее лежат погреблены твердость его и сила. Из оскорбленных нечестивою рукою его храмов Божиих изникла грозная и праведная месть», — говорилось в Рескрипте Александра I Ф. В. Ростопчину от 11 ноября 1812 г. («Московские ведомости», 1812, № 71—94, с. 1756).

Московский vicарий Преосвященный Августин 17 ноября 1812 г. так обратился к своим слушателям: «Домы ваши обращены в пепел; но под сим пеплом угасла навеки слава ненавистного завоевателя. Расхищены и истреблены сокровища ваши; но ценою погибших сокровищ вы искупили свободу не только всей России, но и целыя Европы. Разрушены великолепные здания, украшавшие град сей; но падением своим они сокрушили страшное могущество Наполеона» («Московские ведомости», 1812, № 71—94, с. 1831). Обращаясь к москвичам 29 ноября 1813 г., церковный проповедник сказал: «Первопрестольная столица России! Отри слезы, отряси прах и пепел, покрывающие тебя, утешься!» («Слово по случаю знаменитой и вечнославной победы, одержанной при Лейпциге Российскими и союзными войсками над французскою армиею, пред начатием благодарственного Господу Богу молебствия, произнесенное Преосвященным Августином... в Московском большом Успенском соборе 1813 года ноября 29 дня. М., 1813, с. 6).

Утешься, мать градов России,
Возри на гибель пришлеца.
Отяготела днесь на их надменны выи
Десница мстящая Творца.
Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
Их кровь не престаёт в снегах реками течь;
Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
А с тыла гонит Россов меч.

Если описание московского пожара в лицейском стихотворении Пушкина 1814 г. «Воспоминания в Царском Селе» отмечено высокой патетикой, риторикой 1812 года, то в «Евгении Онегине» следует обратить внимание на крайнюю сдержанность в передаче трагического события русской истории. Однако скупость избразительных средств не мешает их сильному эмоциональному воздействию на читателя: «Москва моя» (то есть родной, любимый город поэта) готовит пожар «не-терпеливому герою». Наполеон глядит на «грозный пламень». В строках «Евгения Онегина» — гордость Пушкина подвигом Москвы в 1812 г. И, думается, его личное

чувство сказалося и в словах героини написанного им в 1831 г. «Рославлева»: «О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу».

Н. И. МИХАЙЛОВА

ВОЕННЫЕ ФРАНТЫ

Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит...

Военное франтовство в отличие от гражданского имело свои особенности: стремление офицеров следовать моде и одеваться изысканно неизбежно ограничивалось требованиями регламента, «...ибо ничего нет противнее в войске, как разнообразие», — говорится в одном из полковых приказов пушкинского времени (История Кавалергардов. СПб., 1912, т. IV, с. 122). Однако щегольство среди военных было чрезвычайно распространенным явлением, и тон в этом задавало первое лицо в государстве и в армии — император Александр I, изводивший портных своими высокими требованиями. Русский монарх, по свидетельству Наполеона, мог часами обсуждать со своим венценосным другом прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III высоту воротника, каждую складку и пуговицы на мундире так, «...будто судьба армии зависела от покроя жилета («1812 год», 1912, № 7, с. 936). Эта слабость Александра I была хорошо известна многим современникам. Д. В. Давыдов в «Записках» вспоминал: «Вполне женственное кокетство этого Агамемнона новейших времен было очень замечательным. Я полагаю, что это было главным причиною того, почему он с такой скромностью не раз отказывался от поднесенной ему Георгиевской ленты, которой черные и желтые полосы не могли идти к блондину, каким был Александр I» (Давыдов Д. В. Записки. Брюссель, 1863, с. 6). Неудивительно, что войско следовало примеру своего полководца. Известный военный историк А. И. Михайловский-Данилевский, участник наполеоновских войн, в многотомном труде «Император Александр I и его сподвижники» не обошел молчанием отношения многих генералов к моде. Так, о генерале А. П. Тормасове, назначенном в 1814 г. московским генерал-губернатором, писал: «Красавец в юности, щеголь смолоду, он и в преклонных летах был тщателен в одежде и таким являл себя на войне и в сражениях!» (Михайловский-Данилевский А. И. Император Александр I и его сподвижники. Военная галерея Зимнего дворца. СПб., 1846, т. 1, с. 8). Подобная же черта свойственна была и командиру лейб-гвардии Семеновского полка генерал-майору Я. А. Потемкину. «Стан его был примечательный, одевался он, как кокетка», — сообщал об этом любимце солдат Михайловский-Данилевский, красноречиво добавляя далее: «Заклучив с Милорадовичем на пирах кровавой смерти союз искренней дружбы, любил он, подобно знаменитому другу своему, роскошь и щегольство» (там же, с. 17). Что же касается «знаменитого друга», ученика Суворова, прославленного героя Отечественной войны 1812 года и заграничных походов М. А. Милорадовича, то он оставил далеко позади себя всех, кто стремился следовать моде. Его не менее известный соратник генерал А. П. Ермолов поместил в своих «Записках» живописные сцены встреч русского военачальника и французского маршала в 1812 г. на аванпостах: «Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом, королем неаполитанским. Если бы можно было забыть о присутствии неприятеля, казалось бы свидание их представлением на ярмарке или под качелями. Мюрат являлся то одетый по-гишпански, то в вымышленном преглупом наряде, с собольей шапкою, в галетовых панталонах. Милорадович — на казачьей лошади, с плетью, с тремя шляпами ярких цветов, не согласующихся между собою, которые, концами обернутые вокруг шеи, во всю длину развевались по воле ветра. Третьего подобного не было в армиях!» (Ермолов А. П. Записки. М., 1991, с. 210). Если в военное время, «на походе», отступления от правил встречались повсеместно и особенно не преследовались, то в мирное время тем, кто нарушал Регламент, грозило заключение на гауптвахту, однако никакие запреты не останавливали щеголей, среди которых первым оставался сам генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович! Прежде всего это касалось способа ношения офицерских и генеральских шляп, так называемых «треуголок». Форма треуголки была, как и мундир, заимствована у французской армии,

но русская была тяжелее и выше, к тому же носить ее следовало обязательно не вдоль, а поперек головы. «Это был своего рода парус, носимый на голове», — сказано в «Истории Кавалергардов» (т. IV, с. 122). Неудивительно, что офицеры упорно нарушали предписание, развертывая шляпу «с поля», на французский манер, вдоль головы, несмотря на угрозу, что офицер «...будет строго наказан и представлен как не выполняющий высочайших Его императорского величества повелений... предан военному суду» (там же, с. 122). Но «...и граф Милорадович, и Я. А. Потемкин, и вообще генералы щеголи или франты, а за ними и офицеры, носили зеленые перчатки и шляпу „с поля”» (Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907, с. 42). Стремление следовать моде было так велико, что император Александр иногда чувствовал свое полное бессилие и вынужден был смотреть на эти нарушения сквозь пальцы, о чем поведал А. Е. Розен, служивший в лейб-гвардии Семеновском полку: «Летом, в теплую погоду, отправился через Исаакиевский мост для прогулки; под расстегнутым мундиром виден был белый жилет, шляпа надета была «с поля», а на руках зеленые перчатки, одним словом, все было против формы, по образцу тогдашнего щеголя. С Невского проспекта повернув на Малую Морскую, встретил императора Александра; я остановился, смешался, потерялся, успел только повернуть шляпу. Государь заметил мое смущение, улыбнулся и, погрозив мне пальцем, прошел и не сказал ни слова» (там же, с. 42). Из приказов явствует, что государю попадались на глаза модники, не ограничивающие себя одним лишь поворотом головного убора. Так, в книге полковых приказов Кавалергардского полка записано: «С завтрашнего дня кто осмелится носить на шляпе неформенный (пуховой) султан, тот месяц целый будет сидеть на гауптвахте» (История Кавалергардов. Т. IV, с. 126). Султан полагалось иметь из петушиных перьев. Кстати, кроме упомянутых зеленых перчаток, те же щеголи надевали на балы с бальными туфлями вместо белых черные чулки и панталоны, выпускали поверх галстука и краев стоячего воротника мундира углы ворота рубашки. Исподнее белье следовало носить белое, но щеголи могли надеть и черное.

Особое внимание военные франты уделяли прическе. В начале царствования Александра I волосы надлежало пудрить. С. Г. Волконский делился воспоминаниями о юности будущего военного министра России А. И. Чернышева: «Мы носили еще тогда пудру... у Чернышева это было государственное дело, и как при пудрени его головы просто происходил туман пудренный, то, для сохранения нас от этого тумана и в угоду ему, отведена ему была изба для этого великого для него занятия, высоко им чтимого» (Волконский С. Г. Записки. СПб., 1902, изд. 2, с. 67). Другой же их сослуживец, впоследствии киевский генерал-губернатор В. В. Левашов, остался верен себе до последнего часа. «Замечательно, как тщеславие Левашова выразилось даже в одном из предсмертных распоряжений, — пишет его биограф. — Он завещал положить себя в новом парике, в котором бы не было ни одного седого волоса. „Хочу лечь в землю молодцом!”» — говорил он (Сборник биографий Кавалергардов. СПб., 1906, с. 103). В этом случае, думается, биографу Левашова можно и возразить: не являлось ли то, что он назвал тщеславием, образом жизни целого поколения людей александровской эпохи?

Николаевское царствование оказалось не в пример более суровым и непримиримым к тем, кто нарушал установленные правила ношения формы. Щегольство в эти времена проявлялось во внешней подтянутости и безупречном крое мундира и не должно было выходить за рамки предписаний, что рассматривалось бы как недопустимое проявление свободы воли. И даже о тех, кто жил в полную силу при Александре I, А. И. Герцен впоследствии писал: «Они мало-помалу... утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства» (Герцен А. И. Былое и думы. М., 1979, с. 375). Позади остались времена, когда любой ценой, пусть даже сумасбродством и расточительностью, старались выдвинуться из общего ряда. Чтобы подтвердить эти мысли, достаточно привести воспоминания декабриста Розена, оказавшегося участником офицерского застолья в Минске зимой 1822 г.: «Наш стол *перещеголял* все столы, Саргер (ротный командир. — Л. И.) потирал себе руки, что полк обратил на себя общее внимание; это было ухарство по тогдашним понятиям» (Розен А. Е. Записки... С. 24). Заметим, что для минуты этого торжества было израсходовано жалованье нижних чинов, возмещенное им со значительным опозданием, причина которого была воспринята солдатами с большим пониманием и сочувствием.

ШАМПАНСКАЯ БУТЫЛКА — здесь: бутылка шампанского вина.

Объясняя причины раннего разочарования Евгения Онегина в светской жизни, Пушкин не без иронии замечает, что его герою

Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и стразбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова.

Шампань — самый северный из великих винодельческих районов Франции. Он находится приблизительно в 150 км к востоку от Парижа. Однако именно там, на севере страны, появились веселые, искрящиеся, игристые вина. Своим возникновением они обязаны событию, произошедшему в конце XVII столетия, когда жившие в Шампани монахи-бенедиктинцы открыли способ сохранения вина в стеклянных бутылках с притертыми пробками. Таким образом стало возможным удерживать в бутылке углекислый газ, выделявшийся в результате брожения вина. Позднее виноделы Шампани научились получать вино из различных сортов винограда, совмещая сок красных и белых ягод, а также добились усиления брожения вина, добавляя в него сахар и дрожжевые бактерии. Углекислый газ, не находя выхода наружу, под большим давлением растворялся в вине, что и определяло его шипучесть в момент открытия бутылки.

Благодаря пушкинской поэзии рвущаяся из засмоленной бутылки струя шампанского стала для нас одной из примет дворянского быта той поры:

Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела холодная струя.

(«27 мая 1819»)

Вместе с тем нельзя забывать, что этот благородный напиток был доступен далеко не каждому. Весьма характерна сценка, случившаяся майским днем 1812 г. в «рублевой ресторации» Френзеля близ Казанского моста в Санкт-Петербурге, когда туда зашли два молодых человека, Зарецкий и Рославлев, герои популярного романа М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831):

«— Душенька! — сказал Зарецкий одной из служанок. — Бутылку шампанского.

При сем необычайном требовании все головы, опущенные книзу, приподнялись; у многих ложки выпали из рук от удивления, а служанка остолбенела и, перебирая одной рукой свой фартук, повторила почти с ужасом:

- Бутылку шампанского!
- Да, душенька.
- Настоящего шампанского?
- Да, душенька.
- То есть французского, сударь?
- Да, душенька.

Служанка вышла вон и через минуту, воротясь назад, сказала, что вино сейчас подадут.

— Ведь оно стоит восемь рублей, сударь! — прибавила она, поглядывая недобриво на Зарецкого.

— Знаю, миленькая.

Если б Зарецкий был хорошим физиономистом, то без труда бы заметил, что... все гости смотрели на него с каким-то невольным почтением. Толстый господин, который только что успел прегордо и громогласно прокричать: «Бутылку сантуринского!» — вдруг притих и почти шепотом повторил свое требование» (Загоскин М. Н. Сочинения в 2 тт. М., 1988. Т. 1, с. 300). Можно вспомнить также, что в ту самую пору, когда Онегин в своем деревенском доме угощал Владимира Ленского «настоящими» Мозтом и Клико, по соседству — у Лариных — гостей потчевали игристым цимлянским. (См. также в «Дубровском»: «Несколько бутылок горского и цимлянского громко были... откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского».)

Однако, несмотря на дороговизну, именно шампанские вина уверенно лидировали в списке вин, ввозимых в Россию. Как свидетельствует статистика, «в 1827 году количество вин, привезенных в Россию через разные таможи, составляло более миллиона ведер и 514 600 бутылок по цене 12 500 000 рублей ассиг-

нациями; в том числе одного шампанского — 396 630 бутылок по объявленным ценам на 2 412 522 рубля» (Энциклопедический лексикон. Т. 10. СПб., 1837, сс. 287—288).

Теофиль Готье, посетивший Россию в середине прошлого столетия, рассказывал о потрясении, испытанном им во время обеда на одной из станций по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. «Стол был накрыт роскошно,— писал французский литератор,— с серебряными приборами и хрусталем, над которыми возвышались бутылки всевозможных форм и происхождения. ...Здесь были все лучшие марки вин: ...«Вдова Клико», «Редерер», «Моэт». ...Полный ассортимент известных напитков, пестревших позолоченными этикетками ярких цветов, привлекающими внимание рисунками, настоящими гербами. В России находят лучшие вина Франции и чистейшие соки наших урожаев, лучшая доля наших подвалов попадает в глотки северян, которые и не смотрят на цены того, что заглатывают» (Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988, с. 215).

В четвертой главе «Евгения Онегина» Пушкин, вспоминая о годах своей юности, говорит и о зародившейся в нем тогда сердечной привязанности к шампанскому:

Его волшебная струя
Рождала глупостей немало,
А сколько шуток, и стихов,
И споров, и веселых снов!

А. Я. НЕВСКИЙ

ФРЕЙШЮТЦ (Der Freischutz — нем.), «Вольный стрелок» — опера немецкого композитора Карла Марии фон Вебера (1786—1826), известная во многих странах под разными названиями: в России ее называли «Волшебный стрелок», а во Франции — «Лесной Робин с тремя пулями», но чаще она была известна под немецким названием «Фрейшютц».

Оперное либретто было написано в 1817 г. поэтом Ф. Киндом. В его основу легла новелла писателя И. А. Апеля «Вольный стрелок», созданная по народным легендам и сказаниям.

Драматургия оперы представляет собой развитие двух контрастных сюжетных линий. Одна из них связана с картинами народного быта — она построена на мелодиях немецких и чешских песен; другая воплощает фантастические образы, свойственные романтической традиции.

Народные мелодии, звучащие в опере, сразу же полюбили ее первым слушателям — жителям Берлина, и уже на следующий день после премьеры их распевали повсюду. Особенно известной стала песня невесты «Девичий венок», ее пели и дети, и взрослые, насвистывали брадобреи и играли бродячие музыканты.

Для характеристики каждого оперного персонажа Вебер использовал особый музыкальный язык: ария главного героя оперы, охотника Макса, передает его сложные душевные переживания; мелодия задорного полонеза отражает шаловливый характер Анхен; мечтательностью, сомнениями и надеждами пронизана большая ария главной героини Агаты, беззаботного веселья исполнен хор охотников и крестьян; яркие музыкальные фантастические картины природных явлений соотносятся с образом мрачного персонажа немецкого и чешского фольклора — черного охотника.

Премьера оперы состоялась 18 июня 1821 г., она была приурочена к открытию Берлинского Национального театра после его пожара.

Спектакль имел огромный успех. Он сразу же обошел все крупные оперные сцены Германии. 22 января 1822 г. премьеры «Волшебного стрелка» состоялась в Дрездене. После первого действия композитору торжественно преподнесли лавровое дерево. Каждый следующий спектакль принимался публикой с возрастающим восторгом. Популярность оперы была так велика, что «Фрейшютцем» назвали новый сорт немецкого пива.

12 мая 1824 г. «Волшебный стрелок» был поставлен немецкой труппой в Большом театре в Петербурге. Спектакль прошел с исключительным успехом и надолго завоевал любовь русской публики.

М. И. Глинка вспоминал о том, как во время его путешествия за границу «...всякий раз, когда мы останавливались для обеда или ночлега, если встречали фортепиано, пробовали петь вместе... хор из трио первого акта „Фрейшютца“».

А. С. Пушкин, давая характеристику якобы сделанному им самим переводу письма Татьяны к Онегину, пишет так:

С живой картины список бледный,
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц.

Возможно, эти строки, писанные осенью 1824 г. в Михайловском, были навеяны музыкальными впечатлениями поэта, связанными с Тригорским, где он в то время часто бывал и слушал «фортепьяно вечером».

А 19 октября 1828 г. Пушкин с друзьями собрались на празднование лицейской годовщины. По традиции они пели свои «гимны», один из которых («Лето знойно») распевался на мелодию из оперы «Волшебный стрелок».<...>

Высоко оценивал веберовского «Волшебного стрелка» композитор А. Верстовский, считая его лучшим, что было создано в опере после Моцарта. Первой романтической немецкой опере посвятили свои восторженные статьи русские критики Ц. А. Кюи, А. Н. Серов, В. В. Стасов.

За двести лет существования музыкального театра в Германии ни одна немецкая опера до «Волшебного стрелка» Вебера не имела такой широкой популярности. Эта опера оказала большое влияние на развитие мирового романтического оперного искусства.

М. С. ГРОМОВА

ЛУНА. Среди пейзажных реалий «Евгения Онегина» по степени частотности луна занимает одно из первых мест. Двадцать три случая ее прямого обозначения, два раза использование эпитета «лунный» — такова статистика «Словаря языка Пушкина» (т. 2, сс. 512—513).<...>

Лунный свет распространяет свое сияние на всех основных героев романа. Правда, в отношении к Ольге через этот отблеск луны открывается пародийно-иронический подтекст: «Кругла, красна лицом она, / Как эта глупая луна / На этом глупом небосклоне». Как замечено О. Б. Лебедевой, этот портрет героини восходит к характеристике одноименной героини «Липецких вод» А. Шаховского: «Признаться, Оленька здесь прелестью своей / Пленяла, как луна ... Лицо бело и красно, / И точно херувим на вербе восковой» (Мотивы и сюжеты русской литературы. Томск, 1997, с. 70).

В известной характеристике Ленского:

Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей —

столь же очевиден момент вибрации смыслов. От высокого, романтического, восходящего к манифесту романтической селенологии — «Подробному отчету о луне» В. А. Жуковского (ср.: «Ему луна сквозь темный бор / Лампадой таинственной светит» или «Лишь ярко звездочка одна, / Лампадою гостеприимной / На крае неба зажжена») — до сниженного, тоже восходящего к первому русскому романтику: «И в высоте, фонарь ночной, луна / Висит меж облаков и светит ясно» («Деревенский сторож в полночь»). Показательно, что в черновых вариантах к восьмому стиху Пушкин постоянно вращается вокруг определения Жуковского: «небес блестящую лампаду», «небес унылую лампаду», «небес бродящую лампаду».

Этот же романтизированный облик луны из манифеста Жуковского возникает и в характеристике поэзии Ленского:

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна.
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.

В зоне автора луна выступает как опосредованная характеристика ситуации и потому несет отблеск романтической традиции. Описывая посещение сестрами Ла-

риными могилы Ленского, автор замечает: «И на могиле при луне, / Обнявшись, плакали оне», а в уподоблении своей Музы бюргеровой Леноре он в духе опять же романтической баллады констатирует: «Как часто по скалам Кавказа / Она Ленорой, при луне, / Со мной скакала на коне!» Может быть, единственный раз в «Путешествии Онегина», рисуя картину ночной Одессы, поэт дает достаточно объективный лунный пейзаж:

Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит;
Лишь море Черное шумит.

Но и здесь образ таинственной завесы, восходящей к поэтике Жуковского, да и ретроспекция в эпоху южной ссылки окрашивают пейзаж в тона романтической неги.

Абсолютное же большинство лунных пейзажей связано с главами и эпизодами, раскрывающими душевное состояние пушкинской Татьяны. Во второй главе лишь фиксируется ее своеобразный лунатизм:

Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый поживает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.

Но уже в третьей главе, кульминационной в судьбе героини, луна сопровождает весь ее путь — от любовного томления и мук любви до создания письма-исповеди: «Тоска любви Татьяну гонит, / И в сад идет она грустить ... Настанет ночь; луна обходит / Дозором дальный свод небес»; «И между тем луна сияла / И томным светом озаряла / Татьяна бледные красы... И все дремало в тишине / При вдохновительной луне»; «И сердцем далеко носилась / Татьяна, смотря на луну... Вдруг мысль в уме ее родилась... И вот она одна. / Все тихо. Светит ей луна»; «Татьяна то вздохнет, то охнет; / Письмо дрожит в ее руке... Но вот уж лунного луча / Сиянье гаснет...».

Этот своеобразный «интимизм» отношений героини с луной развивается в пятой главе, связанной со знаменитым сном Татьяны: ее вера «предсказаниям луны», приметам, связанным с луной («...Вдруг увидя / Младой двурогий лик луны / На небе с левой стороны, / Она дрожала и бледнела»; сравнение с луной («И утренней луны бледней»).

В седьмой главе луна сопровождает героиню на ее пути постижения тайны и загадки Онегина. В начале главы, описывая путь Татьяны в имение Онегина, поэт замечает: «...В поле чистом, / Луны при свете серебристом / В свои мечты погружена, / Татьяна долго шла одна». Возникает тот образ внутренней сосредоточенности, который фиксируется переключкой понятий, нередко переходящих в рифму «луна — одна». «Лунный сумрак» сопровождает ее и в кабинете Онегина. Затем на обратном пути луна возникает над «пилигримкой молодой». И наконец характеристика московской красавицы Александрины Корсаковой пронизана лунными ассоциациями:

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величаяя луна,
Средь жен и дев блестит одна.

Комментаторы этих строк романа говорили об их переключке и реминисцентности по отношению к поэме С. Боброва «Таврида» и к повести Н. М. Карамзина «Натаалья, боярская дочь». Но в общем контексте этой строфы, тесно связанной с «первым балом» Татьяны и ее одиночеством, ее мечтами об идиллии сельской жизни, рифма «луна — одна» бросает отсвет этой характеристики и на Татьяну.

Рифма «луна — одна» и природное состояние бледной, печальной луны вполне корреспондируют с состоянием героини, которая «дика, печальна, молчалива», «бледней луны». «Темнеющие очи» Татьяны, которые она «не подымает» при взгляде на Онегина в сцене именин, вновь отзвучат в восьмой главе: «Бывало девственно грустит, / К луне подьмет томны очи» как память об Онегине. Образ луны соединит эти два этапа ее биографии.

Селенология пушкинского романа последовательно поэтизирует героиню. Показательно, что стихи двадцатой строфы третьей главы: «И все дремало в тишине / При вдохновительной луне», — передающие особое волнение героини перед написанием письма Онегину, в первоначальном варианте имели снижающий оттенок: «И все молчало; при луне / Лишь кот мяукал на окне». Впоследствии этот вариант Пушкин трансформирует в «Домике в Коломне»: «...А дочка на луну еще смотрела / И слушала мяуканье котов». В лунном же ореоле Татьяны подобное снижение диссонировало с общей атмосферой поэтического образа.

История селенологии в русской литературе пушкинской эпохи знает два равноправных варианта: «луна» нередко превращается в «месяц». <...> Но в «Евгении Онегине» луна — царица небосклона. Всего один раз появляется месяц, да и тот вытесняется луной.

Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит.
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна.

Фольклорный месяц отражается в литературном зеркале романа.

В связи с образом луны в «Евгении Онегине» исследователи справедливо говорят об «этическом пространстве», которое выявляет типы «подлунного мира» как мира поэзии. Безусловно, в пушкинском романе к этому миру в наибольшей степени причастны Ленский и Татьяна. Но живут в нем по-разному. Первый — как выразитель романтической селенологии с ее метафорической сущностью; вторая — как поэтическая натура, выросшая из реальной русской жизни. Но, вероятно, именно луна, как пишет Баевский, «отграничивает поэзию жизни от житейской прозы».

А. С. ЯНУШКЕВИЧ

ШАМФОР (псевдоним; настоящее имя — Себастьян-Рок Никола; 1740—1794) — французский литератор. Незаконнорожденный сын неизвестных родителей, присвоивший себе впоследствии имя Шамфор, после учебы в одном из парижских коллежей добился успехов исключительно благодаря своему литературному таланту. В 1761 г. получил премию Французской академии за рассуждение в стихах на заданную тему: «Послание отца сыну по случаю рождения внука», а в 1764 г. на сцене Французского театра была поставлена его комедия «Молодая индианка», благосклонно встреченная публикой и снискавшая похвалу Вольтера. Шамфора еще не раз удостаивают литературных премий, его трагедия «Мустафа и Зеангир» ставится в 1776 г. в придворном театре Фонтенбло, королева Мария-Антуанетта жалует ему значительную пенсию, а принц Конде предлагает место своего секретаря. Шамфор посещает великосветские салоны, где его остроумие, образованность и приятная внешность имеют большой успех. <...>

В 1781 г. он стал членом Французской академии, а в 1784—1786 гг. был секретарем сестры Людовика XVI принцессы Елизаветы. В 1783 г. Шамфор подружился с Мирабо, разделяя демократические взгляды этого впоследствии знаменитого оратора. Шамфор приветствовал Французскую революцию, принимал участие в штурме Бастилии. Значительную часть своего состояния он пожертвовал на пропаганду революционных идей и был до 31 августа 1791 г. секретарем якобинского клуба. Шамфор выступал против всех корпоративных привилегий, в том числе против Французской академии, оказывал литературную помощь Мирабо и Талейрану. Ему приписывается лозунг «Мир хижинам, война дворцам». В 1792 г. Шамфор был назначен директором Национальной библиотеки. Начавшийся террор вызвал его неприятие. По доносу он был арестован в июле 1793 г., спустя несколько дней выпущен на свободу, но оставался под надзором властей. Спустя месяц угроза нового ареста побудила Шамфора искать смерти, но попытка самоубийства удалась не сразу. Только спустя несколько месяцев он умер вследствие нанесенных им себе ран. Друг Шамфора литератор П.-Л. Женгене обнаружил после его смерти множество записей на клочках бумаги, которые и опубликовал в 1795 г. под названием «Максимы, характеры и

анекдоты». Продолжая традиции французских моралистов XVII в. (Ларошфуко, Лабрюйера), Шамфор оставил проницательные наблюдения над человеческой природой, проникнутые пессимизмом и — порой — предромантической чувствительностью, характерной для его эпохи. Раздел исторических анекдотов изобилует резкими, саркастическими интонациями, гневными выпадами в адрес власть имущих.

Шамфор пользовался популярностью в России, где его начали переводить еще в 1774 г. Н. М. Карамзин, возможно, встречался с ним в Париже в 1790 г. и не раз упоминает о нем в «Письмах русского путешественника» (см.: Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1987). В 1809 г. в «Вестнике Европы» В. А. Жуковский напечатал переводы из Шамфора. Большим ценителем французского моралиста был П. А. Вяземский, цитировавший его в письмах и записных книжках.

В библиотеке А. С. Пушкина было двухтомное издание (третье) Полного собрания сочинений Шамфора 1812 г. (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. С. 188). В письме П. А. Вяземскому от конца марта — начала апреля 1825 г. Пушкин, сожалея о том, что не может напечатать свои эпиграммы, привел высказывание (источник которого не установлен) Шамфора. В статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830) среди «демократических писателей XVIII столетия» фигурируют «твердый Шамфор и другие столь же умные, как честные люди, не бессмертные гении, но литераторы с отличным талантом». В набросках к статье «О ничтожестве литературы русской» (1834) Пушкин цитирует Шамфора: «Публика (о которой Шамфор спрашивал так забавно: сколько нужно глупцов, чтобы составить публику)...» По свидетельству сына П. А. Вяземского Павла, Пушкин «...постоянно давал ему наставления об обращении с женщинами, приправляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора» (Письма женщин к Пушкину. М., 1928, с. 8).

Отсылка к одному из афоризмов Шамфора, как отметил Ю. М. Лотман, возникает в третьей главе «Евгения Онегина» в связи с описанием «красавиц недоступных»: «Дивился я их спеси модной... /И, мнится, с ужасом читал /Над их бровями надпись ада: /«Оставь надежду навсегда» (ср.: Шамфор. Максимум и мысли. Характеры и анекдоты. М.-Л., 1966, с. 217).

Возможно, тонкие, трезвые, зачастую едкие суждения Шамфора о любви, о взаимоотношениях мужчин и женщин (целый раздел его «Максим и мысли» называется «О женщинах, любви, браке и любовных связях») побудили обратиться к его сочинениям Онегина, не получившего ответа на свое любовное послание и предавшегося в одиночестве чтению, хотя и «без разбора», но все же отчасти созвучному его настроению. Среди прочитанных им писателей, помимо Шамфора, мастерами изображения любовной страсти были также Руссо, Мандзони, г-жа де Сталь.

Е. П. ГРЕЧАНАЯ

ЧИНЫ. «Табель о рангах», выработывавшаяся много лет при активном участии Петра I и устанавливающая иерархию чинов в Русском государстве, была опубликована в 1722 г. Здесь впервые была предпринята попытка создания регулярного — правильного — государства, где вся жизнь была бы регламентирована, а отношения между людьми подчинены простым логическим законам, где всякий человек награжден по заслугам, а не занимает место, определенное родством и знатностью. Чем ближе к столице, чем виднее «служба государева», тем больше надежда сделать карьеру, получить чин повыше (подробнее см.: Лотман Ю. М. Глава «Люди и чины» в книге «Беседы о русской культуре». СПб., 1994, сс. 18—45).

«Чин есть гальванизирующая сила, видимость, жизнь тел и умов, это страсть, что переживет любую другую! — писал маркиз де Кюстин, посетивший Россию в 1839 г.— Чин — это нация, разделенная на полки, это военное положение, на которое переведено все общество, и даже те классы, что освобождены от воинской службы. Одним словом, это деление гражданского населения на классы, соответствующие армейским званиям. С тех пор как установлена эта иерархия званий, человек, в глаза не видевший учений, может сделаться полковником. ...Чин состоит из четырнадцати классов, причем каждый класс имеет свои особенности. Четырнадцатый — самый низкий класс. ...Поскольку всякий класс чина соответствует воинскому званию, армейская иерархия оказывается, так сказать, параллельной тому порядку, которому подчинено государство в целом» (Кюстин де А. Россия в 1839 году. М., 1996. Т. 1, сс. 337, 339).

Дворянин, если он хотел занять определенное положение в обществе, должен был служить. «Сколь ни молод я был, но в первую зиму пребывания моего в Петербурге мог я увидеть, что в нем только две дороги — общество и служба — выводят молодых людей из безвестности, в коей погрязают из них девять десятых», — писал Ф. Ф. Вигель (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1, с. 163). В глазах света чин определял ценность человека. В соответствии с чином менялось титулование: чиновников I и II классов именовали «ваше высокопревосходительство»; III и IV — «ваше превосходительство»; V класс — «ваше высококордие», VI—VIII классы — «ваше высокоблагородие», IX—XIV классы — «ваше благородие». Официальные письма подписывали с обязательным указанием чина, а тот, кто воспользовался «Указом о вольности дворянской» и нигде не служил, до старости именовался недорослем, что было, конечно, обидно.

Каждый чиновник не только должен был во все публичные собрания и балы являться в соответствующем мундире, но даже количество лошадей, которых запрягали в его карету, строго соответствовало его чину. Этот обычай, «введенный тщеславию», поразил Л.-Ф. Сегюра, французского посла при дворе Екатерины II. «Лица, чином выше полковника, — писал он, — должны были ездить в карете в четыре или шесть лошадей, смотря по чину, с длиннородым кучером и двумя форейторами. Когда я в первый раз выехал таким образом с визитом к одной даме, жившей в соседнем доме, то мой форейтор уже был под ее воротами, а моя карета еще на моем дворе!» (Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II. Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989, с. 330). Таким образом, по тому, сколько лошадей запряжено в карету, можно было всегда определить чин восседающей в ней персоны.

Эта привычка оценивать людей по их официальному статусу приводила временами к курьезам. Ф. Ф. Вигель вспоминал, как одна московская дама спросила у английского путешественника: какой чин имеет премьер-министр Великобритании Питт? «Тот никак не умел отвечать ей на это. Тогда генеральство ездил цугом, а штаб-офицеры четверней. «Ну, сколько лошадей запрягает он в карету?» — спросила она. «Обыкновенно ездит парой», — отвечал он. «Ну, хороша же великая держава, у которой первый министр только что капитан», — заметила она» (Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2, с. 312).

«Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастю, у него разносили кушанья *по чинам*», — писал Пушкин. О том же поминает он и в «Евгений Онегине»:

И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.

Обычай этот строго соблюдался в конце XVIII — начале XIX в.: на больших обедах за столом собирались и знакомые, и незнакомые гости, но рассаживались они непременно в соответствии со своим чином. Самые именитые оказывались во главе стола, ближе к хозяину — к ним лакеи подходили с полными блюдами. Постепенно блюда опустошались, и нередко до конца стола лакеи просто не доходили. П. А. Вяземский вспоминал такой анекдот: «Известно, что в старые годы, в конце прошлого столетия, гостеприимство наших бар доходило до баснословных пределов. Ежедневный открытый стол на 30, на 50 человек было дело обыкновенное. Садись за этот стол кто хотел: не только родные и близкие знакомые, но и малознакомые, а иногда и вовсе не знакомые хозяину. Таковыми столами были преимущественно в Петербурге столы графа Шереметева и графа Разумовского. Крылов рассказывал, что к одному из них повадился ходить один скромный искатель обедов и чуть ли не из *сочинителей*. Разумеется, он садился в конце стола, и, также разумеется, слуги обходили блюдами его как можно чаще. Однажды понесчастливилось ему пуще обыкновенного: он почти голодный встал со стола. В этот день именно так случилось, что хозяин после обеда, проходя мимо него, в первый раз заговорил с ним и спросил: „Доволен ли ты?“ „Доволен, ваше сиятельство, — отвечал он с низким поклоном. — Все было мне видно!“» (Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. М., 1990, с. 85).

Н. А. МАРЧЕНКО

ЛИВРЕЯ — «парадная одежда для слуг с шитьем и галунами» (Словарь языка Пушкина. М., 1957, т. 2, с. 482).

Он счастлив, если ей накинёт
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.

Этот «пестрый полк ливрей» состоял из лакеев, швейцаров, дворецких, входивших в штат домашних слуг. Ливрею как особую форму одежды для дворянских слуг Россия восприняла вместе с другими европейскими бытовыми нововведениями в начале XVIII в. Слово «ливрея» происходит от французского «livree». Так назывались ткани, которые в определенные праздничные дни феодалы и король дарили своим приближенным.

История ливреи и обычай одевать слуг в платье определенного цвета восходит к так называемой «гербовой одежде», возникшей после того, как идея гербов, вывезенная с Востока, вошла в быт европейских феодалов в XIII в. В одежду цвета герба имели право одеваться представители феодальных родов, а вассалы и слуги должны были носить одежду специально выбранного цвета. Перенесение цветов поля герба на одежду создавало пестрые, «лоскутные» костюмы. В XIV в. ливрея становится форменной одеждой свиты, обслуживающей господина во время охоты. Со временем ливрей различных слуг стали отличаться друг от друга покроем, отделкой, оттенками цвета и качеством ткани.

В России XVIII в. за основу ливреи был взят костюм европейского образца: камзол, короткие штаны-кюлоты, чулки и перчатки, но со временем вырабатывались и свои собственные регламенты относительно одежды слуг. Уже в «Табели о рангах» (1722) Петр I устанавливал различия в ливреях для слуг (в ширине и количестве галунов), в количестве лошадей в зависимости от чина их владельца, отмечая, что «многие разоряются, когда они в уборе выше чина и имения поступают». Парадный и роскошный вид ливрее придавали украшавшие ее галуны и басоны, представлявшие собой дорогую узорчатую тесьму, ткавшуюся с золотыми и серебряными нитями.

Дворянская пышная свита того времени описана А. С. Пушкиным в «Арапе Петра Великого»: «У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурой, в перьях и с булавами, гусары, пажы, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени».

Запрещения излишней роскоши в ливреях неоднократно встречаются в указах XVIII в. 3 апреля 1775 г. был издан специальный «Манифест о экипажах и ливреях», регламентирующий одежду слуг согласно социальному положению их хозяина. Непомерная роскошь в семисотых годах настолько была сильна, что императрица Екатерина II вынуждена была издать манифест с постановлением, как должно было ездить каждому. <...>

И в пушкинское время ливрейные слуги, как и фамильный герб, почитались символом знатности и родовитости. Так, на первых страницах «Войны и мира» Льва Толстого Анна Павловна Шерер, фрейлина императрицы Марии Федоровны, принимает гостей, созванных «записочками, разосланными утром на красном лакее» (Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 тт. 1979, т. 4, с. 7). Анна Павловна как фрейлина двора имела право пользоваться не только своими лакеями, в ливреях с положенным ее званию количеством галунов, но и дворцовыми, «красными», лакеями в их красных с широкими золотыми галунами ливреях.

Такая деталь в тексте восьмой главы «Евгения Онегина», как «полк ливрей», говорит о том, что Онегин встречал Татьяну в дворцах петербургского высшего света, куда вхожи были, по словам Пушкина, лишь «цвет столицы, и знать, и моды образцы». Великосветские балы и приемы, подобные тем, на которых блистала Татьяна «неприступною богиней роскошной, царственной Невы», обслуживал целый полк слуг, дворецкие, камердинеры, официанты, лакеи — в ливреях, белых нитяных чулках и перчатках. Эта «роскошь цветов и ливрей в домах петербургской знати» поразила и «возмутила» приехавшего в Россию французского писателя маркиза Астольфа де Кюстина, критический взгляд которого не обошел и дворцовую великосветскую жизнь. <...>

Одежда слуг по-прежнему регламентировалась принятой в XVIII в. «Табелью о ливреях». Одевающий своих слуг в ливрею, не соответствующую его чину, подвергался штрафу. Так, в издании 1857 года «Свода законов Российской Империи, повелением Государя императора Николая Первого составленного», подтверждались прежние постановления об одежде слуг 1775 и 1815 гг., действовавшие во времена Пушкина: «Для слуг каждого чина устанавливается различие в ливреях, сообразно приложенной у сего табели. Если же кто будет употреблять для них ливрею выше своего чина, с того взыскивать всякий раз в пользу Приказа Общественного призрения высший оклад того класса, преимущество которого он неправильно себе присвоил» («Свод Законов...». 1857, т. III «Уставы о службе гражданской», кн. I, статья 976).

По причине столь строгих мер покроя ливреи в XIX в. почти не изменился. Домашние слуги носили ливреи, скроенные по образцу одежды XVIII в. <...> Даже в начале XX в. в некоторых домах прежней аристократии еще можно было встретить ливрейных лакеев как напоминание о былом богатстве и величии.

М. Н. ВАСИЛЬЕВА

РАЗНОСЧИК

Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик.

В картину утреннего Петербурга, пробудившегося к разнообразной и деятельной жизни, естественно вписались фигуры уличных разносчиков. Их во множестве можно увидеть на гравюрах и литографиях с изображением улиц и площадей северной столицы. Среди них разносчики съестных припасов — хлебники, зеленщики, мясники. Современники свидетельствуют, что петербуржцы любили на улицах лакомиться апельсинами. И это видно на многих картинках. Встречаются разносчики с подносами на голове, уставленными растениями в горшках или гипсовыми изделиями скульптурных мастерских. Коробейники с лотками на ремне разносили «щепетильный», то есть галантерейный, товар. Торговки и «носячие» (уличные торговцы-мужчины) предлагали одежду, ткани и другие изделия — как новые, так и подержанные. Вся эта деятельность «озвучивалась» — сопровождалась призывными криками, привлекающими покупателей.

Не случайно эта уличная торговля вызвала к жизни любопытное издание, иллюстрированное раскрашенными акварелью офортами, «Волшебный фонарь, или зрелище С.-Петербургских расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими друг с другом, соответственно каждому лицу и званию» (СПб., 1817). Картинки из этого издания послужили источником для скульпторов, работающих на фарфоровых заводах. Фигурки разносчиков и уличных торговцев украшают и по сей день музейные собрания и частные коллекции.

Труд разносчиков имел непосредственное отношение и к пушкинскому быту. 27 сентября 1832 г. Пушкин писал письмо жене из Москвы в Петербург. Услышав, что кто-то пришел, он прерывает письмо. Оказывается, приятель Пушкина В. А. Муханов прислал разносчика с пастилой, о чем сообщается далее в письме к Наталии Николаевне.

Были известны и разносчики печатных изданий. В очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкин говорит о ставшем редкостью издании книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», найти которое можно случайно «...на почетной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика».

О подобном торговце книгами упоминает в письме к приятелю младший современник Пушкина, прибывший в Петербург в 1831 г.: «Я познакомился с одним букинистом — разносчиком книг, он продает, меняет книги на что хочешь, вещи, платье, старые книги... этот букинист... удивительный человек; он учнее не говорю какого-нибудь студента, но профессора; читает на всех языках (но как произносит — Богу известно), знает должное достоинство каждой книги... Это мудрец» (Росковшенко И. В. Письмо от 22 октября 1831 г. «Русская старина», 1900, сс. 483—484).

Н. С. НЕЧАЕВА

САЛАЗКИ — «ручные санки, чунки, чуночки или еще меньшие саночки для катания с гор» (В. И. Даль).

Одной из зимних детских забав было катание на салазках — маленьких легких, то есть «ручных» санках, куда могли поместиться один взрослый или двое малышей и которые мог сдвинуть с места и маленький ребенок. Подростки предпочитали съезжать с горок на дровнях или лубках (лубяных досках). В «Истории моего малолетства» А. Т. Болотов так писал о зимних развлечениях своих и своего двоюродного брата: «...приказал я не столько для себя, сколько для него (двоюродного брата. — Е. П.) сделать на дворе гору и себе собственные маленькие салазочки. Но он мало на ней катывался, а для него приятнее было ходить вниз под гору и через реку в деревню и там с маленького бугорка кататься вместе с крестьянами и крестьянскими бабами и ребятишками, — для чего? Для того, что у нас на дворе на-

блюдалась сколько-нибудь благопристойность и порядок, а там были сушая беспорядица, всякая нелепица и вздор; например, катывались не столько на салазках, сколько навалившись по нескольку человек друг на друга на дровнях или на лубках, и притом не столько днем, сколько ночью. ...а для меня милее было кататься на своей горе и порядочно на своих весьма ловких салазках, без шума, крика и без всяких нелепостей и вздора, и к каковому катанию я так тогда привык, что любил упражнение сие во все течение моей жизни» (Болотов А. Т. Записки. Тула, 1988. Т. 1, с. 80).

Дворовый мальчик из пятой главы романа «Евгений Онегин» не меньше взрослых рад приходу зимы с ее проказами, шалостями и играми. Ярким январским днем он взял салазки и забавляется с собакой во дворе и, как все маленькие дети, на глазах у матери.

Вот бегаёт дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

В черновой рукописи Пушкина десятая и одиннадцатая строки цитируемой строфы выглядят так:

[В салазки брата посадив]
Себя в коня оборотив...

Заметим, что в детской литературе пушкинского времени было много произведений о «зимних утехам», их авторы звали юных читателей поиграть, покататься на салазках и на коньках. Особой популярностью пользовалось именно стихотворение «Николашина похвала зимним утехам» (1783), перевод-переделка А. С. Шишкова из «Маленькой детской библиотеки» немецкого педагога И. Г. Кампе (1779). Оно вошло в четырнадцать переизданий с 1783-го по 1820 г. и десятки раз перепечатывалось в детских азбуках и альманахах.

В черновом варианте у Пушкина «шалун» был очень похож на одного из героев этого стихотворения — ребятшек, играющих в «лошадок резвоногих»:

А салазки? —	Я пусть кучер,
Эй ребята!	Вы лошадки
По подвязке	Резвоноги —
Надо с брата.	Прочь с дороги!
Привяжите,	Держи право!
Ну! везите!	Ай ребятки!
Едем в Питер.	Ну уж bravo!

(Шишков А. С. Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова. СПб., 1818. Т. 1. Собрание детских повестей. С. 144.)

Е. А. ПОНОМАРЕВА

НИЖНИЙ НОВГОРОД — назван в «Отрывках из Путешествия Онегина», в авторской ремарке: «Е. Онегин из Москвы едет в Нижний Новгород...». Ремарка предваряет строфу о Нижегородской (Макарьевской) ярмарке: «Макарёво суетно хлопочет, /Кипит обилием своим...». Ярмарка, переселившаяся в 1816—1817 гг. из Макарьева в Нижний Новгород, была не только событием для России. Местоположение ярмарки, ее перепутье между Европой и Азией, торговый бум, ярмарочные приходы, ярмарочные нашествия и т. п. изумляли многих. «Здесь все можно найти,— писал французский путешественник Лекюэн де Лаво,— и предметы прихотей, и вещи, необходимые в жизни, начиная с самой обыкновенной циновки и до самой дорогой азиатской и европейской материи, от стеклянных бус, составляющих ожерелье чувашских жен, и до самых лучших бриллиантов и жемчугов» (Лаво де Л. Описание Нижнего Новгорода и ежегодно бывающей в нем ярмарки. М., 1829, с. 118).

Воспитанник московской Коммерческой практической академии, побывавший на ярмарке в июне 1826 г., свидетельствовал: «Россияне и прочие европейцы преимущественно участвуют в сей ярмарке, однако здесь видишь также бухарцев, персиян, хивинцев и индейцев с драгоценными произведениями Востока, в особенности с богатыми перлами и янтарями, также татар, армян с произведениями своего отечества» (Тярин Н. Записки о поездке на Нижегородскую ярмарку. М., 1827, с. 32). Де Лаво считал, что «...на сем торгу в некотором отношении вся Европа делает с Азию»

свои размены, от которых она получает свои выгоды...» (Лаво де Л. Описание... С. 25).

Поэт создает близкий к историческим реалиям свой образ ярмарки:

Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик — спелых дочерей,
А дочки — прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух
И всюду меркантильный дух.

Привлекает внимание своеобразная стихотворная «раскладка» товара. На первом месте — обманчивый жемчуг, искушение для многих, особенно для великих мира сего: «Поэт, бывало, тешил ханов/Стихов гремучим жемчугом» («В прохладе сладостных фонтанов...»). Затем — европейские вина, в действительности вовсе не всегда поддельные. Кони бросались в глаза посетителям ярмарки. За «Напиточную линию представляется глазам Конная... — описывал Н. Тярин. — Лошади киргизские и башкирские, вымениваемые на границах Тамбовской и Оренбургской губерний, составляют украшение Конной» (Тярин Н. Записки... С. 28).

Для поэта главное — выразить меркантильный дух нового времени, ярмарочной среды. Описание в стиле поэтического «винегрета», отражающего особенное внутреннее пространство события: поддельные «вины», «бракованные кони», «услужливые кости» игрока, «спелые дочери», их прошлогодние «моды».

Эта претветная смесь дана в сопровождении безымянных персонажей, склонных к плутовству, к торгашеским делам — индеец (индийцы, по мнению Пушкина, были сродни цыганам), игрок, коннозаводчик, а с ними заодно и европеец, и помещик. Возникает своеобразный оксиморон, объединяющий по значению полунейтральное, безымянное с негативным.

В строфе есть и другой подтекст, соотношение двух обширных понятий: Запад — Восток. В первоначальном тексте «Путешествия» Москва встречала Онегина «своей восточной суетой». Затем эпитет «восточной» был заменен: «Своей спесивой суетой». Однако Восток в «Путешествии» не пропадает, он сохраняется в нижегородской строфе: «индеец» — «европеец».

В последней редакции «Путешествия» строфа приобретает обобщающий поэтический смысл с лейтмотивом *суета, суета сует*. Им начинается описание ярмарки («Макарьев суетно хлопочет») и им же завершается: «Всяк суетится...» Суета для поэта — неизбежное, мирское («В тревогах шумной суеты...», «К А. П. Керн»); а противоположное земному — духовное, божественное (см. монолог Пимена из «Бориса Годунова»: «...Тогда уж и меня/Сподобил Бог уразуметь ничтожность/Мирских сует»). В нижегородской строфе высвечивается образ автора. Строфа подсказывает эстетический идеал поэта. Она корректирует оценку поведения главных героев романа, заставляет задуматься об их общей драматической судьбе. Не случайно у нижегородской строфы в романе была своя прелюдия — описание кабинета героя, своеобразная ярмарочная картина: «Все, чем для прихоти обильной/Торгует Лондон щепетильный/И по Балтийским волнам/За лес и сало возит нам,/Все, что в Париже вкус голодный,/Полезный промысел избрав,/Изобретает для забав,/Для роскоши, для неги модной,—/Все украшало кабинет...». <...>

Строфа «Макарьев суетно хлопочет...» — своеобразный пролог к «Путешествию», особенно к первой его части, до берегов Тавриды.

Из первоначального варианта строфы откинуто начало: «Тоска, тоска! Он в Нижний хочет/В отчизну Минина». Однако и печатный текст строфы не снижает пушкинского представления о Нижнем Новгороде. Смирная ярмарочный мятежный дух (в вариантах было: «Мятежно Ярманка хлопочет»), поэт помнил о величественных событиях российской истории. В «Примечании о памятнике князю Пожарскому и гражданину Минину» (1836) — миниатюрном исследовании о чиновничьем положении Кузьмы Минина, нижегородского посадского, «дворянина при государе в думе» («думного дворянина»), Пушкин подчеркивал: «Кузьма Минин — выбранный человек от всего Московского государства, как назван он в грамоте о избрании Михаила Федоровича Романова».

Г. В. КРАСНОВ

Новая рубрика посвящена литературе российских регионов, которая в отсутствие общенациональной торговой сети редко попадает в руки столичного критика. После того, как журнал сообщил об открытии рубрики, в редакцию стали присылать самые разнообразные книги, изданные вне столиц.

ПОЭЗИЯ

Георгий Степанченко. Слово. Тверь, 1992. Г. Степанченко. Россия. Ржев, 1994. Георгий Степанченко. Имя звезды. Тверь, 1997. Георгий Степанченко. Прощание с романтизмом. Ржев, 1998.

Достаточно пафосные стихи о родине и любви. В последней книжке, несмотря на название, пафоса тоже много, но меньше, что ли, порыва. В одном из стихов — следы ржевских людей.

Там — Бурцев с Буровым, а там — Артур Кондратьев,
А вот и Виктор (ну, конечно, братья);
Роман Леонов, Александр Цветков...
Нет, что вы, список вовсе не готов!

Вот Соловьев, Култашев, Полякова,
Грищук, Гончар, Урунов (имя ново);
Вот Азаренкова, Матвеева и Густова...
Полным-полна коробушка искусства!

Ирина Кадикова. Урсунка. Челябинск, 1998.

Книжка издана фондом В. Кальпиди «Галерея», и стихи на кальпидиевские по-хожи.

Как печально, мой друг, что кончается эта зима,
От которой мы ждали, наверное, больше, чем
Просто нежности. Я понимаю сама,
Что теперь эта тема закрыта, как множество тем...

Рамиль Сарчин. Стихотворения. Ульяновск, 1998.

Автор — учитель русского и литературы в школе в селе Жуково в Татарстане.

На турниках стихов — на строчках синих —
Я подтянусь и вырасту большой,
И, может быть, узнает вся Россия,
Что есть татары с русской душой.

Максим Климанский. Не ровно Д. Рязань, 1998.

Огромная, 210 строф по 8 строк (иногда больше), поэма «Один в толпе» и несколько лирических стишков.

Я поставлю камень
Где мы не встретились с тобой,
Где мы не любили друг друга.
Я поставлю камень
И напишу, что здесь
Не родилось бессмертное.

Евгений Сухарев. Дом ко дню. Харьков, 1996.

Из аннотации: «Стихи городского интеллигента, писанные мускулистой мужицкой рукой».

Время мертвых, час живых,
месяц красен кровью.
Тени пращуров моих
встали к изголовью.

Владимир Кошкин. МестоИмения. Харьков, 1996.

Стихи, написанные за тридцать лет: тихие непретенциозные зарисовки.

Смерть не черна. Прозектор вышел в белом
Хитоне. Как явившийся Христос.
Где жизнь теплилась в этом тощем теле?
Откройте череп — этот ларчик прост.

Владимир Масюк. Вечный сюжет. Тольятти, 1997.

В основном миниатюры.

Вряд ли счастье прописку имеет.
Ничего,
Что сижу на мели.
Даже птицы летать не умеют,
Просто падают в небо с земли.

Николай Грахов. Старый дом. Уфа, 1996.

Автор — бард, стихи — тексты песен.

Проходит пятая неделя —
Живу худея и бледнея!
Ах, почему, скажите, Неля,
Меня Вы все-таки длиннее?

В. Корман. Одиннадцать колючих венков. Владимир, 1998.

Венок сонетов. Автор — на полпути к «короне сонетов».

В сплошном аду разборок и покраж
припомнишь расставанья на причале,
где чайки суетились и кричали,
озвучивая северный пейзаж.

ПРОЗА

Гарри Беар. Олли, или Новая Лолита. Альбатрос. Москва, 1994.

Автор живет в Чебаркуле Челябинской области (я там военные сборы проходил на озерах Кичегач и Сунукль), потому к нам в обзор и попал. Эротическая проза: пост-Лолита и т. д.

Олег Постнов. Песочное время. Новосибирск, 1997.

Два десятка грамотных текстов в разных жанрах. Автор печатался в «Октябре».

Игорь Фролов. Смотритель. Уфа, 1997.

Эмоциональная импрессионистская проза, поток чувств и впечатлений. «Может, взять для начала виноградный тоннель, его подсвеченную фонарями зеленую прозрачность, что ведет нас в беседку-джонку, скользящую по зеркалу пруда...»

Александр Попов. Грех. Иркутск, 1998.

Три реалистические повести. С переживаниями.

И. Жарков. Новая жизнь. Роман. Книга первая. Кемерово, год издания не указан.

Коллективизация, Сибирь. С сочувствием к Советской власти.

Олег Хафизов. Только сон. Тула, 1998.

Городская интеллигентная проза. Космонавт, оторвавшийся от корабля и улетающий в открытый космос...

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Владимир Климычев. Портрет русского писателя. Н. Новгород, 1998.

Короткие заметки о К. Кобрине, И. Померанцеве, Э. По, записи и выписки... Мило и энергично.

Р. Р. Чайковский, Е. Л. Лысенкова. «Пантера» Р. М. Рильке в русских переводах. Магадан, 1996.

История создания «Пантеры», исследователи о «Пантере», двадцать переводов на русский, статистика восприятия переводов и еще разные стиховедческие прикрасы, фотографии крупных кошачьих из парижского зоосада.

Взгляд на идущих мимо прутьев клетки...

Она по клетке ходит утомленно...

Пустынный взор мельканьям частокола...

Устав от мельтешения ограды...

Мельканье прутьев ранит болью взгляда...

В глазах рябит. Куда ни повернуть их...

Sein Blick ist Yorubergehn der Stabe...

Николай Переяслов. Загадки литературы. Самара, 1996.

Бодрый сборник статей с очень разными версиями по разным поводам. «Слово о полку Игореве» сочинил Владимир, князь. «Илиаду» написал зрячий поэт, а «Одиссею» — слепой. «Мертвые души» построены, как сонет.

В. С. Рутминский. Очерки поэзии серебряного века. Четыре брошюры: 1995, 1996, 1997, 1998.

От Гиппиус до Олейникова. Литературоведческие портреты: на каждого поэта отдельно. С вопросами к семинарским занятиям: издано при лингвистической гимназии № 13.

ПОЛИТОЛОГИЯ

С. Панин. Авторитетное государство — государство нового типа. Челябинск, 1997.

Открытое голосование — причина всех бед. Все голосования должны быть закрытыми, тогда люди честно выберут авторитетных руководителей (авруков). Для обеспечения закрытого голосования автор изобрел электронный механизм с тремя кнопками — за, против, воздержался.

КНИГИ ИЗ СТАВРОПОЛЯ, ЛЮБЕЗНО ПРИСЛАННЫЕ ЛЬВОМ ПИРОВАМ

Василий Красуля. Мужские разговоры. Ставрополь, 1998.

Простые человеческие рассказы о непростых человеческих отношениях.

В. Звягинцев. Одиссей покидает Итаку. Ставрополь, 1995.

Два огромных глянцевых тома: борьба цивилизаций, приключения на планете Валгалла. Автор этой «Одиссеи» явно не слеп. «Облокотился о перила, долго смотрел на собирающиеся у горизонта грозные тучи. Низкие, фиолетово-багровые, обещающие, судя по всему, жуткий метеорологический катаклизм».

Стечение веков. Стихи. Проза. Ставрополь, 1998.

Сборник местных авторов. В. Кустов (предисловие), Л. Тюленикова, Р. Ростовцев, А. Козлов, А. Дубровский, А. Якимов, А. Рашидов, В. Вертов.

Лариса Тюленикова:

Кровь, говоришь?
Смерть, говоришь?
Ты ли говоришь?
Рукопись лишь!

Загадки судьбы. Литературный сборник ставропольских авторов. Ставрополь, 1997.

В. Куропаткин, Г. Шумаров, В. Белоусов, М. Прокудин, Т. Пляскина, А. Лысенко, И. Аксенов, В. Ащеулов, С. Ванетик, О. Воропаев, Т. Гонтарь, Л. Литовка, И. Романов, Т. Третьякова-Суханова, А. Якимов.

Семен Ванетик:

Метаморфоза колоссальная:
Не просто строя пертурбация,
А закатилась уникальная
Советская цивилизация.

Русский постмодернизм: предварительные итоги. Межвузовский сборник статей. Часть 1. Ставрополь, 1998.

Издано СГУ. О Кибирове и Соколове, Бродском и Маканине, о постмодернистской имморальности и журналистике 90-х, о парадоксах теории и практики.

Текст как объект многоаспектного исследования. Сборник статей. Выпуск 3, части 1 и 2. Санкт-Петербург — Ставрополь, 1998.

Издается СГУ вместе с питерским пединститутом имени Герцена. Суровая лингвистика: децентрация языка, анаграммирование имени собственного, мифологические субстантивации, приемы семантики дейксиса и прочая прелесть.

Н. А. Герасименко: «Семантическим центром высказывания является предикат, который, собственно, и заключает в себе сущность, основное значение, смысл коммуникации». Я, кстати, против: если бы предикат был смыслом наших коммуникаций, мы бы сошли с ума.

Сумма Поэтика. Пять выпусков журнала — с 1996-го по 1998 год.

Издание ставропольских постмодернистов. Основные авторы: Артем Просто, Лев Пирогов, Эдуард Литомин, Денис Яцутко. Все приемы современной поэтики: и поэзия визуальная, и тематика радикальная. Судя по присланным вырезкам из газет («зрителям и участникам предложили представить себя пассажирами космического корабля, а затем весь вечер звучали стихи на тему космонавтики») — компания веселая.

Денис Яцутко:

Что стоишь ты, как лошадь печальный,
И в глазах твоих теплится грусть?
Хочешь, я что-нибудь из Устава
Почитаю тебе наизусть?

Книги для обзора «Русское поле» отправляйте, пожалуйста, в редакцию «Октября».



Перемелется — мука будет?

Передо мной два текста. Оба — о русском народе или, точнее выражаясь, о русском национальном характере в XX веке. Первый принадлежит писателю **Виктору Ерофееву**, второй — священнику и писателю **о. Дмитрию Дудко**. Первый напечатан в столичной «Общей газете» (1999, № 2, 14—20 января), второй — в малоизвестном литературном «Коломенском альманахе» (1998, выпуск второй).

Виктор Ерофеев — средних лет эпатажный писатель, знаменитый тем, что не признает в литературе никаких «табу». Популярен более на Западе, в Германии, чем в России, где о Ерофееве знают только критики да литераторы. Отец Дмитрий Дудко с 1980 года служит в церкви святого Николая в Старках под Коломной, участник Великой Отечественной войны, не раз подвергался репрессиям за проповедь христианства и отсидел в общей сложности что-то около двадцати лет. Фигуры, что и говорить, разные. Однако оба родились в России, с младенчества вдыхали русский воздух, закончили советские средние школы и говорят на русском языке.

Казалось бы, хоть что-то в них да должно же быть общего, типологически сходного. Немец может быть фашистом, может — коммунистом, а может — просто мюнхенским обывателем. Но все равно он останется немцем. Таковы же испанцы, французы, англичане, шотландцы. Другое дело — нации сборные, вроде американцев или австралийцев. Здесь все сложнее, но и здесь можно нащупать какие-то точки соприкосновения — хотя бы в отношении к той земле, на которой они живут, к той культуре, на которой о́ни воспитаны. Разве не так?

И Виктор Ерофеев, и о. Дмитрий Дудко подводят итог существованию русского народа в XX веке. Или — шире — русской нации. И здесь необходимы большие цитаты.

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ: «Неадекватность самых элементарных представлений, фантастические образы мира, скопившиеся, роящиеся, размножающиеся в головах, малиновые прищепки и дурышлагги, газетные желтые лозунги под отклеившимися, зависшими изнанками обоями, осуждающие не то Бухарина, не то Израиль. Вонь ветохого белья, дрожание руки со вспухшими венами, хитрость таракана, за которым гоняются с тапком в руке, изворотливость, непомерные претензии на пустом месте, неприхотливость, чудовищный алкоголизм, не поддающаяся анализу умственная отсталость при гудящем весь день телевизоре, ссоры, свары как норма жизни, ябеды, пересуды, сплетни, ненависть, крохоборство, нищета — весь этот ком слипшегося сознания перекатывается по всей стране. Дохлое пушечное мясо, непредсказуемый фатализм, готовый фарш для самой низменной демагогии, недобрый прищур, маньяк с лобзиком, съеденный молью плюш, неизбывный запах газа, неустойчивость реакций, болезни всех видов, физическое уродство, необъяснимая гордость за прожитые годы, нестриженная седина, паралич воли, неумение суммировать свой опыт, безграмотные понятия об истории даже вчерашнего, прожитого ими же как свидетелями дня, мозговые узлы карикатур с неизбежным Хрущевым и бровастым хануриком, поклонение силе, нечеловеческая слабость — вот тот люд, что живет не живет, но который есть и с которым мы слишком редко считаемся как с реальностью».

Это Ерофеев. Русский говорит о русских.

О. ДМИТРИЙ ДУДКО: «Развратился сейчас мой народ: пьянствует, развратничает, ворует, обманывает. Его осуждают многие и даже ненавидят, но я не могу его судить».

Я видел как-то пьяницу. Он вошел молча в вагон. Его все толкали, обзывали всякими словами, он покорно все принимал, не огрызался, но я взглянул в его глаза и увидел, что и он сам себя осуждает и потому принимает все покорно.

Другие пьяницы огрызаются, а этот не огрызался. И вспомнил я, что пьют от отчаяния, от великого горя или от пустоты в душе. Ведь их всех безжалостно обворовал атеизм, и пьяницы на русской земле все великомученики, безблагодатные пусть, но от этого и страшнее мучения.

Потом пьяницу все-таки вытолкали, он чуть не попал под автобус, и вот тут-то все всполошились и пожалели его.

А сколько пьяниц валяется на улицах, мочит их дождь или запарашивает снежок. Раз около полузамерзшего я остановился, стал его толкать — никаких движений, на лице лежит снег и не тает. Ко мне присоединилась женщина, та энергичнее стала его трясти. Вдруг он заворочался. Еще присоединились, растолкали, довели до метро. Что-то он пытался произнести, вроде: «Волк, волк...»

Да, многие теперь на положении волков, их истребляют, как и тех, но никто не жалеет их.

А развратники, которые нашли в этом смысл... Мне вспоминается не это, а когда они уже никому не нужны, все их обходят, и они как должное принимают муки за свои грехи...

А как русских крестьян целыми семьями вывозили из насиженных мест и оставляли замерзать или умирать от голода. Немногие из них выжили.

А как дворян истребляли, расстреливали. Рассказывают, великая княгиня, расстрелянная и сброшенная в шахту, все никак не умирала и пела «Воскресение Христово видевше».

А сколько вообще расстреляно, сколько умерено в лагерях, сколько погибло на фронте с ничего не значащим криком. Умирали — а за что? Чтоб их дети мучились?»

Это о. Дмитрий Дудко. Русский говорит о русских. На том же, что и Виктор Ерофеев, русским языке.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЕРОФЕЕВА: «Что с ней (с русской людской массой.— П. Б.) делать? Обманывать? Отмывать? Перевоспитывать? Ждать, пока она перемрет?

Но последнее иллюзорно — старики тащут за собой внуков, правнуков, которые тоже становятся на карачки. После первого петушиного крика молодости от них больше нечего ждать, кроме рабской зависимости от вечного повторения. Все идет по кругу. Остается одно — поместить их в концлагерь.

Но они там уже и так».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО о. ДУДКО: «Господи, не могу судить мой народ, не суди его и Ты. Прости его за муки, вольные и невольные. Великомученик мой народ — он свят. Он кается в своих грехах, я не раз слышал: «Какие мы люди теперь...»

Ты смиренным даешь благодать. Дай благодать моему народу, очисти его, убеди. Да будет свят! А я дерзну назвать его святым, великомучеником, память которого ежегодно исполняется седьмого ноября нового стиля. Новый праздник русских святых, в земле российской просиявших».

Это тот случай, когда мне совсем не хочется комментировать оба высказывания. Поставленные рядом, они говорят сами за себя. И у каждого высказывания, несомненно, найдутся свои сторонники, которые возмутятся (посмеются) по поводу высказывания противоположного.

Замечу только, что по-человечески о. Дмитрий Дудко выглядит привлекательней. Он благословляет людей, которые молчаливо и без ропота (а то и со злорадством) воспринимали гонения власти на таких, как Дудко. Они спокойно относились к тому, что священника сажали, издевались над ним. Ерофеев тоже пострадал. Но история с альманахом «Метрополь», из-за которой Ерофеев лишился членской корочки Союза писателей СССР и привилегии печататься в советских изданиях, конечно, не идет ни в какое сравнение с испытаниями о. Дудко. Ерофеев с лихвой получил за испуг молодости — гастролирует на Западе, выпускает трехтомники в России. Говорю это не в осуждение, а просто чтобы показать: Ерофеев — человек по-своему благополучной судьбы. Простые русские люди Ерофееву, по существу, зла не делали — разве что не читали и не читают его. О. Дмитрий Дудко, отвоевав и отсидев в тюрьмах, теперь несет службу в провинциальном храме. И вот изо рта о. Дудко почему-то вылетают словеса, а изо рта Ерофеева выпрыгивают глянцевые жабы. Отчего так? Бог им судья.

Меня другое волнует и тревожит. Каким образом могут существовать одновременно два таких высказывания? Как они в принципе могут друг с другом уживаться? Между тем, повторяю, и Ерофеев, и о. Дудко — не только сами по себе: на стороне каждого немало людей и притом образованных людей. Каждый из них, вне сомнения, может собрать весьма заинтересованную аудиторию, ну, скажем, в Центральном доме литераторов. Их слова будут ловить, будут аплодировать, дарить цветы и проч. Потом эти аудитории выйдут на улицу и смешаются в толпе. Они пойдут воспитывать детей, внуков и, может быть, преподавать в школах, университетах. Они будут созидать «новую Россию». Что ж это будет за страна? Как в такой стране население сможет договориться друг с другом, выбрать власть по уму, читать какие-то общие книги, которые можно вместе обсуждать, любить какие-то общие святыне или хотя бы просто славные места на географической карте, женить своих детей — словом, заниматься всем тем, что делает страну страной — местом жизни некой **общности**.

Рассосется? Перемелется — мука будет? Из чего мука? Из розовых лепестков и цианистого калия?



ЛАВКА БУКИНИСТА

ХЕРАЙ. ЯПОНСКИЕ СКАЗАНИЯ. М., Центр «ПРО», 1991. Тир. 200 000 экз.

Хотя в издательской аннотации сказано, что книга объединяет рассказы о привидениях, это не совсем верно (или не совсем верно, если учитывать понятия о привидениях, бытующие у европейцев). Вот один из рассказов. В саду росла вишня, под ней играли родители героя, их родители, его предки, да и он сам. Потом он стал самураем, прожил долгую жизнь, пережил собственных детей. И наступил момент, когда старое дерево стало засыхать. И старый человек очень печалился. Добрые соседи посадили молоденькую вишню, чтобы утешить его, однако он оставался безутешен. Но однажды ему в голову пришла счастливая мысль. Он пошел в сад и обратился к дереву с просьбой: возьми мою жизнь, просил он, а я умру вместо тебя. А затем, приняв ритуальную позу, он сделал харакири. Его дух вселился в дерево. Оно расцвело и расцветает теперь в сезон снегов, в шестнадцатый день первого лунного месяца, именно в тот день, когда человек отдал свою душу старой вишне. Впрочем, рассказы о привидениях — жанр многогранный.

РАИСА БЛОХ. ЗДЕСЬ ШУМЯТ ЧУЖИЕ ГОРОДА... М., «Изограф», 1996. Тир. 1000 экз.

Начиная в двадцатых годах в Петрограде, она силою судеб оказалась за границей. Погибла поэтесса в 1943 году в немецком концлагере. Однако стихи ее, хотя бы те, что пел, чуть переделав, А. Вертинский, уже вне времени. И жаль, что выпало замечательное трехстишие (оно-то и делало стихотворение — стихами, но не вписывалось в жанр романа):

Не идти ведь по снегу к реке,
Пряча щеки в пензенском платке,
Рукавица в маминой руке.

А дальше — известное многим:

Это было, было и прошло,
Что прошло, то вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло.

ВОСПОМИНАНИЯ О МИХАИЛЕ ЗОЩЕНКО. СПб., «Художественная литература», 1995. Тир. 5000 экз.

Образ героя этой книги донельзя искажен. Искражен и всемерной славой, и несправедливой злобной критикой, и восторженными поклонниками и доброхотами. Он искажен новейшим литературоведением, сделавшим из Зощенко трагическую фигуру, великого писателя, пострадавшего от партийного постановления, хотя так ставить вопрос неправомерно. Ахматова и до постановления была фигурой трагической, но трагической иначе. Она выдержала, может быть, потому, что твердо понимала разницу между эпитетом «великий» и эпитетом «знаменитый». Писателю Зощенко подходят разные определения, однако великим он не был, а знаменитым ему быть не позволили, запретив печататься. Это и стало причиной его смерти. Что же до оскорбленной гордости, то Зощенко прилюдно заявил, что не согласен с тем, что написано в партийных документах, и в этом смысле его совесть совершенно чиста. А вот разрыв между личным мужеством, которое он не утратил в самых тяжелых обстоятельствах, и тщеславием (о котором, кстати, писали наиболее честные мемуаристы) ему преодолеть не удалось.

МОСКОВСКИЙ АРХИВ. Историко-краеведческий альманах. Выпуск I. М., «Мосгорархив», 1996. Тир. 3000 экз.

Сборник материалов, посвященных самым разным темам — от велосипедов на улицах Москвы до трактирных граммофонов, — чтение любопытное. А фрагменты из «Книг записи впечатлений», заводившихся при пуске новых линий метрополитена, и вовсе великолепны. Чего стоит такая запись, сделанная в связи с открытием станции «Фрунзенская»: «Восхищен станцией, но крайне удивлен, что тов. Фрунзе

изображен с бородой, что является неправдоподобным. Видел Фрунзе много раз, начиная с 1919 года и до последних дней его жизни. Но никогда его таким не видел». К сожалению, подпись неразборчива.

Игнатий ЛОЙОЛА. ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. [Б. м.], BIBLIOTHEQUE SLAVE DE PARIS, 1996. Тираж не указан.

Сергей Эйзенштейн, изучавший проблемы пафоса в искусстве, чрезвычайно интересовался фигурой Лойолы и его методами достижения экстаза (находя между пафосом и экстазом много общего). Изданная на русском языке книга предлагает не только методику духовных упражнений, она предлагает нечто большее. Ознакомившись с ней, проще понять, почему православному священнику, облеченному всеми возможными добродетелями и талантами, никогда не сравняться в трудолюбии, работоспособности и стремлении к достижению поставленной цели с отцами-иезуитами.

Мирча ЭЛИАДЕ. АСПЕКТЫ МИФА. [Б. м.], ИНВЕСТ — ППП, 1995. Тир. 25 000 экз.

Какое счастье считать мертвые мифы живыми и считать, что у истории есть не только цель, но и неизбежная схема развития, которой она придерживается. Собственно, это относится к любой книге Элиаде, являющейся фрагментом единого целого.

С. БЕККЕТ. ТРИЛОГИЯ. Пб., Издательство Чернышева, 1994. Тир. 10 000 экз.

Его драматургия кажется интересней прозы, потому что в ней присутствует недоговоренность, и тем она отличается от многословных бесконечных романов. Подобная проза в конце века излишня: давным-давно все сказано, а прозаик никак не в силах остановиться.

Борис ВЛАДИМИРСКИЙ. ВЕНОК СЮЖЕТОВ. Винница, «Континент-ПРИМ», 1994. Тир. 2000 экз.

Говорят, что лекции Бориса Владимирского собирали полные аудитории. Тут возможны две причины: или новизна материала, или обаяние рассказчика. Сейчас его лекции перекочевали с магнитофонных пленок на страницы книги, и совершенно ясно, что материал, использованный Владимирским, и в те времена был доступен любому, кто внимательно пролистал книги Бабеля, Ильфа и Петрова или сборник театральных пародий начала века. Длинные цитаты соединены коротким комментарием, даже скорее пояснениями. Это не литературоведение, а доверительный разговор умного человека со слушателями, которые его боготворят. Очень жаль, что этот человек уехал, ведь хороших преподавателей мало, как мало, впрочем, и просто приличных людей, влюбленных в свое дело.

Уильям СТАЙРОН. И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ. ДОЛГИЙ МАРШ. М., «Правда», 1991. 200 000 экз.

Что бы ни писал Стайрон и какие бы престижные премии ни получал, лучшей его вещью останется небольшая повесть «Долгий марш», повесть об армии, где нет военных действий, но где функционирование армейского механизма показано во всех его тонкостях. Взрывы и выстрелы отвлекают читателей, пролитая кровь неизбежно напоминает о законе кровавой мести. Возникает впечатление некой странной справедливости, мысль о воздаянии, кто бы и за что ни воевал. Зато армия, лишенная всего этого, в широком смысле, утратившая роль защитницы, именно и есть механизм, работающий на холостых оборотах. Она должна воевать, чтобы не развалиться, сработаться впустую, а когда нет военных действий, она перемальвает себя самое. Кровь ей необходима и в моменты перемирий. Потому-то в армии неискоренима дедовщина, потому солдаты расстреливают своих сослуживцев, а новобранцы кончают самоубийством. Повесть Стайрона описывает армию, воюющую со своим главным противником — с самой собой.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Читайте в следующем номере
ВОСПОМИНАНИЯ БОРИСА ЛЕСНЯКА
«МОЙ ШАЛАМОВ»

«В центральной больнице Севлага, в семи километрах от поселка Ягодное, центра Северного горно-промышленного района, я работал фельдшером двух хирургических отделений... Прошло сравнительно мало времени, как я вырвался из забоя, и был непомерно счастлив, обретя работу, которой собирался посвятить свою жизнь, а кроме того, обретал надежду эту жизнь сохранить. Помещение под лабораторию было отведено во Втором терапевтическом отделении, где с диагнозом «алиментарная дистрофия» и полиавитаминозом находился Шаламов...

Шаламов уже отоспался в больнице, отогрелся, появилось мясо на костях. Его крупная, долговязая фигура, где бы он ни появлялся, бросалась в глаза и дразнила начальство. Шаламов, зная свою эту особенность, усиленно искал пути как-то зацепиться, задержаться в больнице, отодвинуть возвращение к тачке, кайлу и лопате как можно дальше».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 1999 году

«Октябрь» предполагает опубликовать:

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга третья.

Павел БАСИНСКИЙ. Гражданин мира. Исповедь патриота.

Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. Повесть.

Григорий КАНОВИЧ. Повесть.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. Последняя газета. Роман.

Владимир КРАКОВСКИЙ. Стрельба холостыми из самопала и револьвера. Повесть.

Михаил ЛЕВИТИН. Чешский студент. Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы.

Юнна МОРИЦ. Книга «Рассказы о чудесном».

Стихи.

Олег ПАВЛОВ. В безбожных переулках. Роман.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы и сказки.

Евгений ПОПОВ. Повесть.

Михаил РОЩИН. Рассказы.

Павел САНАЕВ. Детский мир. Роман.

Борис ХАЗАНОВ. Понедельник роз.

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Владислава ОТРОШЕНКО, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Валерия ПИСИГИНА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.